

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

М. В. НОВОРУССКИЙ

ЗАПИСКИ ШЛЮСсельБУРЖЦА

1887—1905

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ • 1926

OCR и вычитка Ю.Н.Ш. (yu_shard@newmail.ru). Январь 2007 г.
В фигурные скобки { } здесь помещены №№ страниц (окончания) издания-оригинала.
Файлы shlis0.jpg—shlis233.jpg — файлы с фотографиями и рисунками из книги (помещены в отдельном архиве).

Историко-революционная библиотека

М. В. Нововорусский

ЗАПИСКИ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦА

1887—1905

С портретами и рисунками



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ, 1920

Первая Государственная Типография. Гатчинская, 26.

Файл shlis1.jpg

М. В. Нововорусский в 1908 г., после окончания «Записок». {1}

{2} [Пустая страница.— Ю. Ш.]

ОТ РЕДАКЦИИ.



М. В. Новорусский в 1908 г., после окончания «Записки».

«Записки шлиссельбуржца» М. В. Новорусского заключают главным образом его воспоминания, печатавшиеся в журналах «Былое» и «Минувшие годы» в 1906—1907 г.г. Но к ним добавлены еще две главы, из коих одна («Статистические итоги») нигде не печаталась, а другая («Исключительный эпизод») печаталась особо в «Современном Мире».

В таком виде, но с большими сокращениями «Записки» были изданы отдельной книгой на шведском языке в Гельсингфорсе в 1907 г. под заглавием «I den ruska Bastilien», а на немецком в Берлине в 1908 г. под заглавием «18 1/2 Jahre hinter russischen Kerkermauern». Немецкому издателю автор дал обещание не выпускать на русском языке отдельной книги прежде, чем выйдет она на немецком. Но немецкое издание было запрещено в России и таким образом «Записки» не могли появиться в свет до падения цензурных оков.

Теперь они издаются на русском языке впервые в полном виде. Автор тщательно пересмотрел прежний текст, чтобы внести в него некоторые стилистические исправления. Коренных изменений не сделано, хотя сейчас, тринадцать лет спустя после освобождения, автор мог бы многое прибавить как о товарищах по заключению, так и о самом месте заключения. Из девяти лиц, освобожденных в 1905 г., четверо уже умерло, а о двоих нет сведений... Самое же место заключения было сначала перестроено до неузнаваемости, а в 1907 г. разрушено и обезображено...

Сентябрь

1919 года {3}

{4} [пустая страница. — Ю. III]

ВВЕДЕНИЕ.

Обыкновенно записки подобного рода автор начинает писать с большой натугой и не иначе, как «уступая настоянию друзей».

Если встретишь, бывало, такую фразу у другого автора, она кажется немножко жеманной и потому совершенно излишней. Но, очутившись сам в подобном положении, видишь, что это не пустая фраза.

Когда на тебя устремляются взоры, когда ты не только становишься центром внимания (к этому люди легко привыкают), нет, когда от тебя ждут с весьма понятным волнением, чтобы ты огласил и как можно живее изобразил те ужасы, которые нельзя иначе назвать, как позором нашей цивилизации, — тобой овладевает весьма естественная робость и нерешительность. Для такого сюжета нужно хоть немножко художественное перо, а тем более нужен известный литературный навык и умение свободно излагать свои мысли. У меня же, увы, не могло образоваться в заточении литературного навыка, и я в этом отношении, как и во многих других, ясно чувствую свою почти младенческую беспомощность.

Каждый из нас, приступая к таким запискам, невольно приводит себе на память записки декабристов, полные широкого интереса и высокого драматизма. Добрую половину тех записок составляло описание и характеристика общественного движения, продуктом которого явилось 14 декабря. И самый факт и следовавший за ним судебный процесс были единичным событием, подобного которому русская история не знала ни ранее, ни позже.

Другое дело — мы. Мы были только продолжателями движения, уже широко разлитого. И наши цели, и наши идеалы давно уже перестали быть новинкой для всего образованного русского общества. Настолько перестали, что, когда А. И. Ульянов, товарищ по моему процессу, попробовал на суде излагать принципиальные основы деятельности партии «Народной Воли», председатель неоднократно останавливал его, откровенно заявляя:

«В се это мы давно знаем». {5}

Наши судебные процессы были уже так многочисленны, что детальное изображение каждого из них для рядового читателя казалось бы излишним и скучным. Установились уже общие карательные приемы, сложились типичные фигуры и прокуроров, и следователей, и подсудимых, за которыми, как таковая, личность совершенно ступшевывается. И из груды накопившегося в течение десятилетий материала для читателя дорого выделить только несколько более крупных личностей, как наиболее выдающихся, а всех остальных можно уложить в общую схему движения, которое медленно, но почти непрерывно нарастало.

Приведу один только пример, чтобы показать, до чего однообразны были так называемые судебные приемы в течение целых 30 лет. Еще в 70-х г.г. подсудимые заявляли суду, что всякий человек, которого они пригласят на суд в качестве свидетеля с своей стороны, арестуется вслед затем жандармами.

Буквально то же заявление повторил недавно и Гершуни в 1903 г. И практика неизменно подтверждала эти заявления.

Это одна половина дела. Затем у декабристов даже на каторге, в самые суровые моменты, все же была некоторая жизнь. По известному определению Спенсера, «жизнь есть приспособление внутренних отношений к внешним». У декабристов были эти внешние отношения, благодаря присутствию дам за тюремной оградой и тем редким, но никогда не прерывавшимся сношениям с покинутым миром, которые через них были доступны всем. Наконец, положение их, вместе с самим местом жительства, постоянно менялось и, доставляя им ряд разнообразных впечатлений, давало вместе с тем достаточно материала для того, чтобы потом составить из него целое жизнеописание.

Ничем подобным мы похвалиться не можем. Наши сношения с внешним миром начались уже слишком поздно и были всегда под строжайшим контролем жандармерии. И вот теперь, как ни силишься остановить свое воспоминание хоть на чем-нибудь выдающемся, как ни стараешься воспроизвести хоть какое-нибудь «событие», чувствуешь, что вспоминать и воспроизводить тебе нечего, что у тебя в голове в буквальном смысле слова «хоть шаром покати».

Воображение рисует одну безрадостную унылую зимнюю равнину, где глубокий снег гладил все очертания и где пылливый глаз тщетно ищет, на чем бы он мог остановиться и отдохнуть на минутку от томительного однообразия. Самый снег здесь не пустая метафора. Жизнь была как бы заморожена, к тому же в нашей зиме не было ни малейших художественных прикрас. Поэтому она была не просто безрадостна: в первые (6) годы она была почти мучительна. Каждый прожитый день давал иллюзию облегчения тем, что он прошел и уже назад не вернется. Будет другой, подобный ему, но о будущем вообще не думалось. Притом же, кто знает? Следующий день, может быть, внесет хоть какую-нибудь перемену.

Вспоминать же прожитые дни не только не было ни малейшего интереса, напротив, был прямой интерес — по возможности о них никогда не вспоминать. Тягостное настоящее казалось бы еще более тягостным, если бы переживание его сплелось с умственным переживанием прошлого. А потому забвение считалось всегда самым желанным гостем и культивировалось у нас с особенным вниманием и тщательностью. Насаждаемое сознательно целыми годами, оно прочно укоренялось, овладевало психикой и в конце концов торжествовало. Тем более, что условия жизни как нельзя лучше содействовали ослаблению памяти вообще.

В этом отношении многие достигли большой виртуозности...

Когда на смену первых тяжких лет пришли более спокойные и сносные годы, когда жгучая боль пережитого отодвинулась вдаль и могла воспроизводиться в памяти со спокойствием и бесстрашием историка, стало казаться, что вспоминать, собственно говоря, нечего.

Пережиты были сложные чувствования. Пережиты факты внутренней жизни. Пережиты наедине, глаз на глаз с собою, физические и нравственные страдания, которые при нормальном ходе жизни человек старается заглушить внешними житейскими впечатлениями. Никто не делает их постоянным центром своего внимания. А в наших условиях делать их предметом усиленного внимания и нельзя было без серьезного риска — утратить нормальное душевное равновесие. Известно ведь, что нет такого предмета, который при усиленном внимании не стал бы казаться и очень интересным, и очень важным, и весьма рельефным.

Самонаблюдение — прекрасная вещь. Но, когда нет никакого другого объекта для наблюдения, кроме самого себя, оно скоро может довести до прискорбных нелепостей.

Это почти полное отсутствие резких и важных перемен, независимо от того, насколько суров был наш режим, налагало на наше существование печать полной безжизненности. Ни во вне, ни внутри не было ничего, по чему мы могли бы хоть как-нибудь ориентировать течение времени. Оно как будто совсем остановилось. Даже более, *его совсем для нас не существовало*.

Были, конечно, и осень, и лето. Но перемены погоды обыкновенно столь слабо задевают человека, что служат предметом для обмена мыслей только в скучном обществе. Да и то в первые (7) же минуты встречи окончательно исчерпываются. Наша осень и наше лето были точной копией с лета и осени прошлого года. Они составляли столь же малую перемену в жизни, как и смены дня и ночи.

Мы все были точно заморожены или законсервированы каким-нибудь способом. Это было *существование с крайне пониженной психикой*, которое напоминало зимнюю спячку у некоторых животных. Был нервный аппарат, вполне и даже утонченно организованный, но он почти не действовал за отсутствием впечатлений. А всякая система функций в организме, не действующая продолжительное время, ослабевает и замирает.

Не было дела ни для органа слуха, ни для органа зрения. Звуки все те же. Членораздельную человеческую речь в первые годы каждый из нас слышал настолько редко, что иногда в разговоре забывал

самые обыденные русские термины. Для зрительных упражнений были «пески» (о них позже) и серые стены. Сегодня как вчера, завтра как сегодня.

Еще нужно удивляться после этого стойкости нервной организации. Только каким-то чудом мы сохранили этот аппарат неокончательно испорченным.

При такой пониженной восприимчивости, даже на более крупные перемены в нашей жизни я реагировал только вполовину. Мне все представлялось, будто у меня действует только одно полушарие головного мозга, а другое спит безмятежным сном. А раз не было исходных возбуждений, дающих толчок внутренней мозговой деятельности, эта последняя тоже совершалась вяло и апатично. Конечно, мы не стояли на одном месте и в области многих знаний сделали более или менее серьезные приобретения. Но ведь это за 20 лет!

Нужно, впрочем, оговориться, что при такой пониженной психике (разумеется, не у всех равномерно) у нас всегда туго была натянута одна струна, которая громко звучала при малейшем прикосновении. Это была постоянная настороженность по отношению к своим мучителям и опасение с их стороны каких-нибудь новых вылазок с целью усугубить наши страдания. В силу этого все льготы и послабления, данные нам ранее, мы считали своим неотъемлемым достоянием, в защиту которого готовы были ежедневно стать в угрожающую позицию. Попытки же отнять уже раз данное повторялись весьма часто. Как будто наши враги, оперируя над нами, изучили предварительно ту психологическую истину, что всякое страдание, оставаясь неизменным, перестает ощущаться, как боль.

Если бы от такой жизни сохранился дневник, он немного помог бы теперь, потому что и самый дневник при таких обстоятельствах оставался бы столь же безжизненным, как и среда, в которой он писался.

Пробовал я в первый же год вести такой дневник, но скоро же бросил. Не говоря о том, что самые смелые надежды не давали ни малейшей уверенности вывести такое произведение из тамошних стен, он, вероятно, и не стоил бы того, чтоб сохранять его как материал. В другой раз я приведу сохранившийся у меня отрывок, а пока скажу только, что это был скорее ряд размышлений, расположенных под числами, по поводу того, что читалось в эти дни. Все это дало бы, вероятно, историю «одного размышляющего о духе», но истории нашего быта и наших чувствований там наверное не оказалось бы.

В этом отношении наилучшим изображением наших настроений могли бы служить те стихотворения, которые умел составлять почти каждый из нас. Тюрьма, как известно, делает поэтом! Эти стихотворения не отличаются особыми поэтическими достоинствами. Но собранные вместе они имели бы для бытописателя большое значение, как живой памятник душевных переживаний, сохранившийся от тех самых дней...

Выборг,

Февраль 1906 г. {9}

{10} [пустая страница. — Ю. III]

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Как и за что я попал в Шлиссельбург.

I.

Я приступаю к этому вопросу с большим смущением. Я был причислен к категории «важнейших» государственных преступников, приговорен к смертной казни и помилован на «без срока».

Увидавши такой послужной список, читатель невольно вообразит себе какую-нибудь трагическую деталь *борьбы* за свободу, какую-нибудь частность конспиративной *деятельности*, какое-нибудь единичное организационное *предприятие*, словом, какое-нибудь *дело*, за которым последовало такое административно-судебное завершение. Увы, ничем подобным я похвалиться не могу, и в моем прошлом, можно сказать, не было никакого политического прошлого.

Я кончил петербургскую духовную академию со званием кандидата и, как один из «лучших воспитанников», был оставлен при академии в качестве «профессорского стипендиата», т. е. претендента на кафедру при академии. Прямой обязанностью моей было писать магистерскую диссертацию, темой для которой служил забытый теперь немецкий философ, психолог и педагог Бенке. Это было в 1886 году.

Почти до 1885 г. я жил уединенно в здании академии, никому не ведомый и сам никого не знающий, и, как водится, «двигал» науку. Так в шутливой форме выражались мы в товарищеском кругу

о своих занятиях, которым я предавался со страстью новичка. Предо мной только что открылись во всей своей широте обширные области знания, в которых я был чистейшим невеждой, и я впервые сознал, что семинарское образование, которое поселяет в своих питомцах чувство самообольщения и горделивого превосходства над «лжеименным» разумом, само никуда не годится. И, как человек с неглупой головой и от природы любознательный, я жадно удовлетворял чтением поздно проснувшуюся умственную потребность. (11)

В это время совершенно случайно до меня дошли слухи, что мои земляки (новгородцы), студенты разных учебных заведений в Петербурге, вновь организуют свое «землячество», распавшееся почему-то незадолго перед тем. Побуждаемый естественным стремлением к общительности, а может быть, и «жаждой» деятельности, я выступил впервые на общественную арену.

Завести знакомства в студенческой, да еще земляческой среде было делом нескольких недель. А через каких-нибудь полгода я уже состоял кассиром своего землячества, разумеется, тайным и подпольным.

Таковы были тогда времена, что собирать промеж себя членские взносы по 25 к. в месяц и собранными грошами снабжать в долг наиболее нуждающихся из своего кружка — считалось запрещенным делом, с которым нужно было во что бы то ни стало скрываться. Так как это «сообщество» было тайное, то тем самым оно было и «преступное». И мы, наивные души, совсем не воображали, что ведем опасную игру и стоим у границы, где вот-вот начнется политическая деятельность.

II.

А политика, действительно, уже подстерегала нас. В начале 1886 г. организовался «союз землячеств», как организовывался он, может быть, десятки раз. Союз этот, среди других своих целей, как-то: саморазвитие, касса, библиотека, выставял между прочим — страшно сказать — выработку сознательных революционеров.

Я говорю об этом с некоторой иронией, потому что на самом деле никакой «выработки» не было, а были изредка собрания депутатов от землячеств, которые проходили довольно вяло и безжизненно. Надо прибавить для тех, кто вырос позднее, что это было время полного упадка революционного движения. Разгром партии только что закончился. Кто уцелел, скрылся за границу. Литературы нелегальной, ни старой ни новой, почти не было. Молодежь тогда, как и потом, была такою же молодежью, т. е. с идеальными помыслами и благородными порывами. Но самостоятельного творчества она одна не в силах проявить, и никакой агитатор не вдохнет в нее революционной энергии, вопреки мнению разных официозов, если не накопилось таковой в самом обществе.

В обществе же тогда не хватало смелости даже на открытие новых начальных школ, и оно не решалось преодолеть в этом отношении оппозицию правительственных сфер, которые относились явно враждебно к народному образованию. (12)

Единственное «дело», которое организовал наш союз, была панихида по Добролюбову на Волковом кладбище в 25-летнюю годовщину его смерти, 17 ноября 1886 г. Панихиды-то собственно не было, потому что полиция была осведомлена и на кладбище нас не пустила. Когда же мы сомкнутой толпой пошли назад в наивном расчете дойти до Казанского собора и отслужить панихиду в нем, на Лиговке градоначальник Грессер оцепил нас казаками и, продержав на слякоти часа два, распустил по домам. Задержаны были, кажется, человек 15 из тех, кто вступал в пререкания с полицией, и большинство их было выслано из Петербурга. Среди них был, между прочим, и М. И. Туган-Барановский.

III.

Вскоре после этой неудачной демонстрации были выпущены прокламации к русскому обществу, которые были арестованы на почте. Но о них я лично ничего не знал вплоть до суда, где они фигурировали в обвинительном акте, как показатель деятельности «террористической фракции», бросившей якобы вызов правительству и приступившей тотчас после 17 ноября к осуществлению преступного замысла на жизнь государя Александра III.

Потом я узнал, что эта официальная версия совершенно не соответствовала действительности. Но когда и как возник самый замысел, мне было абсолютно неизвестно. В него я посвящен не был и никакой роли в осуществлении его я не играл вплоть до 7 февраля 1887 г.

Как один из депутатов в союзе землячеств, я познакомился между прочим на депутатских собраниях с А. И. Ульяновым, студентом университета. Человек он был во всех отношениях необыкновенно симпатичный. От него так и веяло какой-то особенной чистотой и благородством, и с первой же встречи нельзя было не почувствовать к нему самого искреннего сердечного влечения. Среди других студентов

он заметно выделялся по своему умственному превосходству. Но в то же время поражал своей какой-то особой скромностью, почти застенчивостью. В студенческих делах, очевидно, он играл заметную роль, судя по тому, что к его мнению всегда прислушивались с особенным вниманием.

Но так как я встречался с ним мало, да и то только на собраниях, из коих два были у него на квартире и одно у меня, то сойтись ближе с ним мне не удалось. Понятно, что на этих собраниях ни о каком «замысле» даже не заикались. И вплоть до {13} 7 февраля я совсем не подозревал, что у Ульянова, кроме союзных и студенческих дел, имеются еще и другие.

Союзные собрания с начала 1887 г. происходили реже, на них являлись неаккуратно, и они умиляли, должно быть, естественною смертью. Лично же я мирно занимался своей диссертацией и даже земляков видал редко, потому что при окончании курса передал свои кассирские обязанности другому лицу.

7 февраля Ульянов обратился ко мне с запросом (сначала через лицо, оставшееся до сих пор вне подозрений), нельзя ли в моей квартире приготовить недостающие 3 ф. динамита, который ранее приготавливался в другом месте, но теперь продолжать там работу стало неудобно. У меня это было тоже неудобно, и я решительно отказал, чем доставил ему явное огорчение.

В разговоре между прочим я вспомнил про новую квартиру в Парголово, куда собирался переехать на днях на дачу — частью из материальных соображений, а частью ради тех удобств, которые представляло уединение для моих занятий. Там жила М. А. Ананьина, служившая земской акушеркой, с которой совместно я содержал и петербургскую квартиру, так как дочь ее, Лидия Ивановна, учившаяся в учительской семинарии, жила вместе со мной. Я ничего не знал о квартирных условиях Парголово и об удобствах, которые искал Ульянов, и потому сделал запрос в этом отношении Марии Александровне.

Получивши ее согласие, я условился с Ульяновым, что он доставит в мою квартиру всю свою лабораторию, а я отправлю ее в Парголово вместе с мебелью и кухонной посудой, для перевозки которых уже наняты были подводы из того же Парголово.

Лаборатория и была доставлена мне, но не Ульяновым, а Канчером, которого я никогда раньше не видывал и который потом выдал меня и многих других, судившихся с нами. Самого Ульянова я больше уже не видал вплоть до скамьи подсудимых. Он съездил в Парголово на несколько дней, приготавливал, что было нужно, и уехал, оставив там не только лабораторию, но и несколько унций нитроглицерина, оказавшегося для него излишним, который он поручил там вниманию М. А. Ананьиной.

Вероятно, она думала, что у нас с Ульяновым было на этот счет какое-нибудь условие. А когда я сам переехал туда, то это оказалось для меня неожиданным. Обстоятельство это я решил выяснить при первой же поездке в Петербург и при свидании с Ульяновым. Но этой поездке не суждено было состояться, потому что 3-го марта я был арестован «с поличным». {14}

Как человек, стоящий вне организации, я считал совершенно неуместным обращаться к Ульянову с какими бы то ни было расспросами о подробностях готовящегося покушения. Да Ульянов, наверное, и не ответил бы мне на основании самого элементарного правила всякой конспирации: «каждый должен знать только то, что он сам делает». Я же считал, что, предоставляя квартиру, да еще не свою, я, собственно говоря, ничего не делаю, а играю совершенно пассивную роль передаточной станции. На такую роль, насколько мне было известно тогдашнее настроение, согласились бы многие из моих знакомых, если бы, конечно, гарантирована была им безопасность.

IV.

Так как квартира, где делались самые снаряды и приготавливался остальной динамит, не была найдена, а для «округления» дела нужно было показать, что оно раскрыто полностью, то нашей квартире суждено было нести ответственность и за то, что в ней совершалось, и за то, чего вовсе не совершалось. Этому поспособствовал еще и я сам своею чисто детской наивностью. Дело в том, что в крепости, куда я был посажен на другой день после ареста, я не просидел и недели. У меня там случился какой-то нервный припадок, после которого вскоре меня перевели в дом предварительного заключения. На допросе Котляревский (товарищ прокурора, который тогда производил дознание по политическим делам в Петербурге, совместно с жандармами и П. Н. Дурново, тогдашним директором департамента полиции, — мы с ним встречались ранее в доме одного протоиерея, и его участие ко мне могло объясняться вниманием к старому знакомству) сказал, что это он постарался перевести меня в виду моего нервного расстройства и в уверенности, что здесь мне будет лучше. На самом же деле он посадил меня там рядом с предателем, каковым оказался А. П. Остроумов, известный с этой стороны многим южанам, моим современникам. Он, конечно, обучил меня «стуку», я проявил быстрые способности, и через неделю мы

уже болтали. На мой вопрос, за что он посажен, он ответил с краткостью, которой требовал самый способ речи и мой слабый навык в ней:

— За бомбы.

Я в свою очередь на его вопрос ответил в унисон:

— Я тоже за бомбы.

Свою любознательность к моему делу он проявлял с такой откровенностью, что только такой необстрелянный пленец, как я, и мог вести с ним длинные разговоры, совершенно не {15} подозревая до самого Шлиссельбурга его настоящей шпионской физиономии.

Вскоре после этого «признания», действительно, было построено обвинение меня в делании бомб, и построено по всем правилам жандармского следственного искусства.

У меня в квартире было несколько десятков книг, большую часть из академической библиотеки. В се их я отлично знал по внешнему виду. Однажды, как только привезли меня на допрос, Котляревский показывает мне одну из моих книг (Льюиса, кажется «Физиологию обыденной жизни») и спрашивает:

— Ваша это книга?

Я отвечаю:

— Моя.

Он отодвигается от меня подальше, медленно и с явной предосторожностью вынимает из этой книги чистый конверт, еще медленнее заглядывает внутрь его. Я невольно улыбаюсь.

— Да вы, говорит, не смейтесь! Это очень серьезно.

Я становлюсь серьезным и жду. Из конверта наконец появляется кусочек переплетной зелено-мраморной бумаги, весьма распространенного рисунка, величиной не больше 1 кв. сант.

Это было так для меня неожиданно, что я снова улыбаюсь, снова получаю замечание и наконец выслушиваю ряд вопросов. Требуется объяснить, каким именно образом попал этот кусочек в мою квартиру и в частности в мою книгу.

Я объяснить не в состоянии.

Тогда, чтобы доконать меня окончательно, Котляревский объявляет, что этот кусочек отрезан от того самого листа, от которого отрезаны другие такие же кусочки, употребленные для заклейки винтов у одного из снарядов.

Наконец-то я начинаю понимать! Очевидно, я делал бомбы, оклеивал их переплетной бумагой и следов своей оклейной работы не успел уничтожить. Какой-нибудь самый ничтожный кусочек, на который менее гениальный сыщик никогда бы и внимания не обратил, теперь выдает меня головой и ведет прямым путем к эшафоту. Изволь тут оправдываться, как хочешь, когда улика налицо!

Забавнее всего в этой трагикомедии то, что они напали на человека, который в химии был тогда столь же сведущ, как и в абиссинской литературе, и который с клейстером имел такое же знакомство, как и с японской инкрустацией. Во всей квартире, а я жил семейно, никто ничего не клеил, не покупал цветной бумаги, не резал ее и не мог оставить обрезков. В книге, {16} уже ветхой и многократно читанной, он не мог удержаться столько лет со времен ее переплета.

Конечно, мое отрицание было приписано моему запертству, а книга с конвертом была отправлена в суд, где и фигурировала на столе среди других вещественных доказательств.

Сорвалось только с экспертом. Позвали обыкновенного переплетного мастера, обошли его как следует, и он показал то, чего им хотелось, т. е. что предъявленный ему кусочек, найденный якобы у меня, отрезан от того самого листа, от которого отрезаны и другие кусочки, прикрывающие винты на снаряде. Но на суде под присягой этот эксперт отказался от такого удостоверения и показал, что все листы до такой степени сходны, бумага этого типа так распространена, что ни один опытный мастер не может утверждать ничего подобного и не в силах отличить, от какого именно листа отрезан тот или другой кусок.

Так эта улика и была похоронена, и прокурор уже не рискнул опереться на нее. Подозрение же все-таки было брошено и, может быть, повлияло на дальнейшую мою судьбу.

V.

Как бы то ни было, улики против меня было и без того достаточно. Не говоря уже о том, что по согласному показанию некоторых свидетелей ко мне ходило много народу (Ага! стоял, значит, в центре организации!), и что я переехал на дачу в феврале месяце, когда никто из благонамеренных граждан в Петербурге еще не помышляет о дачах,— нитроглицерин все-таки у меня хранился.

Хранился он, правда, крайне небрежно, и в комнате, где он стоял, дети невозбранно поднимали такую возню, что весь пол дрожал. Но этому на суде, конечно, не верили, потому что правительственный эксперт и притом генерал-майор, между прочим, уличенный Ульяновым на суде в незнании способа приготовления динамита, авторитетно заверял, что нитроглицерин взрывается от малейшего сотрясения. И согласно этому пристав тщательно расписывал, с какими скрупулезными предосторожностями он перевозил на лошади склянку с ним из Парголово в Петербург на расстоянии 18 верст.

Наконец динамит все-таки делался на той даче, в которую я затем переехал, и материалы для его производства действительно прошли через мои руки.

Теперь трудно даже вообразить себе, с каким юношеским легкомыслием мы согласились с Ульяновым одинаково давать показания на случай (совершенно невероятный случай!), если {17} я буду привлечен к делу. Так как я стоял в стороне от него, то ему казалось желательным выгородить меня из него совершенно и придать своей поездке в Парголово деловой, но совершенно невинный вид. Он едет туда в качестве репетитора к Коле, сыну М. А. Ананьиной, и как студент и химик берет с собой лабораторию для личных занятий.

В таком смысле я дал свои показания, а с тем вместе сразу же стал на путь ложных показаний. Как ни противно и тяжело это было, но я остался на нем до конца. Может показаться невероятным, но я совершенно не знал тогда, что подсудимый *имеет право* отказаться давать показания. Поэтому мне предстоял тяжелый выбор или упорствовать во лжи, или, выдавая себя, выдать вместе с тем и близких мне лиц, а в том числе и все землячество и союз землячеств.

Нет!— решил я тогда. Другого выхода не может быть. Лучше я все претерплю до конца, вплоть до этой мучительной лживости, но на предательство не пойду.

Один только раз, чуть ли не на последнем допросе, я долго колебался, когда Котляревский предложил мне взять на себя все дело устройства конспиративной квартиры в Парголово, и тем избавить М. А. Ананьину от всяких преследований.

Соблазн был очень велик, и я, может быть, не устоял бы. Но меня удержало то соображение, что человеку, правдивость которого уже заподозрена, не поверят и тогда, когда он расскажет одну правду.

Впоследствии я понял, что дело для них не в правде и неправде, а в том, чтобы раскрыть если не все, то как можно более, в той области «неразгаданного», которая в нашем деле была довольно обширной. Известно ведь, что дела подобного рода для них сузкий клад, потому что за умелое раскрытие их им дают чины, высокие посты и др. награды.

Но я, увы, не мог бы при всем желании удовлетворить любознательность Котляревского, и мои истинные показания, наверное, были бы сочтены за неполные и потому неудовлетворительные и недостоверные. Понял я также после, что их совершенно не беспокоит и вопрос о том, как «избавить то или другое лицо от преследований». Участь каждого из нас они по произволу могут решить и так, и этак. Так, вначале они колебались, составить ли судебный процесс только из лиц, взятых на улице с бомбами. Потом же решили придать ему как можно более грандиозный вид и, показавши громадные размеры «гидры», тем лучше оттенить все величие победы над ней. На мой вопрос на последнем допросе Котляревский ска- {18} зал, что, может быть, мое дело окончится административно, а на суд будут поставлены только главные виновники.

Я уехал в тюрьму успокоенный и начал предаваться мечтам о ссылке.

VI.

Как вдруг, 2-го апреля мне вручен был обвинительный акт со всюю торжественностью, которая в таких случаях, должно быть, всегда соблюдается. Он был для меня столь же интересною новинкою, какою был бы тогда и для всякого другого обывателя, до которого доходил слух о покушении, но кроме голого слуха ничего больше. Там перечислялись 15 человек (Генералов, Андреюшкин, Осипанов, Канчер, Гаркун, Волохов, Ульянов, Шевырев, Лукашевич, Ананьина, Пилсудский, Пашковский, Шмидова, Сердюкова и я), которые все были отнесены к «террористической фракции партии Народной Воли», и говорилось, что все они «согласились между собой» посягнуть на священную особу государя императора.

Из этих лиц, «согласившихся между собой», мне был известен более или менее только один Ульянов. Раза два-три я встречался также с Шевыревым и Лукашевичем, как студентами. Первый, устроивший тогда студенческую столовую при университете, носился с планами организации разных кружков саморазвития и был поэтому хорошо известен в студенческой среде. А Лукашевича я встречал в Научно-Литературном обществе при университете, которое потом было закрыто после нашего дела, а

также на собрании депутатов от землячеств. Благодаря своему громадному росту, он во всякой толпе был головой выше других, и потому всякий, встретивши его однажды, невольно запоминал.

М. А. Ананьина, которая тоже «согласилась» с прочими, знала только меня, как своего нареченного зятя, и Ульянова, которого она никогда ранее не видывала до приезда к ней на дачу с указанною выше целью.

Из обвинительного же акта я впервые узнал, что Генералов, Андреюшкин и Осипанов с бомбами в руках, а Канчер, Гаркун и Волохов в качестве разведчиков выходили на Невский три раза, 26, 28 февраля и 1 марта, в расчете встретить случайно проезжавшего государя, и, не встретивши его, были арестованы 1 марта сыщиками, которые давно уже следили за ними.

Все мы предавались суду особого присутствия правительствующего сената с сословными представителями. Председатель (19) (первоприсутствующий) П. А. Дейер самолично вручал обвинительный акт каждому из нас. Благодаря полному невежеству в области судопроизводства, я не заявил ему своевременно о желании иметь защитника и таким образом, к стыду своему, должен был защищаться сам. Председатель, же перед началом суда, перечисляя защитников у других подсудимых, обо мне почему-то провозгласил:

— Новорусский защитника иметь не пожелал.

На суде, несмотря на трагизм положения, я очень часто иронически смеялся. До такой степени казалось мне невероятнo-забавным то легкомыслие, с каким многие серьезные и высокопоставленные мужи относят меня к числу величайших государственных преступников, которых нужно карать строжайшим образом, и для этого подыскивать в юридическом лабиринте самые подавляющие доводы.

Настолько-то я все-таки был сведущ и понимал, что всякое подобное преступление, как бы мы ни оценивали его значение для народного блага, требует для своего осуществления людей высокого героизма, самоотверженности и мужества. А во мне все нутро, воспитанное в школе рабства и угнетения, трепетало от робости, при которой для меня невозможно было какое бы то ни было смелое и решительное дерзновение. И я совершенно искренно считал себя безусловно неспособным, на подвиг и величие, будет ли в этом величии заключаться великое преступление, как думали судьи, или великое благодеяние.

Из недавнего еще тогда прошлого мне припоминались образцы лиц, смело бросивших вызов всесильному абсолютизму, мужественно до конца защищавших свою правоту и стойко принявших наложенное на них и ожидаемое ими возмездие. И вот, в той же зале, через которую, раньше меня прошло столько отважных и где гремели их речи, полные негодования, любви к меньшему брату и восторженно-го желания пострадать за свои убеждения,— в этой зале сижу теперь я, безобидное мирное существо, никогда в жизни не державшее в руках никакого оружия.

Как! я — политический преступник, да еще важнейший! я, политическое образование которого стояло тогда на уровне нуля и который не в силах был обозначить в самых общих чертах, какого же собственно переворота мне желательно? Как! я — политический преступник, я, кандидат духовной академии, которому эта высшая школа не внушила ни зерна гражданского мужества, который не вынес из нее сознания даже того политического принципа, что воля нации есть единственный законный устроитель государственного быта, и что каждый член этой нации имеет не (20) только право, но и обязан принимать участие в этом устройении. А ведь из этой же самой академии вышел когда-то Сперанский, который положил основы русской государственной науки и который еще 65 лет тому назад писал: «Основные государственные законы должны быть делом нации и выражением ее воли».

К сожалению, даже об этом я узнал гораздо позднее.

Не думаю, чтобы я ошибался в такой самооценке. Но прокуроры, которым по штату полагается уметь читать в сердцах, очевидно, были другого мнения. Они сочли меня крайне зловерным и опасным, мое смещливое настроение приняли за насмешливое отношение к суду, поставили его мне в сугубую вину, приписали это, в связи с моим упорным заперательством, моей крайней испорченности и умыли руки, подписавши смертный приговор столь порочному и преступному типу.

VII.

Суд происходил 15—19 апреля и закончился произнесением смертного приговора в предварительной форме. В тот же или на другой день, под влиянием продолжительных и настойчивых убеждений своего соседа-шпиона, имевшего тогда в моих глазах огромный вес, я подал прошение на высочайшее имя. В нем я писал в выражениях, которые никогда с тех пор не могу вспоминать без нравственной боли, жалобу на строгость приговора и просьбу сохранить мне жизнь и отправить меня в ссылку. На 3-й, должно быть, день после этого читался приговор в окончательной форме, и пред этим было объявлено

мне, что мое прошение оставлено без последствий. У меня сохранилось убеждение, что оно не ходило по назначению, да за краткостью времени и не могло вернуться. Насколько припоминаю теперь, оно по форме своей подходило под категорию тех жалоб и прошений, которые остаются без рассмотрения, так как не заключало в себе сознания вины и выражения раскаяния.

В окончательной форме приговор был произнесен, должно быть, 22 или 23 апреля, и еще с неделю вслед за этим я оставался в предварительном доме. С этих пор отношение ко мне там несколько изменилось: на прогулку меня стал сопровождать дежурный вплоть до выхода на двор, чего не делалось раньше, а на ночь с 9 ч. вечера оставляли форточку в двери открытой и запрещали тушить огонь, очевидно, в тех видах, чтобы я «не учинил над собою какого дурна» и не вырвал из рук правосудия его жертвы.

Затем я опять был перевезен в Петропавловскую крепость, сердечно распростившись с единственным своим соседом, (21) которого я считал товарищем по заключению, но который был просто «помощником правосудия». Мне думалось, что перевозят меня для исполнения казни. В крепости я просидел три дня и прислушивался к ударам топора во дворе, полагая, что это создается нам общий эшафот.

Но эшафота мне видеть не пришлось. Кажется, 3-го мая вечером неожиданно со свитой вошел ко мне комендант, глухой старик, с бумагой в руках, и объявил, что «государь император, по неизреченному своему милосердию, высочайше повелеть соизволил даровать жизнь такому-то и заменить смертную казнь ссылкой в каторжные работы без срока».

Я спросил его, не может ли он мне сказать, куда меня пошлют отбывать каторжные работы, и получил краткий и решительный ответ:

— В рудники! В рудники! — вторично повторил он, направляясь к выходу.

Дверь захлопнулась, и я остался мечтать о прелестях рудничных работ и о сибирской жизни.

Испытывал ли я удовольствие от такого подарка?

Не берусь теперь (март 1906 г.) верно воспроизвести настроение, пережитое тогда, но помнится, что радости никакой я не ощущал. С мыслью о смерти я уже успел свыкнуться и мирился с нею, как с неизбежным. Быть может, в самый момент, при виде эшафота, я и побледнел бы, как это бывает со многими. Но заранее и в воображении я взирал на него довольно спокойно с чувством фаталиста, уверенного в том, что «чему быть, того не миновать». Раз попал в руки людей, которые играют твоею жизнью по своему усмотрению и спокойно говорят тебе: «может быть, я тебя съем, а может быть, помилию», тебе остается утешаться мыслью, что положение жертвы при таких обстоятельствах неизмеримо почтеннее, чем роль палача.

Являлось только чувство досады: умирать и ни за что! Уходить из жизни бесследно, ничего не совершив! Не мог же я утешать себя мыслью, что это за то, что и у меня были благие порывы, что и я мечтал о счастье и процветании своей родины, что и я инстинктивно возмущался против того бессмысленного и свирепого полицейского гнета, с которым тогдашний студент сталкивался на каждом шагу.

Как бы там ни было, жизнь я получил. И при этом не воображал, что еще много раз потом мне придется жалеть об этом и завидовать тем, которые вместо медленного умирания получили быструю смерть. Сколько раз потом я призывал ее вновь и долго, мучительно долго лелеял мысль о ней, как единственной (22) избавительнице от того высочайшего дара, который мне теперь преподнесли и который сумели превратить в бесконечную утонченную пытку!

VIII.

На другой день после этой объявки, около полуночи, я был разбужен дежурным. Он приглашал меня одеть свой костюм и следовать за ним. Мы поднялись наверх, вошли в какую-то большую комнату, сплошь наполненную солдатами, где мне предложено было присесть. Осмотревшись близорукими глазами (очки были отобраны, равно как и золотой тельный крестик, золотое колечко и часы, — все эти предметы исчезли бесследно для меня), я увидел у другой стены на скамье фигуру в черном пальто, в которой потом я узнал И. Д. Лукашевича.

Офицер сам подошел ко мне и, указывая на него пальцем, сказал, что мы можем говорить друг с другом.

В это время рядом за дощатой стеной слышался постоянный лязг железа. По звуку мы скоро заключили, что это отбирают кандалы из склада, не весьма бедного ими. Вскоре мимо нашей двери, неплотно закрытой, провели толпой одного закованного, затем с некоторыми промежутками второго, третьего, четвертого... Мы не считали, сколько именно прошло, и ждали своей очереди.

Кандалов, однако, нам не дали, и я так до сих пор и остаюсь бывшим ссыльно-каторжным (из тяжких!), который никогда в жизни не видывал кандалов. Из всех наших современников, сопровожда-

давшихся в Шлиссельбург, не были закованы по дороге в него, насколько я знаю, только Лукашевич да я. Даже обе наши дамы, Фигнер и Волкенштейн, шли туда в наручниках. И мне совершенно неизвестно, кому или чему мы были обязаны этой льготой или «милостью». Особенно странно это для Лукашевича, атлетическая фигура которого не могла не внушать опасений.

Итак, без всяких особых церемоний, офицер пригласил «пожаловать» сначала Лукашевича, проводил его со значительной свитой и скоро вернулся ко мне. Мы спустились вниз, затем к выходу, и не успел я оглянуться в полумраке весенней ночи, как очутился в карете, рядом опять с Лукашевичем. Напротив нас сидели, как водится, два жандарма.

Карета тронулась в путь, но скоро остановилась, и нас с тою же постепенностью попросили выходить. Конечно, шли мы не просто, а ведомые, точнее — влекомые под руки двумя дюжими молодцами, которые так спешно и старательно исполняли {23} возложенное на них поручение, что первая мысль, которая мелькнула при этом, была мысль о потоплении: «не топить ли меня ведут?». И неудивительно: перед глазами открывалась широкая гладь Невы, пустынной в этот час ночи, и от самой воды нас отделяла только узкая полоса берега, десятка в 2—3 шагов. Влекли меня с такой быстротой, что, прежде чем я что-нибудь увидал, меня втолкнули в какой-то люк, и я очутился не на дне Невы, а в каюте маленького пароходика, довольно комфортабельно обставленной, и опять в обществе Лукашевича.

В каюте мы были одни, и в течение всего пути офицер заходил изредка, приятно улыбаясь, но был неразговорчив. Остальной же стражи мы вовсе не видали. Дорогой нам предложен был чай с булками, — очевидно, какая-то фея заботилась о наших нуждах.

Почти ровно 18 $\frac{1}{2}$ лет спустя мы возвращались с Лукашевичем (в обществе уже Морозова и Лопатина) на таком же пароходике по той же самой Неве, но с другими чувствами. Любопытно, что теперь (в 1905 г.) наша стража была почему-то неразлучна с нами в каюте, и об угощении нас чаем никто не позаботился.

По поводу невольных страхов пред ночным утоплением я скажу кстати два слова о пытках. На воле мне не раз приходилось слышать упорные слухи, что подследственных, особенно в таких делах, как наше, пытаются. Когда меня привезли первый раз на допрос на Гороховую ул., 2, то в ожидании очереди посадили в совершенно пустую камеру с отбеленными стенами. На них, на высоте моего лица, в 2 местах ясно были видны брызги, которые я принял за брызги свежей крови. Какое впечатление произвело это на меня, понятно всякому. Прибавлю, что за дверью, как раз напротив, слышался резкий лязг железа, который можно было принять за переключивание орудий пытки. Была ли это «хозяйственная» случайность, устроено ли нарочно, с целью произвести психическое воздействие, не берусь сказать. В этой камере потом мне пришлось быть несколько раз; ничего нового я больше не видал и не слышал. Лукашевичу же Котляревский прямо сказал, должно быть, в тех же видах воздействия, что у них есть средства заставить давать показания.

IX.

Когда мы выехали из Петербурга, мы еще терялись в догадках, куда собственно нас везут. На расспросы офицер упорно отмалчивался и неизменно повторял:

— А вот скоро увидите {24}

Скоро мы, действительно, остановились у пристани и ждали здесь более часа. Очевидно было, что мы приехали и что дальше нас не повезут. По времени и по тому, что мы ехали Невой (берега чуть-чуть виднелись в маленькие окна каюты), мы заключили с несомненностью, что приехали в Шлиссельбург. На мои расспросы об условиях жизни там офицер, улыбаясь, столь же загадочно отвечал:

— А вот сейчас увидите.

В всякое уголовное преступление карается определенным наказанием, и в уставе о ссыльных с большой обстоятельностью описано, в чем состоит и как протекает наложенная законом кара. Для политического же преступника, который якобы подлежит ответственности по тому же кодексу, совершенно обратно, считаются необходимыми неизвестность предстоящего ему возмездия и таинственность обстановки, в которой препровождают его в неведомое узилище. И до самых последних дней жизни там нам строжайше запрещалось писать что бы то ни было об условиях, в которых мы живем.

Таинственность, окружавшая это лобное место, и спасительный страх, который якобы нагоняло напуганное воображение на обывателей, считались в высших полицейских сферах самым действительным и надежным оплотом против революции. Что такова именно была государственная мудрость командующих над нами лиц, об этом мы не раз получали верные известия из самых первых рук.

Между тем мы с Лукашевичем терпеливо ждали и не мучились в бесплодных догадках и опасениях расстаться друг с другом надолго, быть может, навсегда. Наконец мы дождались: предложено было выходить опять в том же порядке, сначала ему.

Примерно через $\frac{1}{4}$ ч. пришли затем за мной, и я совершил вступление в знаменитую крепость тем же торжественным и триумфальным маршем, каким, вероятно, входили и все другие мои товарищи по процессу. в ярком сиянии майского утра, со свитой человек в 12 высших и низших чинов и также весьма заботливо поддерживаемый под руки.

Легкомысленный юношеский ум старался и тут в трагизме положения замечать одни смешные стороны. В еденье под руки в такой большой толпе, да еще в глухих стенах крепости, да еще на острове, было таким ненужным избытком усердия, который казался мне придуманным нарочно не то для забавы, не то для вящего усиления престижа моей персоны. И память почему-то подсказала как раз подходящий к данному случаю стих псалма: «На руках возмут тя, да не когда преткнеша о камень ногу твою» (Пс. 90, 12). {25}

Прошли мы, наконец, через всю крепостную площадь, прошли кордегардию, сквозь которую вошли на тюремный двор, и когда стали приближаться к приснопамятному отныне «Сараю», я не мало был удивлен его, можно сказать, кокетливым видом. Низкое длинное здание, с полом на одном уровне с почвой, недавно, должно быть, штукатуренное, ярко белело на солнце, а у основания стены желтела масса одуванчиков, только что раскрывших свои венчики в лучах его. Такою же толпой и так же под ру-

Файл shlis26.jpg

Вход на тюремный двор. Слева здание кордегардии, сквозь которое всегда входили идущие в тюрьму. Впереди часть новой тюрьмы. Справа часть ограды у братской могилы.

ки несмотря на то, что мы были уже на третьем дворе, за третьими воротами, я был введен в место своего «вечного» упокоения. И только после того, как я очутился в камере, я почувствовал, что мои руки отпущены, и понял, что нахожусь у самой цели своего путешествия.

Не успел я опомниться, как был раздет донага, обыскан с такою тщательностью, о которой в подробностях можно писать только в специально-медицинском журнале, и одет в грубое белье. На ноги дали мне необыкновенных размеров башмаки, {26} на плечи накинули старый арестантский халат с буб-

Файл shlis27.jpg

План старой тюрьмы («Сарая») с десятью камерами. *д* — кухня. *е* — ход на задний двор (здесь казнили Балмашева и Конопляникову). *с* — ход в камеру Иоанна Антоновича. {27}

новым тузом на спине, и преобразование мое оказалось вполне законченным. Весь туалет совершался в присутствии начальника Шлиссельбургского жандармского управления (полковника), его двух помощников, доктора и соответственного количества нижних чинов. На лицах у всех было суровое выражение, гармонировавшее с величием минуты, а на устах — совершеннейшее безмолвие.

Файл shlis28.jpg

Вход в крепость сквозь «Государеву» башню. Над воротами госуд. герб и над ним надпись.

Когда я был совершенно готов, мне скорее жестами, чем словами указали на необходимость идти куда-то вдоль коридора, и не прошло одной минуты, как я очутился у двери № 8-го, вошел в нее и был моментально захлопнут наглухо.

Х.

Это был конец моего короткого путешествия, конец и моей молодой жизни. Мне только недавно исполнилось 25 лет. Из них 14 л. я провел в глухих стенах закрытых учебных заведений и только 6 месяцев «на воле». Конец надеждам, молодым стремлениям и исканиям лучшего будущего, конец гордым думам, горячим порывам и тому высокому воодушевлению, которое окрыляло юношеские мечты и заставляло подчас невольно повторять вместе с поэтом:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви

Здесь порывы твои заглохнут. Здесь потухнет пламя, согревавшее тебя. Здесь думы твои будут долго и безнадежно биться, подобно птице в клетке, и, после многократных попыток найти какой-нибудь выход, преждевременно угаснут. Здесь частой гостьей твоей будет апатия и равнодушие. Здесь не раз тоска сожмет тебе сердце своими острыми когтями, и чувство пустоты, бессмысленности и полной никчемности твоего прозябания будет преобладающим у тебя чувством.

Да, здесь испытаеть ты, может быть, такие муки ада, с которыми фантазия Данта не была еще знакома и для которых поэт не найдет достаточно выразительных и наглядных образов.

На вратах нашего Ада не было дантовской надписи. Там стояла просто золотая надпись, уцелевшая, кажется, со времени Петра I: «Государева». Так называлась башня, сквозь которую тесным и низким изгибом шел единственный вход в крепость. Но мы потом шутили не без основания, что в этой надписи есть недоговоренность и что нужно читать:

— Государева тюрьма. {29}

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Счастье духа в том, чтобы быть помазанным слезами и посвященным на заклание».

Нидше.

Первые шаги.

I.

Камера, где я очутился, была довольно просторная, шагов в 10 по диагонали, почти пустая и очень сумрачная.

В одном ее углу помещалась круглая железная печь, крашенная охрой, которая топилась с коридора. У одной стены стоял маленький деревянный столик, покрытый буро-желтым лаком и прикрепленный к ней наглухо железными крючками. У противоположной стены помещалась железная кровать, вращавшаяся на шарнирах, вделанных в стену, и опиравшаяся на пол только двумя ножками. Благодаря такому устройству ее можно было поднимать и опускать, как любую крышку ящика. Поднявши ее вертикально (ребром), можно было защелкнуть за крюк, вделанный в стену нарочно для этого, и замкнуть в таком положении на замок. На кровати находился мочальный матрац, довольно новый, покрытый черно-серым одеялом с синими полосами. Простыня и наволочки из тонкого холста. Наконец в углу неизбежный стульчак в виде опрокинутого конуса и возле него, на высоте стола, железная эмалированная раковина, а над нею медный кран водопровода.

На стене, приклеенная хлебом, висела инструкция, заменявшая нам свод законов, где между прочим с особенною заботливостью были выставлены 50 розог и смертная казнь, как наказания, налагаемые: первое — в административном, порядке, второе — в судебном. Эта инструкция менялась затем несколько раз. Но ни одну из них не дерзнул подписать своим именем сочинитель ее, как бы стыдясь своего произведения, достойного того, чтоб его занесли когда-нибудь на мраморную доску. {30}

На подоконнике к раме была как-то прицеплена ниткой маленькая деревянная икона в 4×3 д. Висеть ей на гвоздике не полагалось, так как самый маленький гвоздик мог дать заключенному или опасную идею, или опасное оружие.

Больше в камере не было решительно ничего. Стены были выбелены известкой и только снизу, на высоте 1 арш. от полу, выкрашены коричневой краской. Пол был асфальтовый, ничем не крашенный и потому не только грязный, но и не отмываемый: благодаря крайне шероховатой поверхности тщетны были все усилия придать ему приличный вид.

Окно было сравнительно большое, в 9 стекол, по 3 в ряд, начиналось оно на высоте моего роста и кончалось у самого потолка, точнее — у вершины свода, так как потолок был сводчатый. Сильно скошенный подоконник был вычернен. Рамы толстые, массивные, двойные; за ними, конечно, решетка, стекла матовые; все это пропускало слишком мало света. А так как, сверх того, против самого окна, саж. в 4 от него возвышалась крепостная стена, которая позволяла видеть только самый маленький клочок неба, — к тому же окна были на север, — то неудивительно, что в этом склепе царил постоянный мрак. И яркое весеннее солнце, которое резало отвыкшие от света глаза при выходе на двор, ухитрялось заглянуть ко мне в окно только на $\frac{1}{2}$ часа, да и то около 7 часов вечера. В пасмурные дни читать было почти совсем невозможно.

Для вентиляции служили два маленькие отверстия в стене, а затем в окне открывалась форточка, которая была сделана из одного среднего верхнего стекла. Но открывалась она не настежь, а только под углом, и притом всегда жандармами, так как достать ее самому не было возможности. Летом можно было держать ее открытой всю ночь. Но прежде, как я слышал от П. С. Поливанова, Соколов затворял ее даже днем при наступлении грозы и на просьбу не делать этого отвечал:

— Да, тебя убьет громом, а я отвечай!

II.

Очевидно, осматривать в таком жилище было нечего, а развлекаться чем-нибудь — тем более, так что я всецело был предоставлен себе и своим думам. И если бы я в силах был воспроизвести хоть приблизительно-верно эти думы первого дня заточения и стенографировать их, понадобилось бы для этого много страниц. Но теперь я совершенно отказываюсь от всякой попытки сделать это, в полной уверенности, что это творчество, каково бы оно ни было, будет чистейшим вымыслом. {31}

Единственное занятие, которому можно было предаваться невозбранно, было хождение из угла в угол. Но и то было затруднено длинным халатом да башмаками, по величине весьма похожими на те, в которых теперь помещают Витте в карикатурах. И как ни примитивно это удовольствие, справедливость требует сказать, что оно было великим благом, которому всей душой завидует человек, прикованный к стене или к тачке, как был прикован, напр., Н. П. Щедрин. Он говорил мне, что, когда, наконец, его расковали (кажется, через 6 недель), он не мог достаточно набегаться по камере и не мог надивиться, как это люди, свободно ходящие, не испытывают ни малейшего удовольствия от этой свободы.

Привожу кстати здесь и самую инструкцию:

ИНСТРУКЦИЯ¹.

(Для заключенных в Шлиссельбургской крепости).

§ 1.

Заключенные подчиняются установленным в тюрьме порядкам, беспрекословно исполняют требования начальника управления, помощников его и дежурного унтер-офицера, должны быть всегда опрятными, беречь и держать в чистоте одежду, обувь и убирать свои постели. Заключенным воспрещается: шум, крик, пение, свист, разговоры и вообще действия, нарушающие спокойствие и благочиние в тюрьме.

§ 2.

Для заключенных, отличающихся хорошим поведением, допускаются, с разрешения начальника управления, следующие снисхождения: — беседа со священником, занятия работами, пользование книгами из тюремной библиотеки.

§ 3.

Проступки, за которые определяются наказания, по распоряжению начальника управления, разделяются на два рода: на дисциплинарные нарушения и на проступки, которые указаны в 803 ст. уст. о ссыльных.

§ 4.

За проступки первого рода назначаются наказания:

1) лишение чая, 2) лишение матраца на койке до пяти дней, {32} 3) заключение в карцере до пяти дней, 4) заключение в темном карцере на такое же время на хлебе и воде.

§ 5.

За повторение проступков назначаются наказания: 1) заключение в карцере до 8-ми дней, 2) заключение в темном карцере на такое же время с содержанием на хлебе и воде с наложением оков.

Примечание. Подвергаемые заключению в карцере спят на голых досках. Заключение в карцере обязательно сопровождается лишением чая.

§ 6.

¹ Здесь приводится дословно та «Инструкция», которая висела на стенах Шлиссельбургской крепости во время нахождения там политических узников в последние два царствования. Ред.

Когда проступки сопровождались особенными обстоятельствами, увеличивающими вину, то нарушители могут быть наказаны розгами до 50-ти ударов (ст. 225, XVII кн. воен. пост.).

§ 7.

Взыскания, означенные в § 4, влекут за собою лишение заключенных облегчений, поименованных в § 2, на срок до одного месяца. Последствием наказания, определенного в § 5, должно быть лишение этих облегчений на срок до трех месяцев.

§ 8.

За преступления заключенные судятся военным судом, применяющим к ним постановления устава о ссыльных; за тяжкие же преступления, указанные в 279 ст. XXII кн. св. воен. пост., а также за оскорбление действием начальствующих лиц, суд применяет к ним меру наказания, этой статьей определенной — смертную казнь.

III.

Из внешних объектов исключительным центром моего внимания был, конечно, Соколов, известный теперь и в печати под именем Ирода.

Я не скажу, чтобы он произвел на меня чересчур неприятное впечатление. Потому ли, что я еще не успел нажать естественного чувства антипатии жертвы к своему палачу, или потому, что я вообще не особенно наблюдателен в отношении людей, дружить с которыми мне никогда не придется, но только Матвей Ефимыч не произвел на меня такого отталкивающего впечатления, как на Поливанова и на тех, кто переносил его {33} заботы и внимание в Алексеевском равелине. Конечно, сразу было видно человека жестокого и бездушного. Но я понимал, что, отдавая к нему «в каторжные работы», меня вовсе не хотели поручать его «отеческому» попечению в тех видах, чтобы он воздействовал на мою испорченную натуру мерами кротости и человеколюбия.

Атмосфера бездушия и явной злобности царила всецело и в Петропавловской крепости. Это — первое, что поражало тогда новичка, только что попавшего под замок. Виновен ты или невинен, выпустят тебя административно или оправдают по суду, взят ли ты по террористическому делу или за хранение у себя книжки «преступного содержания», именуемой «Сказкою о 4-х братьях», — стража в своем отношении к узнику не делала разницы. Она третировала его не как «врага общественного порядка», до понятия о котором она сама еще не доросла, а как врага своего собственного благополучия. И потому, кроме злорадных и мстительных взглядов, которые ты постоянно чувствовал на себе, ты не мог ожидать с их стороны ничего другого.

Поэтому, попавши в Шлиссельбург, я не заметил здесь существенной перемены, за исключением того, что унтера были только немые статисты, а действительным лицом имевшим право обращаться ко мне членораздельную человеческую речь, был один-единственный Матвей Ефимыч, не считая доктора и начальника управления, с которыми встречи были крайне редкие. Быть может, по этой причине, на фоне такого всеобщего не только бездушия, но и безгласия, человек, от которого я слышал членораздельную речь, не казался мне настоящим зверем. Явной грубости с его стороны я тоже не встречал.

Из его отношения ко мне, равно как и из множества других фактов, можно было сделать весьма вероятное заключение, что положение каждого из нас в Шлиссельбурге несколько варьировалось в зависимости от тех индивидуальных инструкций, которые были даны из департамента полиции добавочно. И те, кто имел честь навлечь на себя неудовольствие Петра Николаевича Дурново во время личных «интимных» сношений с ним, долго еще потом чувствовали на себе его тяжелую десницу, незримо тяготеющую в наших стенах. И видя это, нельзя достаточно надивиться, до какой мелочности могут снизойти русские великие государственные сановники!

Наконец, надо еще оговориться раз навсегда, что я попал туда в сравнительно легкие времена. Мои товарищи, явившиеся в Шлиссельбург еще в 1884 г., прожили здесь уже три года, бесконечных, унылых и тяжких три года, и прожили не со- {34} всем бесплодно. Кое-что уже было «завоевано» с одной стороны или «даровано» с другой, кое-что смягчено вообще. И потому всей жестокости гениального режима, изобретенного на страх врагам, мне испытать не пришлось.

Как на самый яркий признак этого смягчения, могу указать на то, что Соколов в это время уже избегал обращаться на «ты» и ухитрялся говорить всегда в безличной форме и в неопределенных наклонениях.

Когда оторвалась как-то пуговица от штанов и я спросил иголку и нитку, чтобы пришить ее, он кратко ответил:

— Нельзя. Нужно штаны *снять, дать*, — починят!

IV.

В 12½ часов отворилась форточка в двери, и мне подали обед, кажется, из щей и каши.

Не скажу, чтобы он удивил меня примитивностью своих качеств и своего состава. В доме предварительного заключения я уже получал нечто подобное. Затем в новгородской семинарии, где живут не лишённые прав, а воспитывается надежда России и опора «исконных начал», нас кормили часто такой мерзостью, которой не позавидовал бы изголодавшийся каторжник. А потому мой желудок, вынесший семинарское продовольствие без ущерба для себя, относился с полной снисходительностью к страпне Матвея Ефимыча, установленной особами высокого ранга специально для того, чтобы укротить непокорную и строптивую душу.

Пользуясь случаем, я обратился к Соколову с вопросом, нельзя ли мне получить какую-нибудь книгу и полагается ли здесь прогулка. Он обещал дать книгу завтра утром, а насчет прогулки сказал, что с этим нужно несколько дней повременить,

В 4 часа так же неожиданно открылась форточка, и мне дали кружку чаю и кусочек сахару. Чай был безвкусен, с запахом веника, но зато горячий. В 7 часов, вместо ужина, я получил немного какой-то размазни. А в 9 часов внесли медную керосиновую лампу, и Соколов предупредил, что она должна гореть всю ночь. Воздух, спертый и плохо вентилируемый, наполнялся за ночь еще запахом керосиновой гари. Этой последней выдачей тюремный день был закончен. Никто меня больше не беспокоил, самоутлублению предоставлялся полнейший и неограниченный простор, и я сразу же вступил в самую суть жизни, руководимой правилом Соколова:

«Сиди себе смирно, и никто тебе слова не скажет!»

Так кончился первый день моей каторжной жизни. {35}

Я забыл еще упомянуть об одной подробности, неизменно сопутствовавшей первому и последующим дням, привыкнуть к которой было не легко. Это — поминутное заглядывание дежурного в глазок. Заглядывали, конечно, и в Петропавловской крепости и в предварилке, но изредка, и потому там я не обращал на это внимания. Здесь же это заглядывание было, можно сказать, непрерывным. И бесило же оно тогда, на первых порах! Думалось, что и практиковали-то его не столько в интересах надзора, сколько в интересах мучения, чтобы заключенный ни на минуту не мог забыть и вообразить себя вольным человеком, вырвавшимся из их рук. Только во время ходьбы и можно было забыть об этом непрошенном свидетеле твоих вздохов, да и то, подходя к самой двери, часто невольно замечал за стеклышком устремленный на тебя глаз. Во время же чтения, особенно при вечерней абсолютной тишине, крадущиеся к двери шаги соглядастая выводили из себя самым решительным образом.

Представьте себя на месте, напр., школьника, который выбрал себе укромный уголок и углубился в книгу. Затем представьте, что надзиратель его ровно через каждые 2 минуты подкрадывается к нему на цыпочках и заглядывает молча к нему в книгу. Много ли нужно времени, чтобы довести его до белого каления?

У наших дам была еще маленькая защита, но и ее они отвоевали, кажется, не вдруг и не без труда. Они нарезали себе ножницами кружков из сукна и затыкали глазок на время каждый раз, как им это требовалось.

Но к чему человек в конце концов ни привыкает? Через какой-нибудь год я уже относился совершенно равнодушно к таким подглядываниям и редко обращал на них внимание, тем более, что они делались заметно реже. Впрочем, некоторые товарищи никогда не могли привыкнуть к этому и при всяком нервном возбуждении сильно волновались при виде такой бесцеремонности.

V.

Так, «сиди себе смирно, и никто тебе слова не скажет!» Казалось бы, нет ничего легче, как осуществить этот идеал Матвея Ефимыча. Вместо каторжных работ, подневольных уроков, спуска в недра земли и целодневных напряжений в сырых или промерзлых шахтах, тебе досталось на долю одно «смирное сиденье». Эту великую милость и подчеркивал генерал Шебеко в разговоре, кажется, с Триго-ни, которому он бросил с негодованием: «Как! Вы были приговорены к смертной {36} казни, а теперь лежите на мягком матраце, да еще жалуетесь!».

Что значит это смирное сиденье или лежанье в переводе на язык ощущений, понятный каждому, можно уразуметь из всем доступного опыта. Каждому приходилось сидеть несколько секунд неподвижно пред фотографическим аппаратом. Пусть-ка он попробует, принявши такую позу, сохранить ее неизменно в течение целого часа. Организм молодой и деятельный имеет такую же настоятельную потреб-

ность в осуществлении всевозможных двигательных актов, какую имеет он и в пище. Обреченный на полную неподвижность и бездеятельность, он испытывает такие же серьезные страдания, как и тогда, когда его принуждают к непосильной деятельности. Напомню кстати, что пение, шум, стук, разговоры — целый ряд двигательных процессов строго запрещался инструкцией.

Жизненная энергия, не находя целесообразного исхода, вся уходит на поддержание себя в хроническом состоянии самоограничения. В следствие этого вся жизнь превращалась в непрерывное, но длительное самоумерщвление.

VI.

Размеры здания, куда меня поместили (это был, конечно, наш знаменитый «Сарай»), и количества камер в нем я не мог определить сразу. Но подозревал, что кроме меня да Лукашевича, шаги которого я слышал в соседнем № 9, должны быть еще товарищи. Однако, как ни старался я уловить звуки, указывающие на их присутствие, мне не удавалось это. Толстая, обитая железом дверь захлопывалась плотно, как пробка, массивные стены, должно быть в 1½ арш. толщиной, были непроницаемы для звуков. К тому же ориентироваться во всяком новом помещении подобного рода крайне трудно. Поэтому мне не удалось открыть здесь следов пребывания еще хоть одной души, и я остановился на мысли, что мы с Лукашевичем здесь только одни.

Уже много лет спустя от дежурных мы узнали, что наши товарищи, приговоренные к казни, сидели здесь 3 дня вместе с нами и что они были казнены и, значит, выведены из камер на двор в 2 часа ночи 8 мая, когда мы крепко спали сном невинных младенцев, которых не могут тревожить никакие житейские заботы.

Двор, на котором их казнили, примыкал вплотную к зданию нашей тюрьмы, но окна наших камер выходили в противоположную от него сторону, а между камерами и этим двором (37) шел довольно широкий коридор. При таком расположении все подготовительные к казни работы на нем не были для нас слышны.

Должно быть, на другой день после казни дверь моей камеры отворилась в 10 часов, и Соколов лаконически произнес:

— На прогулку.

Я молча взял блинообразную фуражку без козырька из серого арестантского сукна с крестом из черных полос наверху и вышел из камеры. Впереди шел Соколов, за ним унтер, далее я, а за мной еще унтер. Такая процессия неизменно совершалась каждый день во все правление Соколова. Но после его ухода младший помощник, заменявший его, очевидно тяготился лишним движением и потому стал ограничиваться тем, что смотрел на это шествие издали. А когда и это стало надоедать, предоставил «конвоировать арестанта» одним унтерам.

Дальнейший прогресс в этом отношении состоял в том, что исчез и один унтер (передний), а следовал только задний, за движением же наблюдал со стороны вахмистр, к которому перешел ключ и право открывать и закрывать двери. Наконец исчез и задний спутник, и шествие по двору совершалось без всякого конвоя, но на глазах у унтеров. Для этой цели они обзавелись уже скамьями, нашей же работы, и спокойно сидели среди двора, то греясь на солнце, то прячась в тень, то беседуя друг с другом, то читая газету, которую, глядя по режиму, быстро прятали в рукав, если проходил вблизи них. Бывало, наконец, в моменты наивысшего либерализма, что дежурных нигде не было видно, и, проходя по двору, не стоило особого труда перепрыгнуть через невысокую кирпичную стену, отделявшую тюремный двор от остальной крепостной площади, и очутиться там в компании жандармских жен и детей, и в объятии часового с ружьем, который неизменно стоял там за стеной у ворот, ведущих в наш двор.

Так же непрерывно стояли, над нашим двором, сменяясь каждые 2 часа, три часовых с ружьем наверху крепостной стены, причем один исключительно над «Сараем», другой в противоположном конце на угловой башне и 3-й как раз над нашими огородами. Перед ним вся наша жизнь была как на ладони, к нему же летело и всякое наше слово, сказанное не шепотом.

Здесь вся система надзора была построена на взаимном шпионстве. И никто из лиц стражи, от низших до высших чинов, не имел права говорить с нами наедине. Поэтому часовому вменялось также в обязанность следить за нашими разговорами с унтерами, которые окружали нас всюду, но оружия не носили. (38)

Соблазн же перепрыгнуть через кирпичную стену, конечно, предусматривался. В виду этого, напр., сточная труба с крыши кордегардии спускалась не на наш двор, как бы следовало по расположению крыши, а прихотливо изгибалась и перекидывалась через стену наружу. Предусмотрительные строители, очевидно, боялись, что какой-нибудь отчаянный воспользуется трубой и легко перепрыгнет

эту маленькую стену, едва ли превышавшую 4-аршинную высоту. А ротмистр Гудзь, который правил нами в самое либеральное время, из тех же опасений приказывал каждую весну (март) отрывать снег от этой стены, куда наметало его большими сугробами. В это время по слежавшемуся снегу можно было ходить не проваливаясь.

Так я тронулся в путь церемониальным маршем, прямо на тот двор, на котором только что совершено было смертоубийство. На нем, между прочим присутствовал П. Н. Дурново, нарочно приехавший сюда из Петербурга для этой цели. Двор, довольно обширный, имел совершенно пустынный вид. Из каменистой почвы, сплошь усыпанной плитняком и известковым мусором от многократных вековых построек, кое-где пробивалась убогая ранняя зелень. Ничто не напоминало о только что совершившейся здесь трагедии.

Впоследствии, когда весь этот двор мы превратили в культурный вид и заняли всю площадь его под садовые и огородные насаждения, мы узнали, что эшафот стоял как раз на том месте, где трудами М. Ф. Фроленко были посажены яблони и где дни стоят, может быть, и до сего дня¹.

Быстро прошли мы этот т. н. «старый» двор, образованный высокими крепостными стенами (цитадель), и вышли на новый, который, как я сказал, отделялся от свободного крепостного населения невысокой кирпичной стеной. Здесь меня тотчас подвели к первой деревянной двери. Я вошел в нее и был стремительно заперт задвижкой.

Место, где я очутился, именовавшееся официально «двориком», а у нас в просторечии «стойлом» или «клеткой», представляло из себя треугольную площадку, сплошь усыпанную песком и обнесенную забором в 4 арш. высоты (см. приложенный план двориков). Вдоль самой длинной стороны этого треугольника можно было сделать шагов 15. Заборы были двойные, — одна сторона из 2¹/₂-дюймовых досок, сложенных горизонтально другая — из 1-дюймовых, прибитых вертикально. Между этими двумя стенками был пустой промежуток вершка {39} в два. Благодаря такому устройству не видно было ни малейших щелей, в которые мог бы украдкой заглянуть предательский луч солнца.

На земле было буквально — хоть шаром покати. Только посредине высилась небольшая куча песку, и в ней торчала деревянная лопата. Эту кучу можно было пересыпать на другое место, а завтра опять на прежнее. Труд этот, впрочем, отнюдь не обязательный, очевидно, должен был служить моционом, а в силу своей явной бессмыслицы и нелепости, мог стать надлежащей заменой каторжного труда. Каюсь, впрочем, что я нередко занимался этой совершенно детской забавой и, чтобы придать ей хоть какой-нибудь смысл, старался создать из песку какие-нибудь скульптурные фигуры. Все они, разумеется, тщательно уничтожались тотчас после моего ухода, дабы гуляющий здесь после меня товарищ не мог прочесть в них какой-нибудь таинственный и преступный смысл.

Прогулка продолжалась примерно 1³/₄ ч. Я видел в зените небо и облака, купался в солнечных лучах и чувствовал, как обвеивает меня кругом весенний ветерок. Все это было и отрадно, и грустно. Отрадно потому, что доставляло непосредственное приятное впечатление. Грустно потому, что слишком интенсивно напоминало свободные небеса, свободные солнечные лучи и свободное дыхание весны, которое было когда-то так живительно и богато надеждами... И это воспоминание о так недавно минувшем и уже навеки невозвратном наводило подчас такое уныние и жгучую боль, как и созерцание могилы, в которой ты скоронил все, что любил больше всего на свете.

В подобные минуты холодная и мрачная камера казалась приятным убежищем, куда не проникали раздражающие отзвуки жизни и где с безнадежностью положения наилучше гармонировали безысходные и беспросветные стены.

И как будто был легче дышу
В моей камере душной и тесной.

Так оканчивает Вера Николаевна одно из поэтических своих стихотворений, описывающих то же настроение.

В остальном прогулка давала столь же мало ощущений и наблюдений, как и камера.

Впоследствии я узнал, что подобных клеток устроено шесть, нумеровались они по порядку и все расходились радиусами из общего центра, где были расположены входные двери. Чертеж этого учреждения прилагаю здесь.

Непосредственно же над входными дверями устроена была вышка, маленькая галерея, где постоянно тогда дежурили (40) два унтера. От их глаз не укрывалось ни одно наше движение, а от глаз ча-

Файл shlis41.jpg

¹ В январе 1919 г. одна весьма разросшаяся яблоня еще стояла здесь в крепости.

Схематический план мест заточения внутри крепости. *A* — новая тюрьма, *B* — старая, *D* — задний двор, *K* — камера Иоанна Антоновича, *E* — большой двор, где были парники, *p* — вход в цитадель, *I—б* — клетки для прогулок («пески»). *I—VIII* — огороды, *и* — место «клуба», *S* — ход на стену для часовых, *C* — кордегардия. {41}

сового — ни одно движение унтера.

Раз как-то, уходя домой, я заранее взял горсть песка, чтобы вычистить в камере раковину. Очевидно, это было замечено и «доложено», потому что, когда мы шли домой, на дороге Ирод остановил меня и спросил:

— Что в руке?

— Песок.

— Зачем?

Я объяснил.

— Нельзя. Дадут для этого толченого кирпича.

До сих пор мне непонятно, почему эмалированную раковину можно было чистить не песком, а толченым кирпичом.

VII

Я забыл сказать, что на другой же день моего пребывания я получил, согласно обещанию, книгу. Это был Гизо — «Сущность христианства» (если не ошибаюсь). Будучи разочарован таким приношением, я попросил дать мне каталог. И когда на следующий день мне дали его, из него я узнал, что в библиотеке есть многотомная «История государства Российского» Соловьева, попросил ее и, получивши на другой день, надолго засел над нею.

Тогда же, мне дали аспидную доску, наклеенную тонким слоем на картон и потому очень легкую. Обыкновенная же в рамке считалась, должно быть, опасным метательным оружием.

Затем потянулись однообразные дни за днями, похожие друг на друга, как две капли воды, и без малейших перемен. Начиналась та самая унылая, монотонная и совершенно бессмысленная канитель, которая давила хуже кошмара и от которой подчас с радостью бежал бы в настоящие рудники. Та самая безжизненная, безрадостная и безнадежная канитель, подавленный которою один из наших поэтов сказал:

Что род мук изменить
Есть часто предел всех желаний.

Так прошло у меня недели три. Только раз как-то дверь открылась в неурочное время, и Соколов произнес:

— Мыться!

Я вышел и, пройдя по коридору в другой конец здания, увидел комнату, где помещалась ванна. Я хотел было уже устремиться туда, как был остановлен его возгласом:

— Надо постричься! {42}

Я невольно улыбнулся, вспомнив, как в древности насильно «постригали» в монахи, сел на подставленный табурет и был тотчас обработан наголо ловким артистом своего дела. Но при этой операции он не употреблял гребенки и потому оставил мою голову с видом только что остриженной овцы: где была голая кожа, а где топорщились редкие кустики волос.

Когда мы после этого увидались с Лукашевичем и показали друг другу свои головы, то долго смеялись над такой работой. Если хотели уязвить нас ею, то ошиблись в расчете: нас это только смешило, как невольный маскарад. И я до сих пор не могу решить, была ли у них какая-нибудь сознательная цель в этом уродовании головы, или же они только возмещали себя таким образом за невозможность брить нас по каторжному положению. После неоднократных попыток сопротивления этому бритью со стороны политических в разных местах, наши власти уже не решались проделать такой опыт у нас, в полной уверенности, что эти люди, которых они сами считали отборными, не допустят над собой такого явного надругательства.

Дальнейший прогресс здесь, как и во всем, совершался постепенно. На второй уже год дежурный держал в руке гребенку, но почти не пользовался ею. А на третий, кажется, год начал стричь по настоящему. Почти все они, в качестве солдат, умели стричь как следует, в чем после мы вполне убедились.

После ванны, которая, как и все здесь, принималась на глазах двух жандармов, мне дали в придачу к тому костюму, который я получил в первый же день, холщовые штаны и такую же куртку, дли-

ной до талии и с серым тузом на спине. Ванна делалась в это время раз в месяц, по субботам, белье же носильное менялось еженедельно, а спальное — дважды в месяц.

Во время ванны в камере производился тщательный обыск, при котором отбиралась всякая щепочка, которую подобрал украдкой на дворе с тем, чтобы пользоваться ею как зубочисткой, и которую тщательно спрятал у себя в какую-нибудь щель. Нюх у них на это был необыкновенный и искусство изумительное. При мне эти обыски простирались только на камеру. Прежде же обыскивали каждого персонально и для этого раздевали его донага.

Эти обыски, как и весь режим, с течением времени все слабели и слабели, пока совсем не прекратились. Нерегулярно по камерам, конечно, шарили до конца. Но, как кажется, больше в поисках за сахаром и прочими снедами, чем за чем-нибудь подозрительным, отыскать которое в массе накопленных вещей уже не было возможности. В последние три года я тщательно прятал у себя перочинный ножичек изделия П. Л. Антонова. Но {43} случилось однажды, когда я шел в ванну коридором, он провалился в дырявом кармане штанов и покатился по полу. Вахмистр, который шел следом за мной, наклонился, поднял его и молча подал мне. Прежде он бы не сделал подобного промаха.

Должно быть, в первые же дни заключения я получил еще карандаш и тетрадь серой бумаги в $\frac{1}{4}$ листа, пронумерованную и с надписью на обороте рукой дежурного: «итого въ сѣй тетрадь пронумерованныхъ 12 л.». Исписанную тетрадь нужно было сдать, чтобы получить новую.

Понятно, в какой степени это помогало развитию писательского таланта и ученым занятиям, особенно, если принять во внимание, что книгу можно было иметь только одну, а чтобы получить другую, нужно было сдать первую. Понятно также, что я тотчас же стал хлопотать, чтобы тетради можно было оставлять у себя. Хлопотали, наверное, об этом и другие, и, кажется, вскоре это было разрешено, судя по тому, что у меня сохранилась тетрадь с лета этого года. Сколько пред этим было сдано, я не помню.

Сначала стали давать и вторую и третью без затруднения, но, если начинал брать часто, просили сдать хоть что-нибудь. Помню, между прочим, что я перевел как-то с немецкого книжку Гюка «Путешествие в Монголию и Тибет» и перевод сдал жандармам. После они говорили, что отсылали сданные тетради в департамент.

Писание карандашом было тоже сопряжено с немалыми затруднениями. Очинивали его дежурные, и, значит, нужно было ждать раздачи обеда, чаю либо ужина, чтобы привести писательное орудие в годный вид. И я первым делом, конечно, постарался отыскать в камере какую-нибудь твердую шероховатую поверхность, о которую можно было бы потереть карандаш и тем заострить его хоть немножко.

Чернила выдали нам после специальной просьбы и, вероятно, неоднократно, перед каким-то высоким посетителем. Это было уже более, чем через год. У меня как раз под 19 сентября 1888 г. значится в дневнике:

«Получил чернила! Рад несказанно, точно хлеба дали после двухлетнего поста! Вот что значит родиться и жить чернильной душой!»

VIII.

Из жизни в «Сарае» я помню еще только свидание со священником. В инструкции было сказано, что за хорошее поведение, наряду с чтением книг и чаем, заключенным разрешают «беседы со священником». В последующей инструкции {44} эта духовно-религиозная «льгота» стояла как раз рядом с курением табаку. Видно было по этому, что за мастера писали для нас «законы».

Недели 3 спустя после своего водворения, я пригласил его в надежде встретить живого человека среди этих ходячих чучел.

О дне его прихода Соколов предупредил меня, и я ждал. Дверь отворилась, вошли два жандарма и стали по бокам вплотную. Поздоровавшись со священником, мы сели на кровать, а против нас столбами стали два верных стража. Немного в стороне стоял сам Ирод.

Очевидно, никакая беседа, при такой обстановке, не могла идти сносно, и мы скоро расстались.

Впоследствии я слышал от товарищей, которые здесь в первые годы ходили на исповедь, что она производилась в пустой камере, дверь которой оставалась не притворенной, а глазок дверной — постоянно открытым.

В течение всей жизни там я несколько раз в разное время виделся с этим священником, уже не при такой обстановке, виделся и наедине.

Приходить без зова при мне он не имел права, так же как и доктор. А потому выходило, что льготой, о которой говорилось в инструкции, можно было пользоваться только после специального каждого раз обращения к смотрителю.

И несмотря на то, что этот священник был местный старожил, служил более 40 л., и притом ни по возрасту, ни по характеру не мог возбуждать ни малейшего подозрения, наша местная администрация относилась к его визитам в тюрьму с большим неудовольствием. В се-таки лишний глаз! А они считали себя до такой степени полными хозяевами положения и так привыкли действовать без всякого контроля, что готовы были счесть и священника за согладатая.

И я сам слышал, кажется, в эпоху Плеве, как у нашего вахмистра, весьма похожего на чеховского унтера Пришибеева, сорвалось раз вдогонку ему негодующее: «Шляется тут...» и еще что-то в таком роде.

IX.

Просидел я в «Сарае», кажется, не больше месяца. Туда привели на карцерное положение Грачевского, который здесь же и сжег себя. Но обо всем этом мы узнали уже позже. В тот же день Соколов предупредил меня.

— Тут есть один сумасшедший. Так прошу не отвечать, если он закричит, либо что... (45)

Криков никаких не было, но на другой или третий день, должно быть, во избежание могущих быть осложнений, а вернее, во исполнение предписания из Петербурга — приготовить место для судившихся в это время по процессу Лопатина, Соколов отворил неожиданно дверь перед обедом и сказал:

— Нужно перейти в другое место.

Я взял свое имущество, т. е. шапку, книгу, аспидную доску и халат, и последовал за ним в сопровождении обычных спутников.

Мы пошли тем же путем, каким ходили на прогулку, на новый двор и здесь в новое красное здание, на которое прежде я каждый день любовался, задавая вопрос: не тюрьма ли это?

С первого раза оно поразило меня, так сказать, своим изяществом. Крыльцо посреди здания с двумя чугунными гранеными колоннами и ажурными прикрасами, деревянные двери обычного типа наружных дверей, направо от входа лестница во второй этаж, просторная, с блестящими лакированными перилами, калориферы за дверью с претензией на художественность, светлый коридор и наконец светлая камера, маленькая, как игрушечка, и вся залитая светом.

Это последнее впечатление в сильнейшей степени грешило субъективизмом. Светлой она показалась мне только по сравнению с мрачным склепом, который я только что покинул. Окно, точно такого же размера, как и там, пропускало свет на втрое меньшее пространство, выходило на открытую площадь и было в этот час уже освещено солнцем. Матовые стекла, рассеивающие свет, так и сверкали сплошным сиянием.

Познакомившись со временем основательно с количеством света, проникавшего в нее, я никак не мог понять, почему это первое впечатление было так сильно. Вместе с богатством света, казалось, от этой камеры веяло какой-то жизнерадостностью. Это был тоже № 8, как и тот, в котором я жил в «Сарае».

Севши в эту камеру, я с небольшими перерывами просидел здесь безотлучно 17½ лет и только в ноябре 1904 г. окончательно переселился в верхний этаж.

Лукашевича привели вслед за мной и посадили опять рядом в № 9.

Здание тюрьмы состояло сплошь из железа и камня. И камера, особенно запертая железной дверью, могла быть названа в буквальном смысле каменным мешком, куда не могли проникнуть не только домашние грызуны, но и домашние насекомые, которые составляют необходимую принадлежность подобного рода жилищ. Для того, чтобы добыть их для коллекции, я дол-(46)жен был специально обращаться за ними к унтерам, а за тараканов даже предлагал вознаграждение.

Из дерева были сделаны только рамы да подоконники — горизонтальные на коридоре и наклонные в камерах. Наклон был сделан под острым углом, как и в «Сарае», в тех видах, чтобы заключенный не мог удержаться на подоконнике при своих преступных попытках поглядеть за окно и, может быть, испытывать прочность рам и решеток. Впоследствии, конечно, мы исправили эту архитектурную фантазию и устроили на этом откосе горизонтальные полки для цветочных горшков, отчего судьбы отечественных капли не пострадали.

В камере стол и стул (точнее — сиденье) были железные. Впоследствии я узнал, что во многих других камерах они были деревянные, точно такой же конструкции, как и в «Сарае».

Здание двухэтажное, не менее 12 арш. высоты (до крыши), около 18 арш. ширины и 45 длины. Посредине его проходил широкий сплошной коридор, не разделенный этажами, по обе стороны его расположены камеры, правильно одна над другой. На верхний этаж вела широкая отлогая лестница со ступеньками из плитняка, а для входа в камеры этого этажа служили только узкие железные галереи, тя-

нувшиеся в виде балконов по обе стороны коридора, как раз на той высоте, где должен быть помост, или пол, разделявший оба этажа. Взамен этого помоста от пола одной галереи до пола другой была натянута веревочная сетка, тянувшаяся сплошь во весь коридор и предохранявшая идущих по галерее от соблазна броситься вниз головой. Благодаря такому устройству, дежурный, стоявший внизу коридора, видел разом все двери нижнего и верхнего этажа, равно как и всякого идущего где бы то ни было по коридору.

Но излишество нашего надзора не считалось со всеми этими удобствами, которые для всех тюрем новейшей конструкции придуманы были какой-то криминальной головой (разумеется, на тлетворном Западе!), в видах сокращения стражи. Напротив, у нас такого сокращения совсем не полагалось, и вначале стояло 2 унтера на верхней галерее и 2 внизу, не считая находившихся в запасе в дежурной комнате. Сверх того, когда приходили выпускать на прогулку, Соколов являлся к двери с двумя новыми конвойными унтерами, и это сложное шествие трогалось тогда на глазах четырех коридорных дежурных.

Меня вначале очень забавляла эта «гипертрофия» надзора, — маленький сколок с общей гипертрофии русской власти. Забавлял и тот явный страх, которым были продикированы подробности, охраны, направленные против безоружных, запер-(47)тых, изолированных и обессиленных голодом врагов. В самом деле, мы сидели на острове, окруженном широким водным пространством, где течение было настолько быстрое, что зимой даже не покрывалось льдом. Остров окружен громадной крепостной стеной, с единственным входом, который был постоянно заперт и охраняем. Внутри крепости мы были отгорожены новой стеной, вход в которую был также заперт (*второй замок*) и охраняем. Наружная дверь тюрьмы также запиралась (*третий замок*). За нею следовали решетчатые двери, ведущие на наш коридор,

Файл shlis48.jpg

Верхняя часть коридора новой тюрьмы (половина).

кор, которые запирались на ночь (четвертый замок). Наконец дверь камеры была постоянно заперта (пятый замок), причем она запиралась двумя ключами, на один или на два оборота, и ключ, запиравший на два оборота, находился всегда в квартире смотрителя, даже и потом, в эпоху либерализма.

Побег был немислим при таких условиях, вооруженное сопротивление, пока не было инструментов, тем более. Безоружные же не могли быть страшны уже по тому одному, что в двух шагах от тюрьмы стояла кордегардия, откуда по тревож-(48)ному звонку моментально могли явиться 12 солдат в полном вооружении.

«Ну, — думалось при виде такой обстановки, — и страху же нагнала на них эта ничтожная горсточка людей, сильных только решимостью да верностью своим принципам!»

План верхнего этажа я здесь прилагаю.

Кроме главной большой лестницы, для сообщения между этажами служила железная винтовая, помещавшаяся в южном конце здания. Всех камер в этом здании было 40. Внутреннее убранство было совершенно похоже на то, как в «Сарае», только вместо круглой печи был маленький калорифер общепотребительного типа в зданиях с водяным нагреванием.

Внутренний вид камеры я не могу описать лучше, как приведя отрывок собственного стихотворения того времени — мой первый опыт поэтического творчества и, как подобает ученику классической школы, — в гекзаметрах:

«Клеток каких-то десятка четыре наделали прочных,
Точно расчет был на то, что немало людей им придется
Здесь продержат до тех пор, как восстанут народы.
Если бы самые боги, с престолов Олимпа сошедши,
Очи свои искрометные в этот чертог устремили,
Диву бы дались они, созерцая премудрость строенья:
Каждый покой пополам разделяется синей каймою,
Черному низу границу давая от белого верху, —
Так сохранилась темница, иль яма, еще и поныне.
В мрак погруженный по шею и ходит здесь узник,
Пропасть бездонную с вечной могилой всегда вспоминая.
Сверху же, точно совсем невзначай, отбелили изрядно,
Тем обозначив невинность сердечную здесь заключенных.
Надвое также и жгучие помыслы голов у режут:
Долу опущенный взор на страданье отчизны наводит,
Участь подобную также мучителям злым прорекая:
Бездна разверзлась и жадно готовится темное царство
В недра свои поглотить...

Кверху глаза обращая, затворник уж мыслит иное:
Свет и отрада, приволье свободы и братские чувства
Рано или поздно проникнут повсюду и к нам в эти стены»... и проч.

В самом деле, очевидно, не без некоторой дозы игривости чья-то фантазия разделала внутренность нашей камеры, выкрасивши сажей на масле не только пол, но и стены до высоты 2 арш. При полном отсутствии мебели, особенно если кровать заперта на крюк, камера превращалась в настоящий катафалк, как их в мое время делали, а белый сводчатый потолок должен был соответствовать серебристой парче, служившей украшением его сверху. Если же припомнить при этом, что некоторые знатные посетители, облеченные властью вязать и решить, кратко и выразительно заявляли, указуя перстом в черный {49} пол — «Здесь... могила!» — то неудивительно, что отделка этого жилища была задумана в полном соответствии с высокими намерениями, одушевлявшими тогда его строителей.

И если этот катафалк при первом впечатлении казался мне игрушкой, веявшей жизнерадостностью, то можно себе представить, чем веяло от камеры «Сарая», из которого я был изведен, к счастью, очень скоро.

Порядок жизни здесь был точно такой же, как и в той тюрьме. Время выдачи утреннего и вечернего чая затем в течение года колебалось, а обед и ужин неизменно всю жизнь подавались в одно и то же время. Раздача же ламп совершалась в зависимости от астрономических перемен года, пока эту операцию не прекратили совсем с устройством электрического освещения, кажется, в 1894 г.

Вводя меня в новую камеру, Соколов предупредил, что «здесь, вероятно, будут стучать, так прошу не отвечать». Но хотя стуков никаких я еще не слышал, однако сразу же почувствовал, что я попал в общежитие. Здание, построенное на цементе, твердеющем до прочности кирпича, представляло собою сплошной камень, прекрасно передающий звуки. Большой коридор служил резонатором этих звуков, и по количеству дверей или форточек, отворявшихся на прогулку и для раздачи обеда, скоро можно было определить число своих товарищей по несчастью.

Правда, случилось это не сразу. Вначале, напр., я слышал шаги у себя над головой, но не мог еще решить, было ли это прямо надо мной, справа, или слева. Впоследствии же мои уши приобрели такую же утонченность, как осязание у слепых, и я, напр., прислушавшись, мог определить безошибочно, сидит ли в данную минуту жившая надо мной Вера Николаевна или лежит. Сидящий человек, как бы неподвижен он, ни был, непременно сделает изредка движение ногой, шорох которой по полу я уже легко улавливаю. Если же никакие звуки не доходили до меня, то я решал, что В. Н. либо лежит, либо ее нет дома.

Х.

Вскоре после моего перевода, начальник управления, которого кратко, но неправильно, мы звали комендантом, совершал свой обычный обход заключенных, повторявшийся тогда аккуратно раз в месяц.

Дверь отворялась, обыкновенно после обеда, стремительно врывались в нее 2 унтера, становились по бокам почти плечом к плечу, затем глаз усматривал в дверях мундирные фигуры, {50} входившие по рангу: смотритель (Соколов), доктор и полковник (тогда Покрошинский). Последний несколько раз при своих визитах задавал мне неизменно один и тот же ряд вопросов. Ответы всегда были те же, и потому диалог этот врезался в моей памяти.

— Прогулка совершается?

— Совершается.

— *Пишете* достаточно?

— Достаточно.

— Заключенный не болен?

— Не болен.

Следовало некоторое движение, отдаленно напоминавшее поклон, и посетители удалялись. В первый же или второй его визит я осведомился, не могу ли я написать родным известие о себе. Полковник отвечал:

— Никак нельзя, — но, видя, должно быть, мое огорчение, прибавил:

— Быть может, можно будет... со временем... когда-нибудь...

Говорилось это, однако, тоном, обозначающим полную безнадежность.

Недавно только мне пришлось удостовериться, сколько горьких и бесплодных слез было пролито моими родителями единственно оттого, что они не имели никакой вести обо мне и считали меня уже погибшим.

Во всех наших политических процессах самое жестокое было то, что наряду с более или менее виновными карались и безусловно, невинные. Делалось это, конечно, сознательно, с чисто азиатским расчетом поражать ужасом воображение обывателей и внедрять в сердца их страх и трепет по отношению к властям.

Такое же точно ограждение себя посредством живой ширмы из 2 унтеров практиковалось неизменно при посещении чиновных персон — все время нашего заключения. И чем выше был ранг посетителя, тем стремительнее вторгались унтера и тем нагляднее выступало на их лицах, что они «рады стараться». У меня, кажется, только один Зволянский, посетивший нас еще в звании вице-директора департамента полиции, был без таких предосторожностей и притом подходил прямо ко мне, не останавливаясь у порога на приличной дистанции, как это делали другие.

Местная администрация, хорошо присмотревшись к нам, со временем вывела из употребления эти предосторожности, как совершенно ненужные и ничему не помогавшие. Но высшее начальство, которым они и были изобретены, никогда не решалось {51} заглядывать к нам без таких «предварительных гарантий». И они вновь выдвигались на сцену из старого архива всякий раз, как приезжал кто-нибудь из Петербурга, вплоть до последнего визита, который мы видели там (фон-Валь при Плеве). Когда у нас были уже мастерские, то о визитах высших властей нас предупреждали, и тогда в часы работ не пускали в рабочие камеры, а оставляли в спальне безоружными. Только генерал Петров, многократно посещавший нас и в качестве начальника штаба и в качестве директора, был смелее и зашел ко мне как-то прямо в столярную, разумеется, с многочисленной свитой и двумя охранителями.

На эту тему я имел года через два откровенный разговор с младшим помощником Степановым, которого мы звали Классиком за то, что, по его словам, он учился когда-то в гимназии. Он долго исправлял должность смотрителя после ухода Соколова и, по мягкости натуры, а главное, по приверженности к Бахусу, позволял себе иногда нарушать «порядок», который Соколов соблюдал, как святыню. Он заходил, будучи в подпитии, к нам в камеры для частных разговоров и между прочим, жалуясь на свою судьбу, кажется, С. Иванову, декламировал:

Суждены нам благие порывы,
А свершить нам ничто не дано...

Пришел он как-то и ко мне, выгнал дежурных за дверь, сел на кровать, закурил, предложил и мне и начал беседу на тему, что ему жаль меня и что он очень хорошо знает меня по письмам, которые здесь получают на мое имя — и, разумеется, мне не передаются. Тут-то я и сказал ему прямо, что он все-таки боится меня. Он, разумеется, энергично запротестовал, а когда я прямо спросил, почему же он не смеет заходить ко мне без свиты, он не ответил ничего. Вероятно, он не хотел признаться, что это защищает им их инструктория.

XI

Кажется, недели через 3 после того, как я был переведен в новую тюрьму, меня пустили в огород. Удивительно унылое впечатление производили наши «пески», особенно среди лета, когда зелень всюду энергично вылезала из земли, даже среди булыжника новой мостовой, которая окружала нашу тюрьму поясом аршина в два шириной. Здесь ее ежегодно искореняли тщательно и неумолимо вплоть до последнего лета.

Но так же тщательно искоренялась тогда зелень и на песчаном полу наших стоил, чтобы она не мешала жандармскому оку следить за нашими преступными ухищрениями, так как {52} мы упорно и неослабно придумывали, как бы своему другу, соседу или товарищу оставить какую-нибудь конспиративную весточку о себе.

Может быть, на городского жителя эта беспощадная война с растительностью не производила такого удручающего впечатления. Но на меня, проводившего всякое лето в деревне, это намеренное превращение места твоего отдохновения в унылую пустыню действовало особенно угнетающе. Предусмотрено было, кажется, все, чтобы лишить тебя самого невинного и самого естественного удовольствия, щедро и бесплатно расточаемого самой природой.

Но скоро мне пришлось убедиться, что я был не прав в столь решительных суждениях. Однажды, отправившись на прогулку, я только что направил свои шаги к привычным стойлам, как Соколов остановил меня и указал идти направо, к двери нового забора. Я вошел в нее и был прямо поражен.

Это был огород. Клетка была немного больше клеток с «песками», только в виде продолговатого четырехугольника, и с заборами немного ниже тех. По размерам этот огород был также похож на стойло, но так как он был весь наполнен зеленью, то ласкал взоры своим видом, точно я был путник, попавший в оазис после томительной Сахары. Зелень была огородная, привычная и совсем не претендующая

на художественность, но известно ведь, что из голодавшего и хлеб может показаться слаще меда. А если прибавить к этому, что у самого забора было посажено несколько кустиков флокса, резеды и настурции, то всякий поймет прекрасно, что восторг мой был полный.

Очевидно, огород был наградой за поведение или льготой, которую начальство могло дать, могло и отнять. А резкий контраст веселого зеленого царства и печальной пустыни песков должен был только усугубить впечатление кары или благодеяния.

Но зачем давали цветы в самые тяжкие времена нашей жизни, я и до сих пор не в силах понять. Уж не были ли это дар самоудовлетворения со стороны мучителя на могилу замученной им жертвы? Или, с обычною бюрократическою изворотливостью, вносилась эта статья в наш бюджет на всякий случай, чтобы пустить пыль в глаза кому следует и когда это удобно? Я помню то удивление, которое выразил министр И. Н. Дурново, при своем визите в 1889 году, увидавши в камере в кружке с водой несколько цветков флокса.

— И цветочки?! — произнес он, наполовину вопросительно, наполовину недоуменно.

И действительно, на пустынном фоне мрачной камеры вид свежих живых цветов особенно резко бросался в глаза. {53}

Да, да! — подхватил тут выскочивший из толпы свиты Петр Ник. Дурново, — у них и цветы есть! — как будто все остальное, кроме цветов, у нас также имелося.

Сказано было это тоном знатока всех мелочей нашей жизни, так как, может быть, сам он их и предусматривал.

ХП.

Недель через шесть строгого одиночного заключения (не считая двух месяцев до суда) я получил свидание с Лукашевичем. Оно допускалось на прогулке, продолжавшейся, как я сказал, $1\frac{3}{4}$ часа, но только три раза в неделю. При первом же визите полковника я просил его разрешить нам свидание каждый день — и получил отказ, выраженный в несколько игривой форме. Он советовал сберечь, а не расточать «умственный капитал» (при этом наглядный жест около лба!), так как он еще понадобится в будущем.

Совет этот, по крайней мере, для меня и в то время был более чем неуместен, потому что эти свидания вели не к трате, а именно к приобретению умственного капитала.

Лукашевич, и по своим дарованиям, и по развитию, и по богатству знаний особенно в неведомой для меня области естествознания, стоял неизмеримо выше меня. И общение с ним доставляло мне не только истинное духовное наслаждение, но и неизмеримую пользу. Часто он сообщал мне обширные сведения из области новых для меня наук, к числу которых относилась тогда даже и политическая экономия. Часто мы просто спорили с ним об общих вопросах мировоззрения, причем я, знакомый в главных чертах со всеми философскими точками зрения, сам придерживался еще спиритуализма и, шаг за шагом, упорно отстаивал позиции его от нападков своего постоянного оппонента.

Затем мы не раз читывали, конечно, дома, последовательно одни и те же книги, обсуждали при свидании прочитанное и разбирали автора по косточкам, с такой тщательностью, с какой можно делать это только при полном досуге и при отсутствии всего, что может отвлекать внимание от умственных интересов.

А книги, богатые содержанием, мы тогда не просто читали, а читали непременно дважды, с выписками и с обязательными перерывами для размышлений. Думается, что от такого чтения немногих бывших тогда в нашем распоряжении книг мы выигрывали несравненно больше, чем потом от многократного чтения, которому можно было предаваться при сравнительном обилии книг, когда хотелось не упустить из виду ни одной из них, к какой бы области ведения она ни относилась. {54}

Так, помню, как мы «разнесли» тогда на шумевший в свое время трактат *Васильчикова* «О землевладении», где автор, стоя на почве самобытности, наговорил о России много неосновательного, вроде того, что социальный вопрос есть болезнь только Западной Европы, а в России он, благодаря наделению крестьян землею, в принципе уже разрешен. Тогда ведь в моде было утверждать, что капитализм в России не имеет почвы.

Теперь, по выпискам, которые сохранились у меня полностью в тетрадях, я мог бы точно воспроизвести, что служило в первые годы предметом моего интереса и что, в частности, служило предметом для обмена мыслей между мною и Лукашевичем. Пожалуй, я перечислю авторов, которые тогда мною были читаны.

Кроме *Васильчикова*, *Соловьева*, *Костомарова* и *Шлоссера*, *Андреевский*, «Государственное право»; *Мьмм*, «Положение о земских учреждениях и Городовое Положение»; *Лухта*, «Римское граждан-

ское право»; *Таганцев*, «Уголовное право»; *Коркунов*, «Теория права»; *Иеринг*, «Цель в праве»; *Фостер*, «Физиология человека»; *Тьер*, «О собственности»; *Лохвицкий*, «Обзор современных конституций»; *Гельвальд*, «Земля и народы» и др.

До какой степени сильна в человеке потребность в общении с себе подобным, это понять и, главное, почувствовать это как следует может только человек, лишенный этого общения. Ведь мы и свое собственное здоровье начинаем ценить, как великое благо, только после того, как утратим его. Особенно же сильно сказывалась эта потребность на первых порах, пока постоянное одиночество еще не наложило на тебя печать нелюдимости и когда во всех фибрах твоего существа еще отдавались отзвуки жизни и общественных отношений. Они манили к себе и раздражали с такою же чисто физической силой, с какою желудок раздражается от продолжительной пустоты. Поэтому-то и наслаждение, получавшееся от свидания, можно уподобить насыщению. Насыщение это было далеко не полным. Чаще всего оно сопровождалось чувством неудовлетворенности, потому что обставлено было всякими ограничениями, да потому еще, что общение допускалось только с одним и строжайше запрещалось с другими. Это только раздражало и служило постоянным стимулом к тому, чтобы колебать и всячески разрушать те преграды, которые воздвигла администрация против этого законнейшего из всех человеческих стремлений.

Ниже будет указано, как мы обходили или разрушали эти преграды.

Что же касается чисто психологической стороны дела, то я не думаю, чтобы я, переживший на себе эти муки страстных (55) стремлений к себе подобному, мог прибавить своим описанием хоть что-нибудь к весьма обширной литературе против одиночных тюрем вообще. Может быть, эта литература и повлияла уже в последнее время на наших юристов, которые решили ограничить строгое одиночество всего несколькими месяцами.

ХIII.

Мое описание, я чувствую, скользит по поверхности и касается только внешности. Читатель, жаждущий драматических нот, будет очень разочарован. Откровенно говоря, я и не берусь воссоздать теперь то настроение и самочувствие, которое я переживал в первые месяцы заточения. Попытка воспроизвести их обязательно грешила бы против истины.

Помню, что внутри все ныло, как это бывает, напр., у того, кто перенес утрату самого дорогого для него и самого любимого человека. Помню также, как эта ноющая боль медленно и постепенно ослабевала, точно проходила застарелая болезнь. Наверное, подобное же чувство переживалось и большинством других товарищей, судя по тем ноткам грусти, тоски и горечи, которые преобладали в наших поэтических опытах. Мы сами даже не замечали этих нот, — до такой степени они были нашей нормальной стихией.

В значительной степени вызывались они не столько самым фактом лишения свободы и всех прочих житейских радостей, сколько сознанием бесплодности принесенных жертв, полного торжества враждебных нам сил и вытекающей отсюда безнадежности нашего положения. Головное утешение было, конечно, у каждого. «Идея на штыки не уловляется»; «прогресс не может быть задавлен» и т. д. Но утешение это было чисто отвлеченное.

Мы были не просто побежденные, которым свойственны и напевы, подобные еврейскому: «На реках вавилонских». Мы были последние из побежденных и на воле оставили полное затишье, которое при самых оптимистических расчетах не давало надежды на близость какого-нибудь переворота.

Когда в первый же год нужно было определить день Пасхи и я откопал где-то в церковной книге Пасхалию с нужными сведениями, я выписал себе в тетрадь дни Пасхи на все годы по 1901 г. На этом году я остановился, говоря себе:

«Дальше жить здесь я не намерен. Двадцатый век не может вынести позора бесправия и так ли, этак ли, продиктует родине свободу».

Надежда, очевидно, была. Но она растягивалась на весьма продолжительный период, в течение которого нужно было (56) переносить все эти лишения. А переносить их для человека, уже измученного лишениями, казалось совершенно не под силу. И когда, напр., еще в 1889 г. я стал утешать М. П. Шебалина, смотревшего тогда на будущее очень меланхолически, что ему остается жить здесь всего 7 лет, точно определенных судебным приговором, он с глубоким вздохом ответил мне:

— Семь лет, семь лет! Неужели вы думаете, что здесь можно выжить столько лет?!

Наконец, эта надежда все-таки не носила характера такой прочной уверенности, с какою явились к нам недавно представители нового движения, оставившие его не при последнем издыхании, а в момент наивысшего подъема. Вот почему Г. А. Гершуни, не переживший нашего настроения, как только познакомился с нашей музой, обозвал всех наших поэтов нытиками. Правильно это или нет, но наши

стихотворения остаются все-таки единственно точными записями, которые сохранились от того времени и которые набрасывались большей частью в минуты наиболее сильного наплыва угнетающих нас чувствований.

Теперь невозможно воспроизводить те настроения. И потому я ограничусь только перечислением того, что можно назвать типичными чертами всякого одиночного режима, которые неоднократно описывались и в русской и в европейской литературе, когда на Западе еще существовали порядки, подобные нашим.

Таковы: искание каких бы то ни было развлечений, привязанность ко всякому живому существу, хотя бы пауку; изобретательность в отыскивании путей к общению с товарищами; горячая любовь к ближайшему соседу-собеседнику, бывшему единственной отрадой и утешением в тяжкие минуты; боль и мука за других, страдающих и умирающих на твоих глазах; душевная пытка от сознания невозможности облегчить их последние минуты; наконец, — и это самое главное, — жизнь прошлым и воспоминания о пережитом. Оно оживало иногда с яркостью галлюцинаций. Далее сожаление о невозвратном и особенно о тех ошибках, которые когда-нибудь были сделаны и поправить которые уже теперь невозможно. И, как венец всего, — мысль о самоубийстве, которое казалось единственным выходом из безвыходного положения.

Подобно тому, как голодающий живет на счет веществ и запасов, которые были отложены ранее в ткани его тела, так и голодающий мозг, т. е. не получающий восприятий извне, точно жвачку, пережевывает все то, что когда-нибудь было воспринято им. Еще Шопенгауэр сказал, что сила воображения {57} тем деятельнее, чем меньше путем чувств привносится внешнего содержания.

И, Боже мой, чего-чего только голодающий мозг ни припоминает! Ничтожные встречи и разговоры, пейзажи, в которых нет ничего занимательного, сцены и столкновения, на которых никогда не обращал внимания, — все это настойчиво вылезает из каких-то тайников и выплывает на поверхность сознания. Гонимые этих гостей насильно, как ненужных и нежелательных, а они упорно стоят перед глазами, или уходят только затем, чтобы уступить свое место другим, столь же назойливым и столь же мало желательным. Читаешь книгу, но мысль вяло работает, а между строк, — точно на книгу положил кто рисунок, — выплывает какая-нибудь поляна, берег реки, опушка леса, луг или ручей, которые как-то раз в жизни видел и которые сейчас же забыл, потому что впечатление было слишком мимолетно. Эти образы, может быть, никогда бы не явились в сознании, если бы оно не было так опустошено, как у нас.

Эти эксцессы памяти становились особенно яркими, неотвратимыми у тех товарищей, у кого такой психический процесс переходил в настоящую душевную болезнь.

На границе этой болезни стояли все мы, одни ближе к ней, другие дальше. Недаром попечительное начальство не разрешало нам книг по психиатрии! И опытный психолог без всякого труда сумеет построить а priori процесс душевного разложения, выходя из тех ненормальных условий, в которые мы были поставлены. Лично я, может быть, более других был застрахован от подобных заболеваний, как потому, что от природы обладаю бедной фантазией, так и потому, что почти с первого же дня получил книги для чтения, чего моим товарищам приходилось долго ждать. Они хоть слабо, но постоянно держали мои мысли в некоторой узде и не допускали до той грани, за которой я терял власть над ними. {58}

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Начало общения. Развитие сельскохозяйственной и промышленной деятельности.

«Все течет, все изменяется».

Герасим.

I.

Наслаждаться огородом мне приходилось большей частью одному. Лукашевича водили в тот же самый огород, но, по каким-то соображениям, не одновременно со мной. Точно они считали уж слишком большим и потому недопустимым благом соединять вместе удовольствие свидания с удовольствием быть среди зелени. А может быть, здесь просто сказывались те практические затруднения, которые создала для себя администрация, поставивши своей задачей пускать 28 человек в 12 клеток и соблюдать при этом строжайшие правила изоляции.

А сделать это было весьма не легко. Нужно было принять во внимание дарованные льготы каждого из 28 человек и осуществить их, не нарушая ничьих других. Большинство гуляло только одну сме-

ну (от 8 до 10 или от 10 до 12 ч.), либо первую, либо вторую, а некоторые по две, так как слабым и больным, в виде особой милости, врач мог назначить «двойную» прогулку. Затем, многие гуляли попарно, либо на песках, либо на огородах.

Чтобы привести на вторую смену кого-либо из сидящих дома, Соколов должен был сначала освободить место, т. е. увести в камеру одного или двоих (конечно, по одиночке, хотя бы гуляли они вместе) либо из огорода, либо из клетки, смотря по тому, куда предлежит отправить того, кого он выведет из дому. Сам Соколов, с присущим ему терпением и усердием, управлялся без затруднений с этой задачей, ежедневно менявшейся, потому что, кто сегодня гулял в паре, завтра будет один, и обратно. И столкновений «поездов», насколько помню, при нем не происходило. После же него, особенно когда «развод с церемонией» (59) перешел в руки вахмистра и когда почти все стали гулять в паре, дело пошло не так гладко.

Помню, как от его недосмотра со мной произошло однажды «событие», должно быть, уж не первое в нашей тюрьме. Меня пустили на 2-ю смену в 4-ю клетку, в уверенности, что она пустая, так как одного только что увели оттуда. Между тем там гуляли двое: Шебалин и Похитонов, и про последнего забыли. Конечно, мы очень обрадовались друг другу, отрекомендовались, обнялись, и не успели обменяться несколькими словами, как ошибка была замечена и нас разъединили.

Года через четыре со мной повторилось такое же «событие», но еще более важное, причем подобная же встреча произошла с Верой Николаевной, а для жандармов это казалось тогда равносильным скандалу.

О всяком таком «событии» у них делались доклады по начальству и, чего доброго, писались какие-нибудь бумаги. До самых последних дней вахмистр вел какие-то записи в особой конторской книге, — должно быть, это был наш «кондуит». И если он сохранится, то будущий историк найдет в нем неисчерпаемый родник бюрократической мелочности и глупости.

По выходе на свободу, мне часто приходилось слышать самые удивительные и неожиданные вопросы о нашей жизни. Между прочим, один благонамеренный гражданин спрашивал: «А правда ли, что Александр III приказал вам вести дневники и самолично их перечитывал?» Не относился ли этот наивный вопрос, заключавший в себе какой-то отголосок из департаментских сфер, к тому кондуиту, который так заботливо вел наш вахмистр?

Эти затруднения при размещении нас на дворе долгое время были, может быть, одним из главных препятствий менять чаще товарищей для свиданий. А между тем для лиц, сидевших уже давно, свежесть и разнообразие впечатлений, даваемых знакомством с новым человеком, были единственным жизненным явлением, которое могло нарушить монотонное и унылое прозябание.

Я помню, как в самый, можно сказать, медовый месяц наших свиданий с Лукашевичем, мы ухаживали, что наши соседи по клетке, кажется, Шебалин и Похитонов, проводили свои часы за чтением книги. В нашей наивности нам казалось тогда чистейшим святотатством посвящать чтению, доступному и в камере, немногие часы, единственно доступные для разговора. Мы еще не подозревали тогда, что со временем все к тому придем. Несмотря на строгое изолирование, душевное настроение друг друга мы превосходно угадывали по стуку. И если замечали, что с кем-нибудь начинались приступы меланхолии, то спешили (60) устроить ему новую пару для свиданий, и таким образом облегчали здорового товарища от тяжелой необходимости быть в постоянном и исключительном общении с мрачно настроенным человеком.

Для первого, кажется, Щедрина, мы добились разрешения, в виду его явной ненормальности, менять ему товарища как можно чаще. Сама администрация, в интересы коей не входило превратить поскорее наше Эльдorado в сумасшедший дом, сравнительно легко уступала здесь нашим притязаниям.

II.

Не так легко она уступала в наших притязаниях удлинить прогулку до двух смен для всех без различия. А каким это казалось тогда наслаждением, особенно в летнее время!

Однажды Классик, в награду за возвращение иголки (об этом после), пускал нас с Лукашевичем ежедневно на две смены в течение целой недели. Я и теперь отлично помню, какое удовольствие доставляла тогда нам обоим эта прогулка в течение 4 часов подряд. Она не только не утомляла и не надоедала, но влекла к себе все больше и больше, с какой-то особой непреодолимой силой. Казалось, гулял бы таким образом целый день и никогда бы не насытился.

Радость, доставляемая свежим воздухом и солнечными лучами, обыкновенно не ощущается, или ощущается в весьма слабой степени. И едва ли кто, не испытавши ее в условиях, подобных нашим, может хорошо понять те приятные волнения, которые возникают при виде таких ординарных вещей, как

облако или голубое небо. Конечно, это — в минуты большей или меньшей уравновешенности. Когда «тоска по родине» не заставляет бежать от этих раздражающих ощущений.

Но гулять всем по 2 смены на первых порах было невозможно уж потому, что число жителей тогда было более, чем вдвое против назначенных для них прогулочных территорий. А когда умерли Арончик, Богданович, Грачевский, Варынский и были построены два новых огорода (7-й и 8-й), решение вопроса об удлинении прогулки облегчилось.

Облегчить же «спаривание», и вообще всю эту сложную махинацию распределения людей по клеткам, помог жандармам Оржих уже тогда, когда были устроены наши мастерские и нам, в интересах труда, требовались более частые свидания друг с другом. Он начал сам составлять «наряд на прогулку», как выражались унтера, и предложил им подавать его ежедневно. В «наряде» этом указывалось, кто, где, в какую смену (61) и с кем будет гулять. Для смотрителя, которым тогда был Федоров, носивший весьма характерное для него прозвище Фоклы, это было очень соблазнительно, и ему оставалось только использовать даровую помощь и исполнять ежедневно готовое расписание.

В начале этот наряд не пугал новшествами, так как повторял изо дня в день только то, что уже установилось обычаем. А потом всякая перемена в свиданиях стала осуществляться, так сказать, явочным порядком. Вместо того, чтобы звать смотрителя и торговаться с ним насчет нового товарища, стоило прямо внести соответственное изменение «в наряд», и вахмистр, разводивший на прогулку, механически осуществлял его.

Это был первый зародыш самоуправления, чреватый последствиями.

Чтоб яснее сделать для непосвященных эту механику, я приведу по памяти один из таких «нарядов», которых появилось в свет, должно быть, больше 1000 изданий.

№№ клеток.	1-я смена.	2-я смена.	№№ огоро- дов	1-я смена.	2-я смена.
1	11	25	II	13/14	13/23
2	27/18	20/22	III	26/25	26/4
3	30	30	IV	31/16	31/10
4	23/1	15	V	9/29	29/32
5	12	11/12	VI	20/17	18/9
6	4/15	1/28	VII	10/22	2/21
I	21/28	14/27	VIII	2/5	5/17

Здесь лица обозначены номерами, присвоенными им, так как, по правилам, жандармы имели дело только с номерами, и не должны были знать наших фамилий.

Чтобы сделать удобочитаемой эту таблицу, я повторю ее, заменивши номера соответствующими им фамилиями. (62)

Прибавлю еще, что это расписание относится к эпохе «открытых окон» и что пунктирные линии обозначают, что соседние клетки не только смежны, но и имеют окна как раз там, где пунктир.

Отсюда легко видеть, кто и с кем мог видаться по данному наряду, а также, кто гулял только одну смену.

№№ клеток.	1-я смена.	2-я смена.	№№ огоро- дов	1-я смена.	2-я смена.
1	Вера Никол.	Новор.	II	В. Иванов. Ашенбрeнер.	В. Иванов. Янович.
2	Лопатин. Шебалин.	Панкратов. Манучаров.	III	Лукашевич. Новор.	Лукашевич. Морозов.
3	Конашевич.		IV	Антонов. Суровцев.	Антонов. Юрковский.
4	Янович. Тригони.	Похитонов.	V	Поливанов. Стародворский.	Стародворский. Оржих.
5	Людмила Ал.	Людмила Ал. Вера Никол.	VI	Панкратов. Мартынов.	Шебалин. Поливанов.
6	Морозов. Похитонов.	Тригони. С. Иванов.	VII	Юрковский. Манучаров.	Фроленко. Лаговский.
I	Лаговский. С. Иванов.	Ашенбрeннер. Лопатин.	VIII	Фроленко. Попов.	Попов. Мартынов.

Насколько неблагоприятна такая задача ежедневно комбинировать вновь пары и группы согласно заявленным желаниям, понять не трудно, особенно, если было лето и каждого в интересах земледельческих нужно было поместить в его собственный огород хоть на одну смену, хотя бы его соседи и замыслили какую-нибудь другую сложную комбинацию, связанную с этим огородом. Наконец, нужно помнить, что вся процедура сношений и предварительных соглашений совершается посредством стуков, и что часто заинтересованные лица сидят совершенно в противоположных углах коридора.

Понятно поэтому, что понадобилась особая должность для осуществления таких сложных и необычайных функций. К такой щекотливой должности как нельзя лучше подходил наш приснопамятный променадмейстер И. Л. Манучаров, который один только и мог осуществлять ее без раздражений, благодаря своей удивительной незлобivosti, услужливости и всегдашней (63) внимательности, почему и пришлось ему не один год нести на себе это нелегкое бремя кажется, вплоть до своего отъезда. Вся эта египетская работа отнимала у одного человека по вечерам все его время, но зато всем остальным гарантировала ежедневно часа 4 общественной или как бы общественной жизни. Эта работа держалась целые годы благодаря одному строгому условию: каждый обязан был пробыть в течение целой смены там, куда он записан.

Едва это обязательство было сброшено и добыто право передвижения, хоть и крайне ограниченного, я мог спокойно идти гулять без всяких предварительных «нарядов». Выходя на двор, я просто спрашивал дежурного, где гуляет такой-то, шел к нему и оставался там столько времени, сколько хотел, от него к другому, к третьему, и т. д. В течение 4 часов я мог обойти хоть всех поголовно, как это и делал потом староста, голосуя какой-нибудь вопрос или предлагая свежепривозные фрукты и снeди.

Если товарищ, которого мне было нужно, был занят с кем-нибудь, мы тут же у открытой двери условливались, когда он будет свободен и где лучше свидеться. А то просто я узнавал у дежурного, где есть свободное место, шел туда и просил его привести ко мне такого-то, а рядом, если нужно, таких-то.

Правда, много нужно было расклевать горя, чтоб добиться таких простых вещей, разрушить прежние порядки до основания и таким образом низвести до minimum'a губительное влияние клеток и перeгородок.

III.

Первое лето мы с Лукашевичем провели в готовом огороде, который был засеян не нами, и были в нем только простыми зрителями.

На следующую весну, как только оттаяла почва, нам предложили занять III огород, не весь, конечно, а только половину. Другая половина предназначалась другой паре. Вся же поверхность этого огорода, с дорожками и пр., заключала в себе, кажется, около 140 кв. арш. Мы расположились в нем, затем через 2 года, когда увеличилась огородная площадь, заняли его весь и просидели в нем почти 17 лет. Только в последние годы я эмигрировал в V огород, а в III-м оставил за собой только небольшой участок.

Почти все остальные товарищи многократно меняли места и, переходя из огорода в огород, переносили с собой и свои многолетние насаждения. Благодаря такому хозяйничанью неко-(64)торые кустарники стали у нас настоящим движимым имуществом и так же легко меняли место своего жительства, как и их владельцы. В 1904 году я, напр., водворил на 5 место тот же самый куст крупного крыжовника, который я получил в наследство после Щедрина, увезенного в лечебницу в 1896 году.

В следствие этого физиономия того или другого огорода менялась многократно, в зависимости от вкусов владельцев, которые у одного и того же лица менялись тоже часто. Нынешний огород превращался на будущий год в земляничную плантацию, на следующий — в табачную, далее весь он засаживался цветами или пускался под малину. То появлялся в нем парник, то насыпные оригинальные клумбы, обделанные камнем, досками, кольщиками или дерном. То все это исчезало точно по магию волшебника, и глаз случайного посетителя, давно там не бывавшего, находил опять гладкую равнину и какую-нибудь прозаическую культуру, а то и просто лужайку, разведенную человеком, который стосковался по родным полям.

Прекрасно помню я наш первый огородный дебют.

Прежде всего при работе оказалось, что я без очков даже копать землю не могу, и мне впервые удалось получить от доктора какой-то старенький и плохенький экземпляр очков. Затем лопату, конечно, дали деревянную, ту самую, которая служила для песочных пересыпаний и которой пользовался зимою для разгребания снега. Но следов железа на ней не было, и потому «земледельческим орудием» она служить никоим образом не могла.

Таким образом сразу мы отодвинуты были дальше каменного века — к тому времени, когда первобытный человек ковырял землю первым попавшимся суком дерева. Уж коли начинать культуру, так начинать сначала!

За этим последовало не менее оригинальное продолжение, зависевшее, правда, исключительно от нас самих. Мы с Лукашевичем, как истые интеллигенты, неопытные в труде, предварительно взвешивали и обсуждали каждый шаг до мелочей. И вот, по зрелом размышлении, мы определили примерный, и даже максимальный, диаметр брюквы. И сообразивши, что ничто не мешает корням сидеть вплотную друг к другу, мы по этому расчету наметили гнезда, где посадить рассаду. Конечно, мы посадили ее так часто, что ничего не получили. Думая все время о корнях брюквы, мы забыли о ее листьях, которые требуют для своего развития надлежащего простора и без развития которых не растет и корень.

Другие, не менее нас опытные огородники сажали, напр., лук репчатый не иначе, как «вверх тормашками», и потом крайне (65) удивлялись, видя, как из того места, где бы должна появиться луковая зелень, на самом деле лезут корни!

Впоследствии, сделавшись знаменитыми огородниками, мы стали тщательно замалчивать свои не менее знаменитые первые шаги. И только вот теперь, в интересах истины, приходится извлекать из старой памяти эти первые неблестящие опыты.

IV.

Семена огородных растений вначале выдавались жандармами; давались также и рассады капусты и брюквы. Цветы же привозились из Петербурга в горшках в молодом возрасте уже в середине июня.

Потом, когда мы помаленьку стали забирать все хозяйство в свои руки, мы сами стали выписывать и семена, и луковицы, и клубни, и готовые растения. Если не ошибаюсь, В. Г. Иванов первый хлопотал разрешение купить осенью несколько луковиц в счет сумм, отпускавшихся на наши ремесленные и огородные нужды и еще не находившихся в нашем распоряжении. И Лукашевич, бывший здесь истинным инициатором, произвел немалую сенсацию, когда неожиданно выгнал гиацинт зимой и напустил неслыханных у нас ароматов чуть не на весь коридор.

Впоследствии дело это широко развилось, и у нас за все годы перебивало множество самых разнообразных садовых и огородных растений, поставщиком которых был главным образом Лукашевич как ботаник и знаток флоры, затем В. и С. Ивановы, Оржих и Похитонов. У меня сейчас под руками «Каталог Грачева семян, растений» и т. п. Я насчитал в нем более 175 родов (не считая видов) садовых растений, которые разводились нами в разное время. Так как мы выписывали чаще всего от Иммера из Моск-

вы, иногда — Регеля, Фрика и Запелалова, то я не погрешу, увеличивши общее число садовых растений до 200 родов.

Из огородных растений я делал гербарии для Подвижного Музея и в них помещал более 50 видов.

Теперь цветы мы могли иметь уже круглый год. Грунтовые цвели почти непрерывно, начиная с первых чисел апреля, а комнатные и особенно луковичные можно было выгонять всегда по желанию. Когда развелось много ландышей из нескольких купленных кустиков, я каждый год, лет 9 подряд, выгонял несколько горшков с ними к Рождеству и к Новому году и даже, уезжая 28 октября 1905 г., поручил М. М. Мельникову несколько заготовленных экземпляров чтобы он выгнал их зимой согласно данному рецепту. (66)

Выписывая семена, Лукашевич с самого начала стал обозначать их латинскими названиями. Чуть ли не в первый год он, по желанию курильщиков, записал *Nicotiana Tabacum*, и семена табака, по неведению администрации, были спокойно переданы в наши руки, затем выращены в парниках, рассада высажена на грядку, а когда к осени развились настоящие листья, они были собраны, заморены и высушены. Все это было проделано на глазах жандармов, ничего не подозревавших до тех пор, пока всюду не запахло табачным дымом. Эта земледельческая операция помогла доктору Безроднову уже во второй половине 90-х г.г. добиться разрешения в департаменте покупать табак на казенный счет.

Не менее оригинальным способом (точь-в-точь рассказ из Робинзона!) получилась у нас плантация полевой земляники.

Лукашевич, просматривая как-то «Русскую Старину», присланную из департамента, заметил внутри книги одно семечко, в котором он заподозрил семя земляники. Он посеял его на пробу и получил всход, а затем кустик. От него на второй же год на жирной почве пошли уже целые заросли, которые я рассадил в тенистое место и с тех пор ежегодно держал целую грядку. Она плодоносила все лето, иногда до сентября.

V.

Но самые интенсивные сельскохозяйственные успехи ожидали нас в будущем, когда мы постепенно перешли к парниковой культуре.

Попытки устроить парник начались вскоре после того, как открылись мастерские, и мы приобрели ремесленные навыки. Первый, с позволения сказать, парник устроили мы с Лукашевичем. Я сколотил из досок, которые я сам же выпесал из плах, ящик в $\frac{3}{4}$ арш. шириной и около $1\frac{3}{4}$ арш. длиной. Этот ящик без дна мы поставили прямо на мелкую ямку, наполненную коровьим навозом, так как горячего конского тогда не было, а затем накрыли этот ящик промасленной бумагой. Стекол у нас еще не было, и мы вообще старались обходиться теми материалами, которые были под рукой. В этом парнике, кроме разной рассады, мы получили десятка 3 редисок к 9 мая и считали, что мы сильно ускорили естественный ход роста!

На другое лето смотритель обещал дать нам готовую раму, которую он вынул где-то из башни, чуть ли не той самой, где сидела когда-то царица Евдокия Лопухина. Рама эта была в форме трапеции и имела весьма древний вид. Точно такую же другую раму он дал Похитонову. Соответственно такой необычной (67) форме рамы мы сделали в III огороде яму со срубом такого же фасона, и этот парник просуществовал, должно быть, лет 12.

На третий год появилось уже несколько парников с самодельными рамами.

Теперь за это дело всерьез взялся М. Р. Попов, в руках которого оно расцвело вполне.

Главное наше горе с этой культурой состояло в недостатке солнца. В III огороде на парник солнце заглядывало только в 9 часов, а в 2 часа уже уходило оттуда. Во всех других огородах дело было не лучше. Попов облюбовал себе место на старом дворе, возле «Сарая», где солнце светило чуть не вдвое дольше, и, поторговавшись, как водится, с администрацией, заложил сначала там небольшую яму.

Это было скромное начало, за которым последовало блестящее развитие. В 1904 году, когда нас погнали с того двора и заставили переносить все парники опять к себе в огород, я насчитал там ровно 52 парниковых рамы разной величины. Частью это было наследство от уехавших. Но большей частью все это были новые изделия, так как строительные работы в этой области никогда не прекращались, и каждый год появлялись новые рамы и новые срубы.

В это время большая часть первых рам уже отслуживала свой век, и мы заменили их новыми, сделанными более прочно, как раз для того, чтобы бросить их там навсегда. Наверное, этим наследством, без нашего позволения и завещания, воспользовался кто-нибудь из близких к жандармскому миру точно так же, как воспользовались и самыми растениями.

Стекла сначала резали нам жандармы и солдаты, а затем мы купили свой алмаз, и я скоро обучился действовать им.

В парниках всякий насаждал то, что ему нравилось. Кто руководился только личными вкусами, а кто групповыми, после того, как вошел в соглашение с другими и обязался поставлять товар на целую компанию.

Больше всего тут трудился тот же М. Р. Попов, за что Поливанов и острил над ним, что он приговорен к «каторжным работам в парниках без фроку». Он же, вместе с С. Ивановым, не раз побивал рекорд, доставляя на какое-нибудь наше празднество дыню либо арбуз собственной выгонки.

Но самой распространенной культурой, которую насаждали все без исключения, были, конечно, огурцы. Они в хорошее лето появлялись в таком количестве, которое превосходило потребность в них. Напр., в последнее лето их было так много, что мы с ранней весны и в течение всего лета сдавали их своей (68) администрации «на книжку», а потом осенью получали от нее соответствующий эквивалент огурцами же, уже прямо для зимней солки, или фруктами.

После таких успехов, каких мы достигли с парниками, должен казаться детской забавой мой первый ящик с промасленной бумагой, в котором редис мог вырасти только к 9 мая. Теперь мы старались на спорт и получали его иногда к 1 апреля, а первые огурцы к 1 мая. В последний год П. Л. Антонов заложил свой парник уже в начале февраля и имел зелень в марте.

Для парников специально покупался конский навоз, который привозили из города рано, иногда в январе, пока лед на реке был надежен. А всего требовалось нам, в эпоху расцвета, возов до 60-ти, и взымали с нас за них по 50—60 коп. за маленький воз.

VI.

Первый опыт расширения земледельческой площади был сделан очень рано и состоял в захвате «песков» под культуру.

Форменные «пески» с видом пустыни существовали при мне, должно быть, только одно лето, т. е. только при Ироде. Еще год или два они сохраняли прежний пустынный вид, но трава уже не искоренялась, и кое-где свободно пробивались сквозь толщу насыпного песка кустики зелени.

Само собой являлось желание превратить эти пустоши в культурную площадь, которой у нас было так мало. Но, как ни естественно и ни похвально это желание, оно встретило со стороны начальства полное неодобрение. И только после неоднократных настояний разрешено было сделать и в клетках по узенькой грядке, да и то исключительно вдоль заборов. У меня осталось в памяти, точно событие особой важности, как мы с Лукашевичем впервые вонзили лопаты (уже железные!) в песчаную грудь своего стойла и затем совершенно негодный каменистый грунт превратили в сносную культурную почву.

Кончилось, конечно, тем, чем и должно было кончиться: торжеством разума над нелепостью. «Пески» были засажены вплотную, и так как солнца в них было очень мало, то сюда помещали больше кустарники и деревья, каковы: сирень, рябина, черемуха, смородина, малина, яблоня, верхушки которых легко достигали желанного света.

Должно быть, в конце концов из наших стойл получились уголки, не лишенные привлекательности, особенно, если взглянуть на них, конечно, летом, издали и сверху. (69)

Но эти уголки до такой степени опротивели нам своей безысходностью и вечной повторяемостью, что мы совсем не замечали созданной нами поэтической прелести.

Жандармы не переставали вносить в наши насаждения свое специально-жандармское содействие. Так, если тот или другой куст им почему-либо не нравился, может быть, давал слишком густую зелень, непроницаемую для их глаз, они тайно в наше отсутствие подливали под корень кипятку. И через несколько дней хозяин, лелеявший свой кустарник и, может быть, единственный в своем роде ботанический вид, замечал, что его насаждение быстро и без всякой причины засыхает. Исследование почвы обнаруживало, что близ корней она была истыкана ломом и в сделанные таким образом ямки наливалась вода.

Такой «культуркампф» особенно практиковался при полковнике Яковлеве и, по всей вероятности, был продуктом его изобретательного ума.

VII.

Не мало труда потрачено было нами на то, чтобы все свои места для прогулок превратить в удобный для этой цели вид.

В позднейшей инструкции было сказано, что «заключенные гуляют в особо для сего назначенных двориках». А были ли эти дворики защищены от дождя, снега, слякоти, наводнения и грязи, об этом в инструкции не говорилось, а на практике игнорировалось.

Теперь я совсем не представляю себе, как мы гуляли в первые годы во время дождя и слякоти без малейшего прикрытия. Вероятно, просто игнорировали подобные невзгоды, как не стоящие внимания на фоне общих лишений.

Помню, как в III огороде мы с Лукашевичем устроили беседку из хмеля, который над головой образовал густое сплетение, не пропускавшее света. Временно он защищал и от дождя, но скоро с такой крыши начинало течь за шею.

Со временем, научившись мастерству, мы понаделали себе дощатых навесов по всем клеткам и огородам. И много было потрачено остроумия, творческих сил, художественных способностей, труда и усердия на созидание этих навесов! Здесь, как и всюду, нас учила практика, скоро показавшая нам, что наши первые навесы были с большой «протекцией», особенно после летних жаров, от которых коробились и трескались тонкие доски, употреблявшиеся нами в видах экономии. А потому мы стали крыть их потом железом либо толем. Немало и я лично соорудил таких навесов. Помню, я имел удовольствие (70) сделать таковое убежище для Веры Николаевны в углу в 1-ой клетке, с точеными колонками и клетчатой решеткой, которая летом вся обрастала хмелем, и имел же удовольствие пережить потом это сооружение, которое было разрушено временем и гнилостными бактериями.

В последние годы, когда нас было почти столько же, сколько и клеток, каждый имел для себя особое убежище, где он по желанию мог уединиться и где он пристраивал по своему вкусу столик, шкафчик, полки, скамью или кресло и прочие принадлежности, требуемые преобладающим родом его занятий.

Устроивши первым делом места для сиденья, мы устроили потом и дороги для ходьбы.

При постоянных перекопках во всех владениях, особенно на старом дворе, где рылись ямы для парников, у нас накопилось много известковых плит разной величины, формы и толщины. Так как стены крепости сложены из этого плитняка, то в земле, очевидно, валялись остатки материалов, которые в свое время не пошли в дело. Отчего бы не употребить этот материал, данный природой, в качестве мостильного?

И вот начинается возка плит на тачке и носка их на носилках, а затем изучение мостильного дела прямо на практике. На это способен был всякий, хотя ворочать тяжелые плиты было не всякому под силу. Задача состояла в том, чтобы плиты неравной толщины уложить в одной плоскости, а плиты произвольной формы подобрать так, чтобы они легли вплотную друг к другу. Затем нужно было устроить по-требный скат для дождевых и весенних вод. А так как огороды и клетки меняли хозяев, и у каждого хозяина появлялись новые планы и новое размещение насаждений, то мостовые наши так же передвигались с места на место, как и целые кустарники.

Справедливость, впрочем, требует сказать, что, несмотря на наше старание, в осеннюю непогоду не легко было найти дорожку, где бы можно было ходить посуху, ибо наши самодельные тротуары отнюдь не были похожи на те, которыми гордится Невский проспект, хотя они и очень близко напоминали те, какие преобладают в провинциальных городах.

После всего сказанного неудивительно, что у нас на дворе шла непрерывная строительная и реформаторская деятельность. К ней большинство стремилось инстинктивно, как к единственному спасительному средству, которое поддерживало в нас физическую бодрость и не давало нам захиреть от неподвижности и бездействия. (71)

VIII.

Я уже говорил ранее, как сильно было на первых порах стремление к свежему воздуху и желание удлинить прогулку как можно долее.

И потому, когда все стали гулять по две смены (8—12 ч.), т. е. все время до обеда, этого казалось еще мало. Не раз уже поднимался вопрос, как бы устроить прогулку не только до, но и после обеда. Я помню только, как я получил от полковника решительный отказ на такую просьбу. Он заверял, что никак не может сделать этого, потому что ему предписаны из департамента прямо определенные часы для прогулок.

Со временем, однако, с этим предписанием было поступлено так же, как поступают на Руси со всяким предписанием: предают его забвению. И в этом деле большую услугу оказали нам наши парники. Всю весну нужно было их закрывать матами на ночь, что делалось, смотря по температуре, между 3 и 6 часами вечера. Очевидно, специально для этого нужно было выпускать на двор. Так как парники

встретили благосклонное отношение и даже поощрение свыше, то для этого не делалось никаких препятствий. Процедура эта продолжалась сначала минут по 10, и выходили на двор сначала только хозяева парников. Затем минуты эти, столь приятные после душевной камеры, стали растягивать. Начали выходить, якобы к парнику, и те, кому просто только хотелось освежиться. Наконец, глядя на многих, стали выходить все, и кончили тем, что узаконили и ввели в норму послеобеденную прогулку.

Таким образом, летом мы получили возможность проводить на дворе почти весь день от 8 до 6½ часов, с перерывами по одному часу на обед и чай. А одно лето, по доброте Гудзя, нас выпускали даже после ужина с 7½ часов на 1 час или ½ часа, смотря по времени захода солнца.

Но такова натура человека: его больше соблазняет недозволенное.

Получивши желаемое, мы, за немногими исключениями, не пользовались тем, чтобы проводить целые дни на дворе. Увлечение ремеслами никак нельзя было совместить с прелестями свежего воздуха и пр. Кто работал в мастерской, тот неизбежно должен был лишать себя удовольствий прогулки. А поэтому, освежившись на дворе столько времени, сколько ему требовалось, он уходил работать.

Но возможность выйти из камеры на двор в любое время и снова вздохнуть свежим воздухом была уже великим благом, которое тем необходимее было для работающего, что после (72) иной шлифовки в тесной камерке ему пришлось бы там совсем задыхаться. Я, как работающий в очках, постоянно имел случай убеждаться, по осадку пыли на их стеклах, до какой, так сказать, насыщенности доходила атмосфера в таких невозможных условиях, в каких мы работали. И сколько мы ни добивались устроить приспособленные для работ помещения, так и уехали не добившись.

Конечно, и сами мы делали попытки устроиться с верстаком на дворе, но за разными неудобствами это не удалось, и только кузница, как ей и полагается, помещалась на дворе и дышала воздухом вовсю.

Нередко располагались на дворе с какими-нибудь деталями работ, которые не требовали больших станков, особенно с переплетными, каковы: разборка и сшивка книг, обрезка их и пр. Для этого выносились туда целые партии книг и оставлялись под каким-нибудь утлым прикрытием. Но налетевший в наше отсутствие шквал или неожиданная тучка подчас вносили много переполоху в эти книжные залежи на дворе. А весной ими не брезговали и галки, таскавшие бумагу на устройство своих гнезд. Ветер раскроет книгу, а галка, привлеченная шелестом листьев, вырвет их столько, сколько ей понадобится.

IX

По ходу рассказа, мне волей-неволей приходится перебегать от впечатлений первых дней к позднейшим временам, чтобы проследить, так сказать, эволюцию той или другой стороны нашей жизни.

Возвращаясь опять к первому лету, хотя упомянуть его, кажется, больше нечем. Время делилось на три неравные доли: на дворе разговоры и споры с Лукашевичем, на дворе же созерцание небесного свода в одиночку, либо спокойное и поэтизирующее, либо тревожное и грустное, и, наконец, в камере чтение и размышление, прерываемое приступами тоски и наплывом воспоминаний.

С соседями я пока не стучал, потому что не стучали они, знавшие хорошо условия проходимости звуков, я же не прислушался еще к звукам, идущим сверху, а внизу рядом соседний номер был пустой. Когда же летом на время ремонта перевели в него М. Ф. Фроленко, мы тотчас вошли в сношения, и от него впервые узнал я, кто здесь сидит и за что судился. Это обыкновенно первые вопросы, которые задаются в тюрьме соседу новоприбывшим новичком.

А когда Фроленко возвратился опять на старое место, мы стали стучать с Юрковским, сидевшим надо мной, но украдкой, (73) изредка и понемногу. Однако, как мы ни ухитрялись сделать тайным это преступное занятие, мы были, очевидно, изловлены, потому что на другой день Соколов, выведя меня из тюрьмы, остановил на дороге и сделал конфиденциальное замечание. Очевидно, времена и нравы смягчались, ибо прежде, говорят, без всяких замечаний влекли за это в карцер. Матвей Ефимович попробовал действовать силой убеждения, сказал почему-то несколько лестных слов насчет моей образованности, точно желал подкупить меня ими или убедить, что всякому образованному человеку не должно быть свойственно желание искать общения с себе подобными. И, должно быть, увидавши, что это не действует, употребил обычный прием, затасканный уже им, а именно — выставил Юрковского сумасшедшим.

От этого замечания, понятно, я не поумнел и перестукиваться с Юрковским не перестал. Однако новых репримандов я уже не получал. Матвей Ефимович, должно быть, предчувствовал, что дни его сочтены. И действительно, с его уходом на стук стали смотреть все легче и легче, пока не махнули рукой окончательно на это злоупотребление.

Всегда курьезно видеть, как те же самые власти, которые еще недавно преследовали какое-нибудь «преступление», затем сами начинают поощрять его. Еще недавно мысль о введении в России представительного правления объявлялась чудовищной и возмутительной теми самыми лицами, которые сами теперь (март 1906 г.) не только организуют представительство, но даже заставляют во что бы то ни стало участвовать в выборах. Точно так же и у нас. Стук, жестоко преследуемый и караемый, затем едва терпимый и игнорируемый, стал официально признанным способом сношений между нами, к которому сама администрация обращалась в экстренных и спешных случаях. Передавая одному какое-нибудь распоряжение, касающееся всех, она спокойно замечала: «Вы это простучите всем».

Первое время, когда стук стал только что терпимым, мы стучали иногда целыми часами. Лукашевич, напр., передавал Юрковскому стуком всю политическую программу социал-демократической партии в том виде, как она тогда печаталась и была конфискована перед самым нашим процессом.

После на месте Юрковского сидела Вера Николаевна, и с ней иногда мы сумерничали стуком, особенно в пасмурные дни, когда читать нельзя было уже задолго до захода солнца, ламп не давали, а длинные сумерки нужно было убить как-нибудь.

Иногда же после обеда все соседи по тревожному сигналу созывались в «клуб». При этом каждый ложился на свою кровать, вооружался стуколкой, напрягал внимание и слушал речи или сам держал их. Так как кровати четырех камер (2 сверху и 2 снизу) примыкали к одной и той же стене, звук по которой передавался и слышался привычным ухом так, как будто бы потолка вовсе не было, то все четверо тотчас оказывались как бы лицом к лицу. Но и другие ближайшие соседи, хотя не так отчетливо, могли слышать разговор.

В этом оригинальном «клубе» беседы длились подолгу, но были немногословны, ибо речи, продолжавшиеся по 5 минут, состояли всего из 2—3 фраз. Поэтому в них чаще преобладал легкий послеобеденный жанр, где остроумная шутка встречала наибольшее одобрение, выражавшееся в своеобразном смехе. Этот смех всякий, даже «не учившийся в семинарии», сумеет воспроизвести, если простучит так: , т. е. пять частых ударов и три более редких.

Самый принцип разговора посредством стука, изобретенный, как говорят, декабристом Бестужевым, общеизвестен. Мы только немножко усовершенствовали его, введя массу сокращений в словах, напр., вместо «хорошо», стучали «хр.», вместо «человека» — «чл.» и т. д. Наконец, темп ударов, по мере навыка, все учащался, и некоторые виртуозы дошли до такой степени совершенства, что их стук для непривычного уха слышался, как сплошная трещотка, в которой отдельные удары неразличимы.

Вначале стучали, конечно, косточкой указательного пальца, грифелем или ложкой. Изобретательные люди лепили нарочно из мякиша недопеченного хлеба орудие в виде толстой и короткой палочки, высушивали его на печке и получали твердый «язык», чрезвычайно удобный для своей цели. А с появлением мастерских каждый обзавелся какой-нибудь примитивной колотушкой.

На первых порах все эти орудия отбирались во время субботних обысков, а на заявленную претензию смотритель отвечал:

— Стучать можно, но иметь орудие для стука нельзя.

Очевидно, старались пока соблюсти таким образом пункт инструкции, гласившей о ненарушимости тишины в тюрьме, и показать, что они нарушений ее не поощряют.

В конце концов стучали чем угодно, а стук через коридор, производившийся в дверь, был так громок, что мог разбудить мертвого.

После того, как я сделал себе барометр, а Попов приобрел наружный термометр, прибитый за окном его камеры, мы оба ежедневно стучали по утрам на весь коридор свои метеоро-логические даты. Весной в критические для огородника дни эти даты были очень полезны.

Зато и доставалось же мне днем, если барометр «предвещал» ясно, а начиналась какая-нибудь слякоть, столь обычная на берегу Ладожского озера!

Х.

Но стук был первобытным способом сношений, крайне несовершенным и весьма неудовлетворительным. Хотелось всегда большего и лучшего. Одинаковые условия часто порождают одинаковые идеи.

В 70-х годах сидевшие в доме предварительного заключения по процессу 193-х, говорят, устраивали общие клубы посредством ватерклозетных труб.

Я не знал этого факта, когда сам додумался до такого открытия. Додуматься же было чрезвычайно легко. Я сидел внизу и постоянно слышал, как вода, спускаемая верхним жильцом, бежит вниз по трубе, которая, наверное, сообщается где-нибудь с моей трубой. Попробовать ничего не стоило. От

стульчака непосредственно шла широкая труба с просветом около $1\frac{1}{2}$ вершков, изогнутая в самом начале в виде буквы з.

Благодаря этому в изгибе стояла всегда вода и не пропускала из трубы газов внутрь камеры. Когда я выплеснул вон посредством тряпки воду из колена, то сейчас же услышал громкое журчание ее, — она текла от какого-то соседа, очевидно, по общим трубам. Если сосед выплеснет и у себя воду, то все звуки от него ко мне и обратно пойдут по трубе полностью и ни малейший шорох не затеряется.

Попробовать было делом нескольких минут, и мы с Юрковским, уговорившись, сначала стуком, заговорили, наконец, человеческой речью.

Как тайно мы это ни делали, конечно, скоро же попались.

Между тем идея уже облетела всех, и заговорили во всех углах. Трубы были так устроены, что общая канализация ограничивалась только одним углом здания, с другими же сообщения не было. Благодаря этому все, сидевшие в одном углу, оказались связанными в один «клуб». Клуб нового типа, где уже слышалась настоящая человеческая речь.

Начальство, конечно, растерялось, но скоро поняло, что бороться с этим «злом» не легко. Нужно или всех посадить в карцер, — на что не хватит и карцеров, — или же сделать генеральную перестройку всей канализации. Поэтому к такому беззаконию оно долго относилось терпимо. (76)

Бывало, едва вызовешь своего соседа на это оригинальное интервью, как слышишь, в соседнюю пустую камеру идет дежурный и также усаживается у ватерклозета, всегда стоявшего для этой цели наготове, и направляет свое внимание к нашим словам для донесения по начальству о характере этих поистине подпольных речей.

Я говорю «подпольных», потому что трубы из каждой камеры шли в подвал и только там где-то соединялись общей трубой, так что звуки из верхней камеры ко мне должны были сначала прогуляться вниз, в подполье, затем опять вернуться вверх. Несмотря на это, разговор на близких расстояниях был прекрасно слышен, даже шепотом.

Иногда дежурный пробовал записывать для точности наши крамольные речи. Можно себе представить, что у него получалось при спешности и неудобстве работы, да при его малограмотности!

Не скажу, чтобы мы особенно увлекались этой «телефонией». Помнится, бывали периоды, когда не заглядывали в них подолгу. Все-таки не легко было преодолевать естественную брезгливость! И только тяжкая доля да жгучая потребность общения заставляли игнорировать такие условности. Некоторые все-таки выдерживали характер и почти никогда не нисходили до общения со своим ближним посредством трубы с тлетворным дыханием. А дыхание это было, хоть и не часто. Иные же относились к этому вполне философски. Напр., у Юрковского с Лукашевичем с самого же начала открылись горячие программные дебаты, которые продолжались целыми неделями. У меня случайно сохранился отрывок с записью этих дебатов по числам, откуда вижу, что они велись непрерывно и начинались завтра прямо с того, чем окончились вчера.

Но, когда первый жар обмена мыслей поостыл и знакомство установилось, неудобства таких сношений стали ощущаться сильнее потребности в них. Хотелось не просто слышать голос, искаженный трубным резонансом, а видеть живого человека и говорить с ним лицом к лицу. Насколько прочно ассоциировалась в нас звуковая речь говорящего с нами человека и зрительный образ его, показывает то чувство неловкости, которое возникает в нас, если мы вынуждены говорить постоянно с человеком, который невидим для нас. Не угодно ли не испытавшему ничего подобного сделать такую пробу!

Все мы убедились в этом еще раз, когда к нам привезли Карповича и на первых порах мы должны были говорить с ним, стоя у двери его клетки, в которой он был замкнут. Мы стояли, можно сказать, плечом к плечу, разъединенные только доской (77) двери, и могли говорить беспрепятственно по целым часам. Получалось то, да не то!

Отчасти по этой причине произошло само собой и охлаждение к «телефонам». И когда начальство через год или два, наконец, заделало их, прекративши сообщение между трубами посредством какого-то подвального запирателя, мы несколько не были на это в претензии. Только благодаря этому запирателю промывка клозета сильно ухудшилась, на что мы многократно жаловались. Жалобы не принимались, потому что в нашем желании уничтожить заграждение, неудачно устроенное, жандармы видели умысел иной. Впоследствии они уничтожили эти заграждения, но зато переменили все стульчаки и упомянутый выше изгиб, наполнявшийся водой, установили так далеко, что выплеснуть из него воду было почти невозможно.

Дорого, должно быть, обошлась русской казне эта борьба с преступными стремлениями заключенных ко взаимобщению!

Тем временем общение более свободное и более нормальное налаживалось уже на дворе.

Первым шагом на этом пути помогла сама природа. Заборы в огородах были приставлены к крепостной стене под прямым углом. Как ни плотно были они к ней пригнаны, но время сделало свое. Забор немного осел и откатнулся от стены, образовав здесь заметную щель. Поверхность же стены была изрыжена временем. Большие промежутки между плитами были заполнены известью. И без того-то она была рыхлая, но под влиянием атмосферных агентов стала совсем рассыпчатой. Несколько ничтожных операций палкой, и в стене не трудно было выдолбить небольшую нишу. Если эта ниша приходилась как раз в углу, образуемом стеной и забором, то получалась лазейка в соседний огород, в которую можно было просунуть руку.

Это был большой шаг вперед. Прежде, чтобы передать кому-нибудь записку или другую посылку, мы должны были пускаться на всевозможные ухищрения: подкапываться под забор, если гуляли рядом, или зарывать в огородную почву, среди репы и капусты, если гуляли в том же огороде последовательно.

Я помню, как Фекла производил дознание, допрашивая меня с моей тетрадью в руках, которую он нашел в камере у Юрковского. Ему очень хотелось узнать, каким именно образом я ухитрился передать ее. Конечно, узнать ему не удалось, (78) но времена уже были не столь строгие, и возмездия за это преступление я не понес, хотя конфискованная тетрадь погибла для меня навеки.

Когда мы с Лукашевичем, при содействии ближайших товарищей, выпустили в свет свой первый опыт тюремной журналистики, мы долго ломали голову, каким образом передать дамам эту книжку, которая была в переплете. Между собой в это время мы уже могли передавать, чередуясь в свиданиях друг с другом, пути же к дамам и обратно были заграждены совершенно.

Мы решили передать не в огороде, где не легко было закопать целую книгу на глазах дежурного, а в столярной мастерской, в которую мы ходили по очереди с дамами. Но так как там каждый раз производился тщательный обыск, с целью пресечь наши взаимные сношения, то мы нарочно для этой цели выдолбили две доски в виде футляра и, соединивши их шипами, как это делается при склейке щитов, устроили конспиративное хранилище. Но воспользоваться им, кажется, не пришлось ни разу, ибо открытие разных новых путей для сношений шло вперед очень быстро.

Теперь, с образованием между огородами отверстий, дело всяких передач сразу упрощалось. Не говоря уже о естественном более интенсивном стремлении к лицу другого пола, нас постоянно раздражала та явная несправедливость, что дамы среди нас поставлены были в худшие условия, чем мы. Иметь общение только с одним человеком ежедневно десяток годов — на это не хватит человеческих сил. Известный Нансен только одну зиму провел с глазу на глаз с Иогансеном в шалаше на земле Франца-Иосифа да и то, по собственному признанию, в конце зимы они с трудом выносили присутствие друг друга. Мы, мужчины, могли менять товарищей по прогулке, сначала редко, потом все чаще и чаще и наконец каждый день, и даже по несколько раз в день. Получалось подобие общественных сношений. Дамы же были безусловно лишены этого, и все, что они могли себе позволить, это — переписка.

На первых порах, когда бумаги не было, эта переписка шла чрез две-три руки, конечно, совершенно открыто, и передавалась стуком. Так, напр., если Вере Николаевне нужно было передать несколько строк старому другу или товарищу, который сидел на другом конце тюрьмы, положим, в 3-м углу, она стучала эти строки сначала мне (первый этап). Я записывал их под диктовку на аспидной доске и на завтра нес их на свидание товарищу, с которым я гулял и который жил, положим, во 2-м углу. Он переписывал эти строки в свою аспидную доску (79) и дома стучал их соседу, который гулял с товарищем, сидевшим в 3-м углу (второй этап). Этот также записывал под диктовку и на следующий день нес их своему товарищу, который также списывал и уж потом выстукивал дома адресату (3-й этап). Письмо шло 2 либо 3 дня, и через столько же времени и тем же путем возвращался ответ.

Просьбы о том, чтобы переместили на житье в другую камеру, ближайшую к человеку, с которым хотелось бы отвести душу хоть стуком, в первые годы встречали постоянный отказ. Если бы этот человек лежал на смертном одре и если бы ты хотел, севши с ним рядом, облегчить хоть несколькими словами его последние минуты, ты все-таки не получил бы этого утешения.

Все человеческое и самые святые чувства тут безжалостно попирались, и это не только в сфере сношений нас друг с другом, в которой власти могли еще кое-как опереться на формальное противоречие таких чувств принципам одиночной тюрьмы. В сфере общечеловеческих отношений за нами также совершенно не признавалась личность с ее высшими запросами. В этом еще не было ничего удивительного, так как по каторжному положению ты № такой-то и больше ничего! Но нашим властям этого было мало. Они не скрывали от нас, что в их глазах мы не только преступники, лишённые всех прав, но и нравственные выродки, которым чуждо все человеческое, благородное и высокое.

Однажды они особенно наглядно подчеркнули такое отношение к нам. Это было, кажется, в 1892 г., когда мы узнали о голоде на Руси. Мы собрали все свои изделия, превратили их в деньги и просили начальника управления Гангарта собранную таким образом сумму в 25 р. передать в пользу голодающих. Он был почему-то очень тронут таким проявлением наших добрых чувств, рассыпался в благодарениях и даже говорил, что это счастливейший день в его жизни. Но из департамента, куда он, вероятно, направил деньги, он получил выговор за это приношение. И при позднейшей попытке повторить свою лепту в 1901 г. мы встретили от своей администрации решительный и упорный отказ, со ссылкой на взгляд департамента.

Этот взгляд тогда, точно так же, как и теперь, остается неизменным: ты кровожадное чудовище. Они будут изображать тебя таким в своих официальных отношениях, потому что только так они могут оправдать все свои репрессии.

Я уклонился в сторону. Когда сажали наших дам в Шлиссельбург, конечно, не рассчитывали на долговременное их там пребывание. Это была морилка, где людей «выводили в расход», чтобы тотчас заменить их новыми. {80}

Но оказалось, что там приходится устраивать для долгоживущих продолжительный *modus vivendi* и притом неслыханный в истории всех времен симбиоз лиц разного пола. Так или иначе, мы числились осужденными по суду и, значит, отбывающими наказание, которое, очевидно, должно быть одинаково за одинаковые преступления. Это было так элементарно, что о понятно даже департаментским чиновникам. Что нас возмущала полная изоляция наших дам, которая усугубляла им наказание, это их не удивляло. Но когда начались с нашей стороны агрессивные попытки добиться здесь некоторого равноправия и свои попытки мы стали аргументировать ссылками на положение дам в нашей среде, они не могли отвечать репрессиями, чувствуя, что на этот раз право, даже, ихнее право, на нашей стороне.

Вот почему на расширение первых отверстий и на разговоры возле них с дамами они скоро стали смотреть сквозь пальцы, хотя еще недавно за малейшую попытку сказать на дворе два слова своему соседу прямо уводили домой.

Так вошли в употребление естественные отверстия, которых было немного. В них легко было не только говорить, но даже видеть добрую половину лица соседа.

Когда живешь с человеком бок о бок, ведешь с ним сношения, но ни разу не видал его, желание взглянуть на него хоть одним глазком особенно обостряется. Такого знакомого мы непременно представляем с известной внешней фигурой, и нам хочется проверить себя и убедиться, насколько воображаемое подходит к действительности.

Еще ранее открытия этих отверстий мы искали случаев для лицемерия. И когда в заборах среди рассыхающихся досок стали появляться щели в разных местах, мы пользовались ими изредка, чтобы удовлетворить этой законной потребности. И я помню, с каким чисто институтским любопытством я прильнул однажды глазом к такой щели, чтобы взглянуть впервые на гуляющих рядом дам. Точно таким же образом и в том же месте (из IV огорода в III) Людмила Александровна однажды устроила нам с С. Ивановым «смотр». Для того, чтобы оказаться в поле лучей ее зрения, мы должны были по ее указанию стать на скамью и стоять тесно рядом. Вероятно, у нее, как и у меня, изображение получалось со значительной интерференцией, благодаря узости щели.

ХП.

Это было начало. Там, где помогает природа, было бы странно, чтоб не помог себе сам человек. А потому естественно, что щели природные расширялись искусственно до пределов {81} возможного. Когда их забивали, пластыри отбивали, и так как орудием для этой цели служил иногда лом, то он вместе с пластырем отдирает и основную доску забора. Получался вместо маленькой рыбки большой таракан. На дежурных такие разрушительные приемы производили ошеломляющее действие, и они в тревоге экстренно вызывали смотрителя.

Смотрителем был Фекла — весьма недалекий, простоватый и трусливый старик, которым помыкало начальство, как хотело, и который вследствие этого тотчас таял, если ему напомнишь, бывало, об его прерогативах. Он, между прочим, признавался в минуту откровенности, как на него кричит и топчет ногами Дурново и как он трепещет перед своим строптивым начальством. «Департамент — это Бог наш», — сказал он мне как-то тоном глубокого убеждения.

Этой-то Фекле приходилось теперь отражать натиски, повторявшиеся ежедневно на заборы в разных углах.

Однажды прибежал он ко мне, так как я был старостой, в такую критическую минуту сильно взволнованный и начал жаловаться, что мои товарищи ломают казенные вещи и ему ничего не остается,

как сейчас же дать телеграмму в департамент. Начались переговоры, в результате которых оказалось, что, если он не хочет, чтобы проломали большие окна, должен согласиться на маленькие и оставить их неприкосновенными. Решено было окна сохранить и не забивать, а где они не были прорезаны, предоставить хозяевам прорезать по своему усмотрению, но не шире указанных размеров, — величиной, примерно, в книгу среднего формата.

Удовольствие, завоеванное нами, было не высокого калибра. Представьте себе дыру в двойном толстом заборе на высоте лица сидящего человека. В эту дыру можно было видеть фигуру человека на близком расстоянии только по частям. Летом заседание у этой дыры сходило легко, гладко и приятно. Зимой же оно было почти несносно: неподвижное пребывание на снегу, при нашей истощенной организации, при плохо греющей одежде, трудно было вынести больше $\frac{1}{4}$ часа подряд без серьезного риска.

Мы, мужчины, большею частью довольствовались случайными соседями и только в редких случаях собирались для каких-нибудь бесед после предварительного соглашения. Дамы же назначали себе почти ежедневно пару или две соседей, чередуя их постоянно между собой.

Тогда-то именно и расцвели променадмейстерские функции, о которых я сказал выше. (82)

Я забыл еще сказать ранее, что променадмейстер должен был не только сам комбинировать гуляющих и составлять расписание для вахмистра, но и отпечатывать его в стольких экземплярах, сколько было у нас налицо душ. Делалось это посредством копировальной бумаги, которая давала до 3 хороших оттисков сразу, и значит нужно было переписать то же расписание ежедневно раз пять.

Когда мы вошли в променадмейстерскую организацию, каждый утратил частицу своих прав на самого себя: он не только сам назначал себе место и товарища, но и был назначаем по заказу других или по усмотрению самого мастера. Полезно было знать заранее, где и с кем придется завтра быть на той или другой смене. Отсюда понятна надобность в ежедневных изданиях променадмейстерского листка, который рассылался всем через того же вахмистра.

Как кажется, это было первое начало передачи записок друг к другу через нашу полицию. Впоследствии она постоянно и регулярно исполняла обязанности почтальонов, передавая не только то, что писалось относительно наших текущих нужд, но и то, что совершенно выходило за пределы их. Только наши корреспонденции никогда не назывались письмами, а всегда записками, как бы в память их исключительно делового происхождения.

Понятно, что дорогой они читались. И некоторые пользовались этим, чтоб сказать по адресу администрации, высшей и низшей, несколько прочувствованных слов.

При этих окошках в первый раз был сделан в III огороде весьма скромный опыт празднования дамских именин, при усердном содействии покойного Н. Д. Похитонова, великого охотника и мастера сих дел. На свою долю я взял декоративную часть устройства не то шатра, не то будки из зелени и цветов. Впоследствии это дело расцвело, попавши в более опытные руки. И особенно декоративная часть иногда достигала высокой степени совершенства.

При этих же окнах мы устроили, и тоже в III-м огороде, первую и последнюю свою сельскохозяйственную выставку. На импровизированном помосте, накрытом простынями, помещались горы овощей всевозможных видов и сортов. Над каждым продуктом значилось имя его хозяина и вес или объем продукта, всегда очень внушительный.

Эти весовые записи с выставки у меня хранились случайно до последних дней и, к сожалению, были сожжены вместе с другим хламом накануне отъезда. А то, будь они целы, мы теперь могли бы предъявить их какому-нибудь «Отделу земельных (83) улучшений» и требовать от него поддержки и поощрений сообразно нашим доказанным успехам и талантам.

Эти успехи были достигнуты всего через какие-нибудь 4—5 лет после того, как мы с Лукашевичем так неблестяще дебютировали с первой брюквой.

Выставку посетил Гангарт и прочие чины нашей администрации, выразил немалое удивление нашему искусству, одобрение усердию и пожелал дальнейших успехов.

ХIII.

Видя такое внимание начальства, мы ополчились против самого большого места наших огородов — против высоких заборов.

Когда я говорю «мы», под этим обыкновенно разумею какое-нибудь коллективное мероприятие, предпринятое по взаимному соглашению. С тех пор, как стало возможным устраивать такое соглашение путем взаимных переговоров, мы обыкновенно решали каждый за себя, что такие-то и такие-то лица, наиболее заинтересованные в задуманной реформе, позовут разом начальника управления и, путем устного убеждения, начнут воздействовать на него в желаемом смысле. Чем больше было количество лиц,

позвавших его, тем вернее бывал успех. Вопрос, таким образом, освещался со всевозможных сторон, и коллективная аргументация, складываясь в одной и той же голове, производила максимальный эффект.

Если дело превышало компетенцию местных властей, они обещали в бытность в Петербурге «ходатайствовать» там за наши интересы, и решение привозилось уже оттуда. Гангарт вел дело довольно самостоятельно и брал на свой риск такие нововведения, на которые более робкие преемники его никак не осмеливались. И только единственный, кажется, раз ему пришлось вскоре же прекратить такое нововведение по требованию департамента: он согласился абонироваться для нас в Петербурге в общественной библиотеке Иванова, и мы уже несколько раз получили и обменяли книги, как вдруг «зло» было пресечено в корне.

Таким же путем мы открыли поход и против заборов. В самом деле, у солнечного забора, по узкой полосе, доступной лучам солнца, овощи росли хорошо. В тени же, у теневого забора, ничего не выходило.

Забор этот отнял почти половину огорода и таким образом лишал нас простора, столь необходимого в наших полезных и плодотворных трудах. Резоны, приведенные с нашей сто-(84)роны, были настолько убедительны, что Гангарт внял им и приказал унтерам снять верхнюю часть забора в 3—4 доски, высотой в $1\frac{1}{4}$ арш., а в клетках понизил их еще более и всюду вместо снятой части устроил деревянную решетку из вертикально поставленных брусков, толщиной в один вершок.

Когда был произведен первый опыт понижения с одним забором и Фекла увидал в натуре плод либерального предписания, он пришел в большое волнение. Помилуйте! Если немного приподняться, то можно видеть все, что делается в соседнем огороде!

Но волнение его скоро успокоили, — на то он и был Феклой. А когда заборы все были переделаны, то в укромных уголках, где предполагалось сидеть и беседовать с соседями, появились платформы собственного изделия на такой высоте, какая требовалась в интересах удобства сношений. Конечно, долгие дипломатические переговоры велись из-за каждого такого помоста, и каждый вершок высоты его отстаивался решительно, как вообще в дипломатических сношениях — доводами важными, убедительными и неотразимыми: один боялся сырости и потому устраивался выше почвы, другой вспоминал про зимние заносы и заботился о том, чтобы помост всегда был сух и расположен выше толстого слоя снега, третий был слеп и тянулся к солнцу, и т. д. На этот раз дипломатия тоже одержала верх. И платформы были устроены в таком расчете, чтобы, стоя на них, можно было быть лицом к лицу с соседями, отделенными только одной редкой решеткой. Расстояние между брусками, составлявшими эту решетку, было установлено администрацией — в том расчете, чтобы в промежутки нельзя было просунуть голову.

От дождя платформы были защищены навесами, которые установили выше заборов. Таким образом расширение сферы сношений сделало еще большой шаг вперед. Теперь сношения были обставлены всеми удобствами, какие только допускало место, засаженное всюду разными растениями.

Наибольшие удобства давал единственный пункт (см. план), где соприкасались 5 и 6 клетки с I огородом и где могли совместно беседовать 6 человек, а все шестеро говорить еще с двоими, которые помещались в 4-й клетке. И подобно тому, как всюду удобства местности предопределяют судьбы великого города, так и у нас образование настоящего «клуба» было предначертано, так сказать, самой природой.

Здесь-то и протекала отныне вся наша публичная жизнь, пока через несколько лет для нее не нашлось другого, еще лучшего места. И здесь не только читались рефераты и лекции и происходили всевозможные предметные уроки из области науки и техники. Сюда приносилась даже иногда классная доска, обычно (85) висевшая у Морозова в камере, на которой Лукашевич наглядно изображал разные мудреные вещи, бывшие предметом интереса для собравшихся слушателей.

Впрочем, начало нашим «ученым» занятиям было положено в менее удобной обстановке в III огороде, и инициатором их был я, открывший для своей огромной аудитории в 5 человек курс чтений по русскому государственному праву, точнее — об учреждениях земских и крестьянских. Шли они, впрочем, довольно вяло, что зависело в равной мере как от предмета, так и от лектора, читавшего исключительно по запискам.

Впоследствии самым усердным насадителем и организатором этих лекций всегда была Вера Николаевна, сохранившая до конца самый живой интерес ко всевозможным отраслям знания и искусства и проявлявшая много настойчивости и упорства в преследовании своих художественных и научных целей. Особенно много усердия обнаруживала она в стремлении овладеть предметом, который наименее поддавался ее усилиям.

И было время, например, когда кристаллографические системы и изучение их на моделях работы Лукашевича составляли не только злобу дня, но и преобладающий интерес в совместных свиданиях в течение целых месяцев. Тогда термины: «икоситетраздр» и «базопинакоид», «гемиздриа тетартоздриче-

ская и скаленоздрическая» оглашали воздух по целым часам к великому изумлению и смущению наших унтеров, которые должны были по долгу службы доносить о всех наших разговорах и едва ли могли повторить с приблизительною правильностью эти необыкновенно странные названия.

Впрочем, чтобы читатель не подумал, что мы в клубах только и делали, что занимались науками, я должен предупредить, что эти занятия были все же исключением, которое остается в памяти, как явление, выходящее из ряда вон. Обычно же в клубе занимались простыми разговорами на всевозможные злободневные темы, главным же образом из области свежих и старых административных мероприятий или из области только что прочитанных журнальных хроник. Это называлось обменом «новостей», который переходил часто в прения, сопровождавшиеся галдением. Оттого за клубом, особенно в последнее время, все больше и больше упрочивалось менее лестное название «толкучки».

При всяком клубе, говорят, полагается и буфет. Устраивался он здесь и у нас, конечно, в исключительных случаях, раза 3—4 в год, с крепкими напитками или без оных, смотря по политическому барометру. Хозяйками при этом были, конечно, дамы, сначала обе, а потом одна Вера Николаевна. А (86) организаторами и исполнителями — все, кто чувствовал себя особо одаренным в области кулинарных искусств, относимых почему-то до сих пор к разряду неизящных.

Так как мы были народ без предрассудков, и притом «ничто человеческое нам не было чуждо», то в нашей жизни не редки были крайности и резкие переходы. И сторонний наблюдатель, если бы он был возможен, не без ужаса усмотрел бы, как иной даровитый субъект, только что набивший парник навозом, шел затем к себе и приготавливал безе. А другой, еще более даровитый, ободравши крысу и сделавши из нее прекрасное чучело, вслед затем созидал не менее очаровательный и весьма живописный торт.

Конечно, слухи о таких празднествах, вероятно, преувеличенные, доходили до департамента, и директор Зволянский с большим укором выговаривал смотрителю Дубровину:

— Они там у вас целые фестивали устраивают!

XIV.

Здесь будет уместно рассказать кстати и конечную судьбу наших череззаборных сношений.

С появлением у нас Яковлева и воцарением на Руси Плеве, наши прежние порядки, как слишком либеральные, скоро пошли насмарку. Осталась конституция, но сугубо куцая. Заборы, очевидно, мешали крепко спать Яковлеву, как поклоннику старых традиций, вероятно, слыжавшему от мудрых людей, что правило «*divide et impera*» никогда не стареет.

К этому времени наши заборы уже порядочно подгнили, хотя стояли еще прочно на своих местах и простояли бы еще хоть 5 лет. Но новая метла всегда чисто метет, и потому решено было эти заборы заменить другими.

Кому же неизвестно, что всякая новая постройка для чиновников — чистая находка, и что в частности жандармское ведомство, как удостоверил нас военный инженер, часто приезжавший туда по поводу ремонтов, «любит строиться»? Момент был очень удобен для того, чтоб не только организовать новую постройку, т. е. получить деньги, но и усердием в надстройке заборов доказать, так сказать, свою плевеальность (я чуть не сказал — свою лояльность).

По привычке действовать тайно, не предупреждая нас заранее, точно готовил приятный сюрприз, он в один прекрасный день весной 1903 г. сломал заборы VII и VIII огородов, которые были недавно еще строены и отнюдь не требовали ре-(87)монта, и воздвиг на их место другие, ровно в 4 арш. высотой, уничтоживши решетку совершенно.

Мы предъявили к нему коллективную претензию и, должно быть, многие наговорили ему не очень лестных для него вещей, судя по тому, что у меня, после всех, он был необычайно красен и обещал, как всегда, поехать в Петербург и хлопотать в нашу пользу. Оттуда он привез резолюцию — сохранить решетки, но не во всяком огороде, как было ранее, а через огород. Высота же заборов осталась, как он выстроил, в 4 арш. Благодаря этому у новых заборов решетка должна была начаться там, где у старых была верхушка всего забора.

Все было устроено как будто нарочно для того, чтобы доставить нам побольше неудобств. Подняться выше, до возможности говорить опять сквозь решетку, было не трудно, хотя бы для этого понадобилось делать специальные лестницы. Но пользоваться этим приятно, свободно и с комфортом было уже невозможно. Притом же стоять и говорить было легко еще в ясную погоду, а в дождь общение должно было прекращаться, потому что навесы, по требованию Яковлева, мы должны были устроить ниже решеток.

Много труда было потрачено на то, чтобы преодолеть все эти препоны и устроить хоть что-нибудь практичное, главным образом для Веры Николаевны, которая давно была у нас одна. Не имея возможности официально видаться с мужчинами, она должна была, после 20 лет заключения, очутиться опять в полном одиночестве. Яковлев, конечно, понимал это, тем более, что Н. П. Стародворский предупредительно напомнил ему, как он ломал прежние заборы ломом под влиянием совершенно аналогичных побуждений. И потому, затруднившись, елико возможно, пользование решетками (может быть, для уничтожения «фестивалей»!), он все же не запрещал нам цепляться за них подобно акробатам и делать для этого кой-какие передвижные и переносные приспособления.

Когда началась «эпоха доверия», осенью 1904 г. Яковлев, как было сказано, выжил-таки нас с того двора, где процветала наша парниковая культура. Очевидно, он приготавливал его заранее под лобное место.

Но, чтобы не лишить нас окончательно парников, он распорядился устроить для них специальный дворик, разгородивши для этой цели заборы у I огорода между II огородом, 5 и 6 клеткой.

И эти новые заборы, так прочно и основательно воздвигавшиеся всего год назад, те же самые солдаты, которые строили {88} их, с большим трудом извлекли из земли, так как столбы вкопаны были очень глубоко, и увезли со двора совсем.

Тогда же, под горячую руку, он обещал и понизить только что повышенные заборы. Шутники острили по этому поводу, что перед манифестом нарочно повысили заборы, чтобы иметь возможность «даровать» нам что-нибудь после манифеста.

Файл shlis89.jpg

«Клетки» и огороды для прогулок. В центре огород М. В. Новорусского. Над левым забором его поставленная им скворечня.

Но наши взоры в это время были устремлены уже за пределы крепости, где разыгрывалась трагедия повыше наших заборных передряг. Там решались судьбы и нас самих и наших охранителей.

Так и погибли теперь эти ничемные заборы, на стоимость которых можно бы было построить не одну деревенскую школу. {89}

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Расцвет хозяйственной и общественной жизни.

«Пользуйтесь благами жизни и по мере сил и возможности уменьшайте ее зло».

Фейербах.

I.

Переходя к организации мастерских, я вынужден снова вернуться назад. До какой степени в первые годы был не ко двору у нас какой бы то ни было ручной труд, можно видеть из одного забавного случая, который я расскажу сейчас.

Это было более, чем через год после моего водворения здесь. Во время ванны, как я говорил ранее, камера обыскивалась, обыскивалась и только что снятая верхняя одежда самым тщательным образом, хотя в ней никаких карманов не полагалось. Обыск производился не менее, как двумя унтерами, причем второй, очевидно, контролировал первого. Если одежда требовала ремонта, ее тут же чинили, конечно, крайне примитивным образом. Все это делалось на глазах у мывшегося, так как ванна помещалась тогда в дежурной комнате.

Случилось как-то, что после такой операции с моим костюмом жандармы обнаружили у себя пропажу иголки. Вероятно, обыскавши всю комнату, они убедились, что иголка не иначе, как осталась воткнутой в одежду. Примерно через $1\frac{1}{2}$ часа после того, как я вымылся, ко мне в камеру пришел упомянутый выше Классик с жандармами и усердно просил поискать у себя, нет ли иголки, и затем возвратить ему.

Я недоумеваю, почему эта тревога, и что за беда, если бы она и совсем у меня осталась?

Классик отвечает:

— Что вы? Ведь это инструмент!

И в тоне его обнаружилась такая растерянность, точно он подлежал уголовному суду за тайную передачу арестанту какого-нибудь смертоносного орудия. {90}

Не найдя у меня ничего, они пошли к Лукашевичу, который мылся ранее меня, и были чрезвычайно довольны, отыскавши у него свою пропажу.

С радости или в награду, Классик после этого целую неделю пускал нас гулять вдвоем и притом по две смены.

Понятно, поэтому, что дело о мастерских туго подвигалось вперед, хотя в инструкцию давно внесено было разрешение заниматься работами. Вопрос о них поднимался постоянно. Но особенно часто напоминали об этом высоким посетителям наши рабочие, привыкшие к ручному труду и скучавшие без него больше, чем мы. Я же лично относился тогда к физическим работам очень равнодушно. Я не ценил их даже, как моцион, потому что с первых же месяцев заключения начал заниматься гимнастикой и проводил каждое утро не менее $1\frac{1}{2}$ часа в разных акробатических упражнениях.

Вставши утром, и зимой и летом я обмывал водой, которой там всегда было большое изобилие, верхнюю часть туловища. Конечно, при этом я страшно брызгался и потому принужден был потом вытирать пол насухо. Это — фигура первая. Затем, все еще без рубашки, я делал попытки стать на руки головою вниз, ногами к небу — это фигура вторая. Далее следовали приседанье, прыганье и т. д. Для дежурного, который неизменно заглядывал в глазок, должно быть, это было занятное зрелище. Оконную форточку при этом я держал открытой и зимой, так как наловчился сам лазить на окно и открывать ее, и таким образом приобрел сравнительную нечувствительность к холоду.

Со временем я стал хлопотать об устройстве душа в пустой свободной камере. И он, действительно, был устроен, с сильным напором воды. А после туда же перенесли и ванну, так что мыться мы уже стали без сожаления.

Под душ я ходил регулярно каждый день, кажется, лет 12, и расстался с ним не без сожаления.

II.

Помнится, после нашей общей голодовки скоро решился и вопрос о мастерских. Вероятно, хотели вознаградить нас за отобрание книг, которое вызвало голодовку. Когда Федоров спросил меня однажды, каким именно ремеслом я думаю заняться, я был в большом затруднении.

— Башмачным, — сказал я наконец, думая, что это — самое легкое из всех мне известных и, значит, самое доступное. Притом у сапожника мне, как и всякому, приходилось бывать (91) нередко, а других мастерских я даже не видывал, по крайней мере, с тех пор, как вышел из детского возраста.

Сначала открыли одну только столярную (кажется, в 1889 г.) и предоставили ее Варыньскому, как человеку, уже сильно страдавшему одышкой, для моциона. Он сделал недурной сапожный столик, и, когда кончил его, я приглашен был в мастерскую в «Сарай» — двигать башмачное дело. Мне дали колodку, кожу и инструменты и предложили сделать башмаки для Лукашевича, так как для его феноменальной ноги казенная обувь была тесна и ему делали ее на заказ.

Немало тут пришлось мне поломать голову, чтобы сообразить, как прикрепляется подошва. Может быть, я и не решил бы этой задачи, если бы не догадался спросить старые башмаки и распороть их. Вся премудрость обнаружилась при этом воочию.

Но и сверх того оставались еще многие детали, которые казались мне неразрешимыми. К счастью, в это время сидел рядом со мной П. Л. Антонов — на все руки мастер. Я возвращался домой и стуком передавал ему все мои недоумения и затруднения, которые он тем же путем терпеливо и разъяснял мне, вероятно, немало дивясь моей наивности.

Как бы там ни было, но, примерно через месяц, пара башмаков была готова. Я утешал себя тогда тем, что первый русский корабль в Воронеже строился еще дольше. Описывая всю тогдашнюю волокиту, Соловьев в утешение читателя говорит:

«Как ни долго строили, а все-таки выстроили!»

Выстроил и я свои башмаки. Впоследствии я слышал, что, когда в 70-х годах заводились артельные мастерские людьми, искавшими единения с народом, то у них башмакоделание шло не с большей быстротой, чем у меня, хотя они работали под руководством опытного мастера и на воле, а я работал в тюрьме и был предоставлен только собственным силам. В редких случаях, при окончании рабочего времени перед чаем, когда за мной приходил вахмистр, он открывал дверь и при этом смотрел на мою работу и кое-что указывал мне. Но сам он, кажется, не умел шить, а судил, как всякий солдат, постоянно выдавший сапожную работу.

Таково было начало. Это же было началом и легализированных разговоров с унтерами, причем вначале слово было предоставлено исключительно одному вахмистру.

III.

После этого подвига мне предложено было зарекомендовать себя в столярной таким же успехом. Варынский, должно быть, утомился, еще более расхворался и не ходил уже в мастерскую. На его место привели меня в (92) столярную, точно также после обеда, заперли и ушли. Смотрю я тут на разные инструменты и удивляюсь премудрости человеческого гения, изобретшего такие остроумные штучки, в назначении коих я никогда бы не догадался, хоть 100 лет просиди там. Помню, особенно рейсмас поразил меня своим хитроумием, и я мысленно порешил, что это, наверное, машинная работа, потому что так тонко не может оборудовать его человеческая рука.

Запирая дверь, мне сказали, что нужно выстрогать доску около 2 арш. длиной. Я храбро принялся за работу, усердно старался, еще усерднее утирал пот, перебрал все инструменты, о которых я мог догадываться, что ими строгают, и, увы, доски этой за 3 часа я все же не успел выстрогать!

Не знаю, сколько потом понадобилось мне дней, один, два или три, пока я догадался о причине моей неудачи. Ларчик просто открывался: оказалось, что все инструменты были бесподобно тупы. Я гордился таким открытием, потому что оно было продуктом исключительно единоличного моего разума.

Но доискаться причины и удалить ее — далеко не одно и то же. Долго и много я точил, так долго, как это можно делать только там, где я сидел, и где спешить было решительно некуда. Но все-таки я не сумел наточить! И потому не обошлось и здесь без помощи стука и разъяснений Антонова.

Таково было второе начало.

После этого не прошло и двух лет, как я сам уже мог сделать точно такой же рейсмас, который так удивил меня в первый день тонкостью своей работы. А теперь, когда мои коллекции и др. изделия разошлись довольно широко, не мне уже говорить о результатах, к которым привело это далеко не блестящее начало.

Долгое время действовали только эти две мастерских. Были ли у жандармов недостаток в средствах, чтобы завести их разом несколько штук, или, вернее, была только всюду разлитая боязнь разрешать сразу какое бы то ни было нововведение, но только новых мастерских пока не открывали. А в этих двух работали поочередно, причем администрация допускала туда не всех одинаково охотно.

Даже значительно позже, когда мы уже все пользовались этой «льготой», Антонову еще не разрешали ее и держали его на особом положении. Между тем его «поведение», которое служило условием получения льготы, ничем не отличалось от поведения всех остальных. (93)

IV.

Когда и при каких условиях была организована переплетная мастерская, я решительно не помню.

Не помню я также начала и расцвета ажурных работ, которые предшествовали всем другим и которыми одно время, за неимением ничего лучшего, многие увлекались. Особенно дамы, Манучаров, В. Иванов и Похитонов были специалистами этого дела и создали много изящных вещиц, которые разошлись по рукам жандармов и департаментских чиновников. Но сам я ажуром не занимался.

Точно также почему-то очень долго сторонился я и от переплетной работы. Мне казалось, что она предназначена исключительно для больных и слабосильных, а здоровому человеку не дает никакого упражнения. По единообразию же приемов она представлялась мне очень скучной, неспособной дать пищи творческому воображению. И первый почин в переплетном деле я сделал только тогда, когда оно стало обязанностью для всех.

Эту науку я начал уже в «Сарае», под руководством одновременно Веры Николаевны и М. Ф. Фроленко. Мы с Фроленко расположились со всем переплетным багажом на коридоре, возле двери столярной мастерской Веры Николаевны. Форточка в ее двери была открыта, и мы поминутно передавали в нее друг другу книги и материалы. Прессы у нас были на коридоре, и всякую деталь работы, не требующую зажатия, Вера Николаевна исполняла сама, а зажимать подавала нам. Учеником я оказался понятливым, судя по тому, что, переплетая вместе с ними партию книг, я в следующий раз приступил к работе уже один.

Токарная была открыта года через два после начала столярных работ.

Помню, как Гангарт во время какого-то обычного интервью по поводу наших ремесленных нужд впервые предупредил меня, что он скоро даст нам токарный станок. Я сказал, что не имею ни малейшего представления об этой работе, и сомневаюсь, буду ли я в состоянии оказать в ней какие-нибудь успехи. Он ответил, что это очень просто, и даже рассказал, как это делается. Но от этого мои представления очень мало прояснились.

Когда же станок был оборудован, кажется, при помощи Антонова, старенький и первобытного устройства, я пришел как-то к нему впервые посмотреть, что это за штука. В это время нам уже разрешено было работать вдвоем и притом ходить в мастерскую по собственному выбору к тому или другому това-(94)рищу. Хотя в детстве я обнаруживал некоторый интерес к ручному труду и, в частности, к сложным механизмам, но не видывал почти ни одного из них, кроме мельниц, и перед машиной испытывал какую-то странную робость, точно это орудие превосходит всякое мое разумение. Так и токарный станок казался мне машиной. Уже одно то, что эта штука постоянно вертится, и вертится как бы автоматически, так как ножное движение почти незаметно, приводило меня в немалое смущение.

Антонов в пять минут рассказал мне все главные приемы работы и затем предоставил меня всецело самому себе.

Это было четвертое начало, при обстоятельствах столь же благоприятных для начинающего, как и в переплетной работе.

V.

Прошло уже добрых два года с тех пор, как устроены были столярная и сапожная, и в течение этого времени мы делали в них в одиночку свои первые мудреные опыты.

Корень учения горек, должно быть, в сякого учения. У нас же притом были все данные, чтобы обострить эту горечь.

Трудно теперь представить всю массу неблагоприятных условий, которые приходилось тогда преодолевать, чтобы сделать хоть какие-нибудь успехи. *Едва ли где-нибудь и когда-нибудь делались опыты обучения ремеслу в условиях, аналогичных нашим.* В тюрьмах, как общее правило, научают ремеслу. Но каждый новичок учится там у какого-нибудь другого мастера, будет ли это товарищ по несчастью, надзиратель, или специально приставленный руководитель.

Быть может, наша администрация, разрешая нам мастерские, нарочно оставила их в тех невозможных условиях, в которых мы жили, в расчете, что побалуется люди, да и перестанут. Возможно ли, в самом деле, сделать что-нибудь путное, не выдавши ни разу в жизни ни верстака, ни коловорота? Возможно ли что-нибудь задумать и осуществить в пустой камере, где брошены были точно на смех 2—3 обрубка дерева и несколько негодных старых досок?

Но нашему упорству не было границ. К мастерским мы не только не охладели, но скоро же воспользовались ими, как тараном, чтобы проламывать новые бреши в суровом режиме, который еще недавно казался нерушимым.

В сякий ведь режим разрушается жизнью, и разрушается тем вернее, чем больше он не соответствует требованиям жизни. Внеси во всякую китайщину новые условия и новые потребности, и старые нормы тотчас заколеблются. (95)

В нашей жизни строго была проведена одна норма, бывшая устоем ее,— полное изолирование нас друг от друга. В виде исключения, которое соблюдалось неукоснительно, мы могли видаться с товарищами только на дворе, точно предполагалось, что два опасных человека, сойдясь вместе, образуют такую разрушительную силу, которую нельзя спускать с глаз и пред которой целый десяток жандармов должен быть постоянно настороже.

А потому ни свидание друг с другом в камерах, ни передача друг другу записок, рукописей и проч., ни, тем более, встречи разом втроем никоим образом не были терпимы тогда в нашем пенитенциарном царстве.

В частности, свидания в жилых камерах считались безусловно недозволенными. И на этот счет в самой последней инструкции, созданной уже во время наибольших у нас свобод, был введен неслепейший §. В нем говорилось, что свидание в спальне может состояться не иначе, как в присутствии смотрителя, и о каждом таком свидании, равно как о причинах оно, должно быть доводимо немедленно до сведения департамента полиции.

Понятно, что такое правило или обходилось, или совсем не соблюдалось.

И мы в сотый раз убеждались, как в великом и малом, точно на смех, бюрократия всегда измышляет правила и законы, которые, в силу их непригодности, заранее обречены на смерть.

VI.

Разрешение мастерских вскоре же выдвинуло на сцену все дальнейшие разрешения.

Практика имеет свою логику. Если вам разрешили, скажем, сеять репу и при этом не прибавили, что вы можете для этого пользоваться почвой, то вы даже от жандармов можете выпребовать себе последнюю, руководясь данным вам правом.

Точно так же и в ремесле. Когда оборудовано было 8 или 9 столярных и во всех них работали, трудно было удержать их в той же изоляции друг от друга, в какой держали жильцов совершенно пустых камер.

Самый набор инструментов требовал постоянных сношений. Более редкие и дорогие из них находились всего в одном или двух экземплярах, и потому, в случае надобности, неизбежно приходилось посылать за ними дежурных к соседу. Дежурные, вообще незнакомые со столярным делом, были плохими передатчиками таких поручений и постоянно путали. Зенковка, (96) коловорот, шпунтубель, цинубель, галтель, калевка — для них был звук пустой. А исполнивши поручение неправильно, дежурный рисковал попасть между двух огней и выдержать перепалку с той и другой стороны.

Если он не мог сам быть точным, он должен передать записку от одного к другому, где об этом говорилось точно и ясно. Это было до такой степени очевидно для самих жандармов, что, когда позднее Карпович был совершенно изолирован от нас и однако пользовался мастерской, ему позволяли писать к нам записки по делам его ремесла и получать обратно ответы. Только вахмистр обязательно их переписывал и передавал не подлинник, а копию!

Любопытно, что этого приема они почему-то не употребляли с нашими письмами к родным и ответами на них, а передавали их в подлиннике, и притом без всяких следов реактива.

Далее. Допустивши мастерские, трудно было отказать в разрешении работать вдвоем. Сеяли в огороде мы вместе. Почему же строгать доски мы не можем вдвоем? И если, по существу дела, огород можно было разводить и в одиночку, то столярничать в одиночку просто невыносимо: при склейке и сборке крупных частей необходим был какой-нибудь помощник. Не дадут нам товарища, так мы будем звать для этого коридорных и подвергать их постоянному риску глетворной заразы от частотного соприкосновения с нами.

Все эти соображения появлялись сами собой и неминуемо вели к разрешению парных работ.

VII.

Затем вскоре же открылась потребность выхода на коридор.

Столярам постоянно требуется клей. Разогревался он дежурным тут же, в «Сарае», на плите. Но клеенок было только две, а спрос на них непрерывный: одному, по ходу его дела, нужен был густой клей, другому — жидкий, одному — горячий, другому — чуть теплый. Никакое старание дежурного не могло угодить всем требованиям, а стараться ради наших интересов они вовсе не привыкли. Простой исход из этого затруднения подсказывался сам собой — выпустить разогревать клей самого мастера.

Но плита была почти на коридоре, и здесь же лежал запасный лес, который здесь только и можно было разрезать на требуемые части. Когда позволено было работать вдвоем, стали и на коридор выпускать по двое. Но в это время рабочих душ набралось в сарае до 16 человек. Потребность в выходе стала (97) настоятельнее и чаще. Кому нужно было выйти, тот не мог принимать в соображение, что в этот момент кто-нибудь греет свой клей на плите и, конечно, не торопится уйти в душную мастерскую, а другой режет доски на коридоре и тоже не имеет интереса спешить.

Почему же меня не желают выпустить? Разве я могу помешать тому и другому? И разве кем-то выдуманное требование на счет двойственного числа может быть обязательно для меня, как столяра? Ведь я пришел в мастерскую работать, а не сидеть сложа руки да играть в бирюльки. Почему же меня заставляют ждать неведомо чего, когда и всего-то мне нужно выйти только на 2 минуты? Что-нибудь одно: или разрешается работать, или запрещается. Если разрешается, почему же мне на практике не дают возможности пользоваться этим разрешением? и т. д. и т. д. Получается ряд коллизий, и все они ведут к одному исходу: новые потребности нельзя втискивать в старые законы.

Если бы мы жили в эпоху, когда вопрос о нашей жизни и смерти был безразличен для правящих нами офер, они бы скоро сумели разрешить эти коллизии по-своему, как это и было потом в министерство Плеве: не хотите работать в тех рамках, какие мы нашли нужным прописать вам, — как хотите. Законы наши святы, и перемены в них вы не ждите.

Но мы жили тогда в эпоху, когда массовые смерти не на шутку обеспокоили наших бюстителей, и они вовремя сообразили, что мы для них настоящая курица, несущая золотые яйца. Если зарезать нас всех, всякому доходу конец, а если сохранять, и как можно дольше, то можно обеспечить себе возле нас пожизненную ренту, притом в размерах чрезвычайно соблазнительных. Очевидно, надо дорожить нами, — новых ведь уж больше не привозят! — и всячески обеспечивать наше долготелie.

В этих видах мастерские по справедливости должны считаться наиболее рациональным средством для лечения от тюремной нейрастении, апатии, желудочных и проч. недугов, связанных с бесцельным и сидячим образом жизни, а равно и для предупреждения новых подобных заболеваний. Очевидно,

мастерские не только нельзя было стеснять или ограничивать, а необходимо было поощрять и всячески упрочивать.

VIII.

А тут еще как раз рядом, у самого «Сарая», на дворе организовались сельскохозяйственные работы.

Я уже говорил, как сюда постепенно водворили парники. Двор разделялся на 2 неравные части проходящей по нему дорогой {98} (панелью). Парники помещались по одну сторону ее, и возле нее все пространство скоро было сплошь возделано. Другая, меньшая половина оставалась еще пустыней, и при той жажде земли, которая овладевала нами по мере развития сельскохозяйственной техники и соответствующего расширения наших замыслов, было не легко мириться с ее пустованием. В то же время начальство упорно противилось ее возделыванию, очевидно, желая сохранить ее в таком виде на случай

Файл shlis99.jpg

Старая тюрьма. У левого края две ели. Правая посажена В. Н. Фитнер, левая — Л. А. Волькенштейн.

неожиданного спроса для сооружения эшафота.

Однажды, в начале лета, я, не мудрствуя лукаво, вооружился лопатой и вонзил ее в заповедную пустошь. Затем наметил направление будущей грядки вдоль панели и продолжал копать сообразно этому плану. Дежурные в тревоге побежали за Феклой и поспешно привели его, очевидно, для пресечения самовольного захвата новых земель.

Начались расспросы и препирательства. Я объяснил, что хочу только вдоль всей дороги протянуть грядку, дабы посадить {99} на ней цветы. И затем, чтобы отстоять свой замысел и право на захваченную территорию, пустился, как это делают и государственные мужи, в дипломатию. Цель моя, — доказывал я, — не только вполне невинная, но и достойная похвалы. Ведь ему же, будущему подполковнику, приятнее на пути в Сарай видеть кругом не сорные травы, а бордюры цветов. Не говорю уже о том, что и высшее начальство пройдет здесь среди цветочных насаждений с большим удовольствием, чем среди лопухов, крапивы и чертополоха.

Я привел нарочно эту аргументацию, как образчик того, каким образом мы добивались у подобного члена нашей администрации того, в чем открывалась надобность и в чем отказ не имел ни смысла ни оснований.

Федоров теперь уступил, но с условием, что я сделаю только то, что обещал, и отнюдь не буду расширять своей культуры. Обязательство было дано, грядка вспахана, и цветы насажены.

Но мое обязательство не связывало никого другого из товарищей, и потому естественно, что через год начались расширения захватных владений и новые дипломатические переговоры, не менее красноречивые и убедительные, чем те, какие вел я. Вроде того, что Новорусскому позволил, а мне не позволяет; что у него нет самого элементарного понятия о справедливости, что управлять целым народом с такой двойственной политикой значит вызывать революцию; что расширение это делается только на 1 год, и исключительно для салата, который, как доказано опытом и подтверждено доктором, полезен от цынги, что, препятствуя этому, он сам обрекает нас на новые заболевания, и т. д. и т. д.

Разумеется, кончилось тем, что весь двор был «завоеван» и обработан.

Много труда было вложено в него. Грунт, как я говорил, здесь был каменистый и почти на $1\frac{1}{2}$ арш. сплошь состоял из остатков древних строительных материалов. Только изредка кое-где лежали тонкие пласты почвы. Нужно было пробить всю толщу этого мусора и докопаться до настоящей рыхлой подпочвы, которая состояла частью из глины, частью из мелкого наносного белого песка.

Чтобы добыть то и другое, проламывали ямы до $1\frac{1}{2}$ саж. в диаметре, камень отбрасывали в сторону, а со дна вычерпывали глину и песок до такой глубины, с какой только можно выбросить землю на поверхность. Иногда это ископаемое добывалось даже посредством ведра, которое один опускал в яму, а другой, сидевший там, наполнял.

Когда добывать больше оказывалось не под силу, на дно ямы сваливался мусор, бывший на поверхности. И если яма {100} подготавливалась для посадки дерева, то в нее сверху сыпался значительный слой рыхлой смеси, частью только что добытой из глубины, частью принесенной из огородов с нового двора или вынутой из парников. Если же здесь проектировались огородные насаждения, то яма почти вся засыпалась камнем и мусором, и только на $\frac{1}{2}$ арш. сверху клалась рыхлая почва.

Благодаря таким трудам нам удалось весь двор, так сказать, перевернуть вверх дном и сделать его годным для насаждений. Но в 1904 г., осенью, когда оказалось действительно необходимым снова

очистить от культуры это лобное место, нас, после многих предупреждений, решительно погнали со двора. Парники, как я говорил, были целиком выстроены заново, а земля вся выношена большею частью на носилках в наши огороды: не пропадать же нашим трудам!

Значительная часть этой земли, таким образом, дважды проехала на наших плечах туда и обратно. И много же поту было утерто за этой нелегкой сизифовой работой!

IX.

И вот, когда парники и проч. насаждения на дворе были оборудованы и наступала весна, тотчас же опыт жизни предъявлял к нашему режиму самые сокрушительные требования.

Нельзя было, находясь на дворе, не заходить в сарай. В всевозможные мелочи сельскохозяйственных работ не могли быть предусмотрены заранее. То нужна подпорка для рамы, то заплатка к парнику, то молоток, то стамеска либо пила, то теплая вода для поливки, то зола для удобрения, то семена, то горшки, оставшиеся в мастерской. Ходьба была непрерывная, и нужды парниковые — неотложные. Они не могли подчиняться инструкциям и ждать, когда освободится коридор, чтобы можно было пройти по нему. Если разбил стекло в парнике и дует северный ветер, нужно закрыть или заделать дыру как можно скорее, чтобы не поморозить все продукты своих трудов.

Таким образом, под дружным натиском с обоих флангов, со двора и с коридора, исконные основы нашей жизни были распатаны вконец.

Одна из самых первых брешей в них была сделана мною и Н. Д. Похитоновым при счастливом содействии самой нашей администрации. Гангарт заказал нам ограду для обнесения «братской могилы» воинов, павших при взятии крепости. По данным чертежам, ограда должна была состоять из массивных точеных балясин, установленных по 11—12 штук между двумя вкопанными толстыми столбами. Специалисты-токари (Лагов-(101)ский, Шебалин, В. Иванов и др.) взялись точить балясины, а я, Похитонов, Панкратов, Мартынов и др. — устраивать столярные части и делать пробную установку.

Когда первые части были готовы, понадобилось сделать их примерную сборку и, значит, работать на коридоре, о чем в то время даже и помышлять нельзя было. Первый опыт был сделан в присут-

Файл shlis102.jpg

«Братская могила». Кругом нее ограда, сделанная руками заключенных по проекту Н. Д. Похитова и сгнившая еще до их выхода. Сзади корпус, в котором жили унтера.

ствии властей, которые сами натолкнули на это. А известно ведь, как дорог первый опыт!

Затем около того же времени к нам поступил младшим помощником штаб-ротмистр Пахалович, которого, по его словам, за симпатии к нам впоследствии Гангарт звал социалистом. Так как Сарай, как арена нашей рабочей деятельности, был подчинен непосредственно младшему помощнику, заведовавшему хозяйственной частью, и другому вахмистру, который заведовал специально мастерскими, то здесь, при доброй воле (102) ближайшего начальника, очень скоро стали устанавливаться признаки «автономии». В сжое двоевластие, говорят, губительно, вопрос только, для кого и для чего.

Первые шаги Пахаловича были чрезвычайно робки. Он сам украдкой ловил те немногие секунды, которые удавалось поймать, чтобы сказать наедине несколько слов. Кончилось же тем, что он раз навсегда отогнал от себя «нижних чинов», согладался при офицере, беседовал с нами по целым часам наедине, с глазу на глаз и группами, даже, страшно сказать, называл нас иногда по имени и отчеству и, в конце концов, при нашем благосклонном содействии, разрушил окончательно все здание суровой толстовской одиночки и бессмысленного формализма.

Говорят, что в Петербурге тогда он имел хорошую протекцию и, вероятно, пользовался как ею, так и временем, когда наши верховные аргусы, убаюканные полной победой над революцией и взысканные за это великими и богатыми милостями, размякли от наслаждений.

Часто он рисовал нам эти «верхи» теми же самыми нелюбезными красками, которые только теперь обыватель может встретить в русской печати и которые всякому историку хорошо известны в характеристиках прошлого времени. Т. е. развратны, трусливы, жестоки, мстительны, глупы и слепы.

X.

Так вот, по совокупности этих причин, которые я изложил, может быть, с излишней подробностью, мы получили наконец некоторое подобие конституции. Мне кажется, что и в нашем застенке проявились те же общие законы, которые управляют жизнью больших организованных обществ. Жизнь всюду можно задавить и всякое общество раздробить на части и уничтожить. Но, раз оно существует и

жизнеспособно, раз у него сохраняется общая хозяйственная жизнь, неразрывно сплавляющая разрозненные элементы в одно целое, оно разрушит или ослабит всякие путы, лежащие ему на пути, и приспособит всякие законы к своим потребностям.

Расцвет наших «свобод» совпал с манифестом, данным по случаю бракосочетания Николая II. В нем до такой степени ясно и недвусмысленно было сказано: «не изъемя и государственных преступников от милостей, дарованных в пункте таком-то», что наша администрация поняла его вразумительно и, кажется, на второй же день принесла нам газету, где он был напечатан, и подтвердила от себя, что еще несколько дней, и многие из нас увидят своих родных... (103)

Манифест этот мы читали уже толпами на коридоре Сарая, и камеры не запирались. Заперты были только дамы, у дверей которых при открытых форточках собирались «клубы».

И это исключительное положение дам на первых порах казалось до такой степени странным даже жандармскому уму, что когда на место Пахаловича поступил его преемник и увидел на коридоре впервые эту картину, то спросил с недоумением:

— А почему же они заперты?

Надежды и увлечения тогда были так заразительны, что, когда многие наши «литераторы» стали подвергать сожжению под плитой плоды своих дум, сжиг и я несколько рукописей.

После я сам с большим недоумением спрашивал себя: чего это я-то заволновался? Какие шансы были у меня на *немедленный* выход?

Но быстро вспыхнувшие надежды еще быстрее потухли. Жандармы, пронюхавши где следует, облеклись в непроницаемую броню, и их многозначительное молчание скоро нас отрезвило.

Впоследствии мы узнали, что, при обсуждении вопроса о применении к нам манифеста компетентными в нашей судьбе лицами, голоса разделились, и перевес решению дал Шебеко, тогдашний шеф жандармов. Он заявил, что не ручается за спокойствие России, если манифест применят и к нам. Очевидно, он не сообразил, что, в случае применения манифеста, наш выход растянулся бы на целых 13 лет, и что думать об этом спокойствии нужно было раньше, чем оглашены были публично вышеприведенные слова манифеста.

Как бы там ни было, манифеста мы не получили, а местная администрация, как бы сконфуженная за свое высшее начальство, перестала придирается к разным мелочам наших правонарушений.

С этих пор и по март 1902 г. упрочилась в нашем Сарая, так сказать, публичная жизнь. И хоть были неоднократные попытки возврата к старому, особенно при смене наших ближайших администраторов, когда они хотели показать своему преемнику незыблемость старых основ, но они были недолговечны.

И при каждой местной реакции более проникательные из унтеров прямо говорили нам:

— Все равно! Скоро опять все будет по-вашему.

XI.

Одну из таких попыток я прекрасно помню. Смотрителем тогда был Дубровин, только что замесивший прогнанного Федорова.

Одной из наших многочисленных конституций было установлено, что на коридоре могут быть только четверо (фиктивно (104) говорилось не четверо, а двое на дворе и двое на кухне). Форточки же в дверях у всех мастерских будут открыты как для вентиляции, так и для удобства получать через коридорные клеи, инструменты и проч.

Должно быть, Дубровину, как новичку, хотелось подтянуть нас, и он, ни слова не сказавши нам, велел вахмистру в один прекрасный день держать форточки на запоре. Приходим мы, ничего не подозревая, в мастерские, дверь запирают и... Оказывается, мы опять, как в мышеловке!

Я работал в это время с В. Г. Ивановым. Он, как только увидел такое «правонарушение», вспыхнул, как порох, схватил молоток и изо всей силы стал барабанить им в дверь. Стук был ужасный, соседи подхватили его, и начался обычный тюремный концерт, при котором обыкновенно стража совсем теряет голову.

Нарочный побежал к смотрителю, тот явился и, увидавши, в каком градусе находятся лишние прежней «лыготы», тотчас же сдался, сказавши, что он никаких распоряжений на этот счет вахмистру не давал. Форточки немедленно у всех были открыты, а дальнейших покушений на конституцию долго после этого не было.

Другой казус из той же категории был серьезнее.

Двери всех мастерских в это время уже держались открытыми. Я спокойно работал в своей мастерской, а со двора неслись ко мне громкие возбужденные голоса спорящих: там шли какие-то перекоры

с вахмистром, тоже по поводу ограничения наших льгот. В чем именно было дело, точно я не знаю. Знаю только, что П. С. Поливанов, доведенный прением до белого каления, прибежал ко мне в мастерскую, схватил топор и моментально исчез. Говорили после, что он хотел броситься с ним на вахмистра, но товарищи, бывшие тоже на дворе, вовремя удержали его. Через минуту после этого я вижу, как он покорно идет, влекомый Базилем (В. Ивановым), ко мне в мастерскую, с тем же самым топором в руках, и немедленно подставляет голову под кран, чтобы охладить возбуждение струей воды.

— Кровь, — говорит, — бросилась в голову.

Благодарят тактичности Гангарта и умелому объяснению ему всей истории, она не имела никаких последствий. Даже более: в тот же самый год (1896) был объявлен некоторым из нас коронационный манифест, в том числе и Поливанову, с обычной оговоркой, что срок сокращается «за хорошее поведение». {105}

ХП.

Весьма трудно воспроизвести теперь, каким образом я, из полнейшего профана во всяком ремесле, превратился в человека, чуть не на все руки мастера.

По крайней мере у жандармов сложилась такая репутация обо мне. Когда поступает новое лицо в корпорацию служащих и желает за чем-нибудь обратиться к сведущему человеку, его направляют ко мне. И это даже в таких вещах, на которые моя специальность совсем не простиралась. Напр., последний доктор (Самчук) просил меня как-то сделать прививку его комнатному лимону, чтобы он стал плодоносить.

Всякая наука дается не сразу. Тем более — ремесленный навык и сноровка. Не думаю, чтобы у меня на это были особые таланты, но терпения запас был огромный. А в деле ремесла в большинстве случаев оно преодолевает все.

В столярном деле меня интересовал больше самый процесс творчества. Мне кажется, если бы меня учил опытный мастер, который заставлял бы все делать по шаблону, я бы далеко не пошел и самое ремесло стало бы для меня скучным и постылым. Я же в самом начале своих опытов чувствовал себя до некоторой степени Робинзоном. Даже более. Робинзон кое-что знал и в новой обстановке, сравнительно обширной, применял старые, известные ему приемы. Я же ничего не знал, и каждую задачу, вроде пришивания подошвы, нужно было сначала решать теоретически, а затем осуществлять сделанное решение на деле.

В случае с подошвой это решение не представляло еще интереса, хотя и оно было когда-то продуктом человеческого гения. В столярном же деле, как более сложном и разнообразном, множество задач представляло чисто геометрический или механический интерес, и они давали много простора для пытливости, сметки и упражнения ума.

Главные приемы ремесла, конечно, давным-давно разработаны и передаются от поколения к поколению в готовом виде. Но ведь они выработаны веками, ведь над ними трудился коллективный человеческий ум, ведь на них трудовая часть человечества затратила огромное количество времени, сил и творчества. Каждое изделие, которое мы видим у себя в комнате и на которое не обращаем внимания, есть не просто изделие столяра Ивана, а коллективный человеческий опыт, зарегистрированный в этом изделии и воплощенный в одно целое. Может быть, понадобились многие века постепенных приобретений, прежде чем столяр Иван мог сделать для нас простенькую этажерку и проделать над ней те сложные действия, которые ему {106} по завещанию были переданы сразу и над сущностью которых он никогда не задумывался.

Я же задумывался. Пред каждым затруднением, простое оно или сложное, я ставил себе вопрос: как поступал в таких случаях первобытный человек, прежде чем решение этого затруднения было найдено впервые? Этот непрерывный процесс изобретательства интриговал и поглощал меня всецело. И я никогда не понимал тех из своих товарищей, которые предпочитали брать решение задачи в готовом виде от более опытных соседей, вместо того, чтобы раскинуть мозгами по-своему и дать им некоторое новое упражнение.

Таким образом, подобно тому, как эмбрион переживает в немногие, сравнительно, дни своего роста всю многовековую историю развития своего вида, точно так же и я переживал на своих опытах до некоторой степени целую историю человеческой культуры.

В этих видах, уже безо всякой практической надобности, я однажды попробовал зажечь огонь трением куска дерева о дерево, для чего даже нарочно устроил вращающийся крут («центробежную машину»). Увы, опыт этот был столь же неудачен, как неудачен он был, кажется, и у Дарвина.

Конечно, при этом мне приходилось нередко «дурака валять» — умствовать и проделывать пробные и неверные шаги там, где ларчик просто открывался и где открытие его подсказал бы любой из товарищей, опытный в мастерстве. Но я предпочитал эти неверные шаги и сомнительные опыты проделывать самостоятельно, полагая не без основания, что масса ошибок не есть пустая и вредная трата времени. Эти ошибки в то же время дают много приобретений, хоть и отрицательного характера, и много навыков, которых иначе, может быть, и не приобрел бы. Отрицательные же приобретения в практике часто бывают не менее важны, ибо для нас полезно знать не только то, куда нужно идти, но и то, куда ходить не нужно.

Первые шаги, конечно, я делал не без помочей. Я уже упоминал, как Антонов разъяснял мне самые капитальные затруднения. Помнится, что я спрашивал у него даже и о том, сколько времени нужно, чтобы считать клей вполне высохшим. И вообще задавал немало вопросов, которые теперь кажутся мне необыкновенно наивными, если я слышу их от лиц, таких же неопытных, каким и я был тогда.

Но скоро я почувствовал себя способным ходить без чужой поддержки. {107}

XIII.

Одним из первых моих изделий была не какая-нибудь мелочь, не стоящая внимания. Нет. Большому кораблю всегда прилично большое плавание. И я, точно предчувствуя грядущие успехи в этой области, начал ни больше ни меньше, как прямо с большого книжного шкафа.

Федоров сам предложил мне эту работу, спросивши предварительно, могу ли я сделать такой шкаф. Я отвечал, как будущий артист, которого спросили, умеет ли он играть на скрипке?

— Не пробовал никогда. Попробую, может быть, сумею.

Помню, что меня при этом подбадривало то обстоятельство, что уж если жандармы, которые видят мое кропанье, обращаются ко мне с таким предложением, так, значит, я не лыком шит и тоже кое-что могу.

Итак, я взялся за шкаф, и тут начались мои первые «искания». Почти каждая часть этой сложной работы приводила меня в затруднение, и я не мало размышлял над той или другой из них, как это делается у опытных смертных. Долго я его работал: может быть, 2 месяца, может быть, 3, даже 4. Но все-таки сработал. Он и до сих пор, наверное, цел, и все время там книги стояли.

Но что это был за шкаф! На нем смело можно бы сделать надпись: «прохожий, стой и удивляйся!». Его следовало бы поставить в какое-нибудь этнографическое учреждение, вроде Русского музея, наряду с предметами домашней обстановки, которые характеризуют первобытное русское искусство. Дверцы у него тоже створчатые и с филёнками, в тайну коих я проник, осмотревши предварительно готовый купленный шкаф. Но самая замечательная вещь в нем — это то, что одна дверца немного набекрень. Составил ее я как следует. Но когда склеил, то оказалось, что я ее скосил, и потому косые углы ее не могут совпадать с прямыми углами отверстия шкафа, в которые вставляются двери. Будь я опытен, я размочил бы ее, расклеил и снова склеил прямоугольно. Но тогда мне ошибка эта казалась непоправимой, и потому дверца осталась совершенно кривой.

После этого у меня было сделано не менее десятка разных шкафов, больших и маленьких, не считая тех, которые я делал совместно с другими. Два из них даже вывезены оттуда и сейчас стоят в музее на курсах П. Ф. Лесгафта. В случае надобности я мог бы предъявить их куда следует, как пробное изделие для того, чтобы получить права цехового мастера. А сколько еще и каких именно вещей было сделано мною, теперь даже и приблизительно сказать нельзя. Очень может быть, что {108} список их занял бы несколько страниц. Могу сказать только, что из всех предметов домашнего обихода мне не приходилось делать, кажется, одной только — кровати. А именно, я делал: скамьи, стулья, кресла, табуреты, столы и столики, лестницы, комоды, сундуки, ящики, шкатулки, футляры, пюпитры, жардиньерки, этажерки, мольберты, киоты, рамы и рамки, вешалки, парты, верстаки, шахматные доски, разные физические приборы и игрушки. В одном экземпляре были сделаны еще тачка и экран к камину.

XIV.

На наши хозяйственные нужды, должно быть, с первых же дней их легализирования, отпускалась особая сумма. Но об этом, равно как и о размерах ее, нам ничего вначале не говорили. Напротив, постоянно слышались жалобы, что мы очень много изводим материалов, и что все, что для нас покупается, уходит неведомо куда. В 1891 году даже требовали, чтобы мы вели список всего, что нами сделано, который имелось ввиду представить в департамент, как аргумент при получении дальнейшей ассигновки. До самого выхода оттуда у меня хранилась тетрадь со списком этих изделий за один 1891 год. Тогда же попросили нас сдать в департамент накопившиеся у нас разные изделия, очевидно, для того, чтобы

зареккомендовать нашу способность превращать покупаемый на казенные деньги материал в полезные вещи.

Никакого порядка в закупке нужных материалов сначала у нас не было. Просто каждый, нуждающийся в чем-нибудь, заявлял об этом смотрителю. Понятно, какой кавардак получался при этом, когда приходилось заказывать неведомо на какие деньги и в каких пределах и, может быть, в ущерб другим товарищам. Сама собой являлась необходимость составлять один общий список заказов с подведением общих итогов, в размере точно определенной суммы, отвечающей нашим потребностям и, конечно, после взаимного соглашения. Словом, являлась необходимость не только в самоуправлении, но и в формальном признании у нас общинной жизни, что так радикально противоречило принципу одиночной тюрьмы.

Не знаю, кто первый стал составлять списки заказов. Помню только, что их составляли то Оржих, то Похитонов и, вероятно, только в пределах «своей досягаемости», т. е. для тех товарищей, кого они могли опросить при тогдашних первобытных средствах сношения. Помнится, что иногда приходил Федоров к тому или другому составителю и просил внести в список какой-нибудь новый предмет, который нужен номеру такому-то, очевидно, жившему за пределами досягаемости. {109}

Появились, таким образом, сами собой первые зародыши нашего старостатства, которое, как и в истории первобытных обществ, сначала было самозванным. Брались за это люди, которые хоть что-нибудь смыслили в материалах и в приблизительной оценке их.

Немало неурядиц пришлось пережить при урегулировании наших хозяйственных отношений, — неурядиц, без которых в наших исключительных условиях и невозможно было обойтись, тем более, что все мы были с заковской народников 70-х годов. А они, как известно, выше всего ставили отвлеченные принципы и, устроявая совместную хозяйственную жизнь, способны были постоянно создавать какого-нибудь «принципиального тельника», как это было, по словам Каронина (Петропавловского), в Борской колонии.

Больше всего смущал нас вопрос не о том, сколько денег я могу иметь в своем распоряжении и как располагать ими согласно своим пробуждающимся нуждам, а какое я имею право на выдел себе той или другой доли из общей ассигновки, т. е., выражаясь громкими словами, смущала не экономическая, а юридическая сторона дела.

И сколько же копий было переломано во имя этой юстиции!

Помню на этот счет одну презабавную стычку, которая произошла у меня тогда с И. Л. Манучаровым.

Я был в это время ярым коммунистом и думал, что все, что поступает в нашу общину, принадлежит одинаково всем безраздельно. Манучаров же был не менее ярым индивидуалистом и отстаивал свою долю из общего котла. При архаическом способе выписки, о котором я только что сказал, он купил себе маленькую бутылочку лаку (в 12 коп.), так как делал в то время изящные ажурные вещицы и лакировал их. Для какого-то пустяка понадобилось и мне немного лаку. Мы еще были разъединены друг от друга, и я гулял только с ним. Вместо того, чтобы взять лаку, сколько было нужно, как это делают серьезные люди, как это делали и мы сами впоследствии, — тем более, что мы с Манучаровым были дружны, а он всегда услужлив, — мы устроили с ним жестокую баталию по вопросу о том, имею ли я право на лак, который он выписал себе. Поломавши достаточно копий, может быть, в течение не одного дня, мы, как водится, остались каждый при своем. А так как спорный лак присутствовал здесь налицо, то Манучаров, подавая наконец его мне, сказал

— Даю вам свой лак в виде дружеской услуги.

Я же, принимая его, отвечал: {110}

— Беру его, как лак, принадлежащий мне столько же, сколько и вам.

К этой именно эпохе относится одна из эпиграмм Г. А. Лопатина, хотя и выпущенная по другому поводу, но вполне приложимая и к нашему инциденту.

В клубе страшный кавардак:
Всюду слышишь: лак да лак!
И сам черт едва ли скажет,
Кто кого темлаком мажет.

XV.

Как бы то ни было, постепенно урегулировалось и наше общественное хозяйство. Способность к самоуправлению никому и нигде не дается от рождения. Она точно так же, как и все навыки общественной жизни, приобретается только путем опыта и после предварительных ошибок и конфликтов.

Уже в 1891 году я получил формальное избрание на царство и 9 месяцев вел наши хозяйственные дела. Как раз в это время, независимо от ремесленных нужд, расширялись в огородах наши средства сношения друг с другом, сначала посредством щелей, а затем окошек, о чем я уже говорил ранее. И необходимость во взаимных сношениях и переговорах по делам ремесленным, в частности, по выписке материалов,— необходимость, которую наша администрация сама видела и понимала,— сыграла большую роль в деле разрушения начальственных преград к этим сношениям.

Даже ранее, чем окна были устроены, мы могли уже менять товарища по прогулке так часто, как это было нужно. И я отлично помню то впечатление, которое я пережил впервые, когда, по делам своей службы, встретился в один день ровно с 6 лицами,— с кем непосредственно, а с кем только в окна. Это было тоже «событием» в своем роде, настолько редким и внушительным, что оно ярко представляется и до сих пор.

Приступивши к самоуправлению робкими шагами, мы скоро вошли во вкус этого дела и расплодили у себя разных «мейстеров» в таком же количестве, как и в древней германской Gemeinde, где бывал иногда даже танцмейстер, заведовавший народными играми.

У нас одно время их было целых четверо, т. е. *пятая часть нации состояла из властей*. Один заведовал ремеслами, другой библиотекой, третий кухонным делом, четвертый прог улками.

Меню мы начали составлять сами гораздо раньше, чем появились окошки для взаимосношений. А так как сношения {111} междуугольные были столь же затруднительны, как и международные, то долгое время меню составлялось по очереди: на неделю в одном углу, на другую в другом и т. д. Потом, когда наши связи установились на дворе, появилось «особо на сей счет уполномоченное лицо», которое, составивши огромный список блюд с вопросами: «кто чего любит и чего не любит», произвело всенародную желудочную анкету.

Запасшись достаточным материалом, конечно, с весьма патетическими дифирамбами в пользу или против того либо другого блюда, это должностное лицо приступило к осуществлению своих функций. Задача эта была не только не легкая, но прямо-таки неразрешимая. Против какого-нибудь картофельного киселя на молоке стояла, напр., надпись: «хочу, чтоб назначали его хоть каждый день», и рядом другая: «требую, чтоб это омерзительное тесто ни разу не появлялось на столе, а употреблялось исключительно для переплетных работ».

Таких, уничтожающих друг друга, надписей можно было насчитать немало под многими блюдами.

Затем менюмейстер, решивши так или иначе свою задачу и совершивши истинно гражданский подвиг при осуществлении своего глубоко продуманного пищевого расписания, получал со всех сторон должное мздовоздаяние: один упрекал его за то, что он не внял его голосу и назначил-таки неудобную ему колбасу, другой вопиял, почему его любимое блюдо (вареники) снято с очереди и ни разу не записано на целых 2 недели!

Так эти менюальные невзгоды и продолжались затем непрерывно, вплоть до конца. В основе, конечно, лежала невозможность держать на одном тощем столе лиц разной комплекции, с катаральным желудком и с благоприобретенными тюремными недугами.

В последний год я предложил было разбить все наличное население на пары с более или менее подходящими вкусами, с тем, чтобы каждая пара составляла меню на 2 недели по очереди. Попробовали. Но, конечно, нашлись недовольные, которые сорвали реформу и предпочли народовластию прежнее единоначалие.

Все эти названные должности то сливались, то опять разъединялись. Функции променадмейстера были похоронены, наконец, за ненадобностью, а оставшиеся три должности потом слиты в одно лице, когда народу стало немного и дела сократились.

А между тем, как это ни странно, дела старосте было немало. И чтобы выяснить это, я опишу наши денежные отношения. {112}

XVI.

Денег, конечно, нам в руки не давали, и мы все время имели только «текущий счет». Когда произошла реформа с золотой валютой, мы нарочно просили смотрителя, чтобы он дал хоть взглянуть на современные золотые монеты, и он благодушно раскрывал свой кошелек и показывал нам деньги в натуре.

В первые же годы, как только организованы были мастерские и все начали работать, мы расходовали на них от 350 до 450 руб. в год. Эту сумму нужно было не только израсходовать, но и расписать на самые дробные доли, от 5 к. и выше. Если бы велось хозяйство, напр., в 45.000 руб. и закупки дела-

лись не на копейки, а на рубли, счетоводный труд не был бы тогда тяжелее и сложнее. У нас были также и «переводы» паев одного лица на другое и денег одной категории в другую.

Последнее непонятно для лиц, знающих деньги только одной категории, покупательная сила которых почти безгранична. У нас же были деньги четырех категорий, причем сила тех или других денег была действительна только в одной, строго определенной области. Напр., на «рабочие» деньги можно было покупать все, что касается ручного труда, но ничего хлебного либо книжного.

Вторая категория денег была «хлебные», которые образовались из накоплений остатков от ежедневной порции хлеба. Полной порции хлеба, которую начальство ценило в $5\frac{1}{4}$ коп. на день, кроме Лукашевича, кажется, никто не брал, а недобранную долю каждый перечислял в деньги и записывал на текущий счет. Эти гроши и даже $\frac{1}{4}$ коп. староста должен был суммировать и на образовавшуюся в течение недели или месяца сумму делать закупки всего, что можно было поставить в группу съестных припасов. А закупая продукты по индивидуальным заказам, он опять должен был расписывать их на индивидуальный счет каждому заказчику. Появились эти хлебные деньги, кажется, в 1893 году. Но войну из-за них пришлось вести немалую, потому что очень часто нам угрожали отобрать их у нас, т. е. лишить нас права превращать хлебные порции в деньги.

После них появилась третья категория, деньги «заработные». Начало им положил Гангарт, который заказал нам упомянутую раньше ограду и заплатил за нее всего 25 руб. Но этот опыт не удержался и, может быть, под влиянием нашего пожертвования в пользу голодающих. Окончательно же было признано за нами право получать плату за свои труды значительно позднее, может быть, уже в 1899 году. Работать, конечно, мы могли не на рынок, а только для своих непосредственных заказчиков — чинов (113) нашей администрации, высших и низших. Но в последние три года унтерам запретили заказывать нам что-нибудь, очевидно, из опасения, что мы подкупим их посредством своих изделий.

Цены теперь мы уже назначали сами, по взаимному соглашению, большею частью по окончании работы, и цены наши всегда были очень умеренными.

«Заработные» деньги обладали универсальной покупательной силой. Но на практике мы тратили их, главным образом, на съестное и отчасти на книги. Это был главный фонд, откуда черпались расходы на именинные пироги и проч. Понятно, что текущий счет этих денег имели только те, кто зарабатывал. Но и тот, кто никогда ничего не заработал, иногда получал этот счет или в виде именинного подарка, или после «конверсии».

Да, была у нас и такая финансовая операция, хотя обозначалось этим названием совсем не то, что принято в финансовой науке. Наша конверсия заключалась в превращении денег одной категории в другую. Морозов, напр., очень редко работал в мастерской, и его пай рабочих денег числился за ним номинально. На деле же он его дарил или распределял между нуждающимися по своему усмотрению. Если, напр., у меня, который работал много, «рабочие» деньги вышли все, я устраивал с Морозовым «конверсию», т. е. я передавал ему, напр., 2 руб. «заработных» денег, на которые он мог купить книгу, а он мне — столько же «рабочих» денег, на которые книг покупать нельзя было и на которые я покупаю материал.

В последнее время заработные и хлебные деньги совершенно слились в наших счетах, образовавши одну категорию денег для покупки духовной и телесной пищи.

Далее следовали деньги «книжные», которые появились у нас после 1896 года, в размере 10 руб. на брата. Их можно было употреблять только на книги и журналы. В виде исключения, они шли и на научные пособия. Так, напр., было выписано из Германии несколько гербариев тайнобрачных растений (мхи, лишайники, папоротники) и злаков.

Наконец, были еще деньги «чайные», которые образовались из оценки в деньгах «чаевого довольствия». Сначала оно давалось натурой по 3 ф. сахара и $\frac{1}{2}$ ф. чаю на человека в месяц. На эти деньги можно было покупать только те предметы, которые можно было подвести под понятие чаевого довольствия: кофе ячменный (вначале другого не разрешали) и настоящий, цикорий, какао, изделия из сахара и пр.

Эти деньги находились в личном заведовании каждого, и староста, имевший дело с 4-мя категориями денег, не касался их вовсе. (114)

XVII.

При таком изобилии и разносторонности денежных отношений, на старосте лежала масса бухгалтерской работы, тем более докучной и неприятной, что слагалась она вся из мелочей.

Притом о всякого рода покупках нужно было предварительно торговаться с администрацией: одни вещи иногда запрещались вовсе, как сера, изюм и проч., другие подозревались (множество неизвестных им технических материалов), третьи безбожно переоценивались и т. д.

В последнем отношении особенно отличался бывший у нас недавно младший помощник Парфенов, которого мы звали Голубчиком и который немалую толику положил себе в карман из денег, ассигнуемых на наши нужды. Он вздувал и вздул цены на большую часть покупавшихся нами предметов (а они были необыкновенно разносторонни) до самых крайних пределов. На наши возражения он, конечно, клялся и божился, что платил сам именно указанную им цену, и что, напр., 1 ф. чистого меда (не сотового) стоит именно 80 коп.

Улику против него мы, конечно, получали непосредственно от унтеров, которые сообщали нам, почему они покупают тот или другой продукт, и не подозревали, что выдают свое начальство головой. Затем, когда по уходе Парфенова его заместил более добросовестный преемник, цены на многие вещи сразу упали, точно после экономического кризиса. Наконец, по выходе на волю я ознакомился с действительными ценами в Петербурге на покупавшиеся нами продукты и притом во дни, когда о падении цен и речи не могло быть. Тогда я мог точно взвесить и учесть финансовые операции своего бывшего начальства.

Для тех, кто видел на воле настоящие перлы бюрократических хищений, деятельность нашего Парфенова покажется совсем не стоящей внимания. Для более же дальновзорких из нас, лишенных всякой арены для наблюдений, она служила, так сказать, правительственной рекламой. И мы думали, что если у нас, можно сказать на носу у высшего начальства, возможны такие фрукты, то что же произрастает вдали и в сферах, ворочающих миллионным хозяйством?

Теперь можно представить себе, как чувствовал себя староста, который в придачу к своим трудам вынужден был постоянно созерцать явную недобросовестность со стороны своих мундирных хозяев и, при каждом обнаружении той или другой проделки, лишен был возможности заклеить ее надлежащим именем. Любопытно, между прочим, что когда Яковлев сделал покушение на наше самоуправление в 1902 г., то его удержало (115) опасение жалоб к высшему начальству с нашей стороны на практикующееся у нас заглазно воровство. Защищаясь от наших подозрений, они часто ссылались на департамент, который будто бы запрещал представлять нам подлинные счета на заказанные нами покупки.

Мне лично пришлось более $\frac{1}{2}$ года вести дело с этим Голубчиком. К числу прочих его добродетелей относилось, между прочим, и то, что язык у него был всегда, как говорится, без костей. Он столько же донимал нас, задерживая наши заказы по целым месяцам, сколько потешал своею изворотливостью, подыскивая причины, почему он не купил вовремя того, что заказано. Он не мог, конечно, сказать, что деньги, выданные ему, напр., на покупку книг для нас, он прокутил или употребил на сюрприз для своей строптивой супруги. А говорил примерно:

— Знаете, перед праздником теперь всюду такая масса покупателей, что, напр., у Вольфа они стоят целыми вереницами, ожидая своей очереди, и потому я никак не мог пробраться в магазин.

И притом — добродушная улыбка и мягкий заискивающий голос, точно он действительно рад служить мне всей душой да никак не может.

Однажды все-таки он проврался в лоск. Я долго добивался купить «Вестник Финансов», официальный орган министерства финансов, который нам с 1894 г. лет 8 подряд присылали из департамента даром, но потом почему-то прекратили. Теперь время было такое, что периодические издания все взяты были жандармами под подозрение. Но не могли же они сказать нам, что даже правительственное издание, безусловно лишенное «политики», они считают опасным для нас. И вот Голубчику ищет по всему Питеру, где бы найти «Вестник Финансов», и не может найти.

— Не появляется, — говорит, — в продаже, а печатается только для подписчиков.

Так как почти все книжные сношения они вели через магазин Цинзерлинга, то я просил поручить эти розыски самому Цинзерлингу. Голубчик привозит ответ:

— Я поручил.

Проходит опять месяц-другой. Я спрашиваю:

— Ну что же?

— Да Цинзерлинг, говорит, тоже об этом журнале ничего не знает.

Тогда я беру старый № «Вестника Финансов» и показываю Голубчику. Там напечатано на первой странице от редакции: (116) «подписка принимается в книжном магазине Цинзерлинга». Понятно, Голубчик объяснил это недоразумением, а «Вестника Финансов» я так-таки и не получил вплоть до самого ухода из Шлиссельбурга.

Пока шла «выработка политических форм быта», пока устраивались наши взаимоотношения на принципиальных основаниях и регулировались отношения к непосредственным властям, наша экономическая жизнь шла своим чередом.

Лично я ежедневно часа 3, а то и более, простаивал за верстаком, что-нибудь созидал и приобретал те полезные навыки, которые так мало распространены в интеллигентной среде и которые я считаю в высшей степени полезными в интересах общего развития, не говоря уже о приобретении особой верности и тонкости зрительных восприятий. На мой взгляд, экономическую оценку — не в хозяйственном, а в научном и даже философском смысле — окружающей нас житейской обстановки могут правильно сделать только те, кто знаком хоть отчасти с производством этой обстановки. Самую квалификацию ручного и машинного труда, вообще, может сделать вполне отчетливо только человек, познавший на опыте некоторые отрасли этого труда.

Точно также и познание всех сокровищ растительного царства, окружающих нас всюду, доступно только лицам, знакомым хоть немного не только с ботаникой, но и с ботанической техникой, т. е. с выращиванием растений.

Одно из первых изделий для *собственных нужд*, которое я помню и в создании которого я принимал участие, были этажерки. Это было в то же время первое приобретение, которое мы внесли в пустое жилище. Оно, как выходец с того света, совершенно не гармонировало с обстановкой, среди которой оно очутилось, и разрешено оно было не без долгих хлопот. Мы уже имели столовую и чайную посуду, несколько тетрадей, несколько книг, чайницу, сахарницу (собственного изделия), словом, некоторую утварь, которую приходилось держать на полу, так как она не помещалась на тесном столе. В виду этого разрешили, наконец, сделать 3-х-угольные этажерки в 3 полки, по одной на камеру, с тем, чтобы они стояли в углу и занимали как можно меньше места.

Соединенными усилиями, кто в токарной, кто в столярной, мы обставили такими этажерками все жилые камеры.

Казалось бы, что раз принцип «пустоты» был нарушен и {117} в камере появилась одна принадлежность человеческого жилья, то ничего не было легче расширить этот принцип и завести мебель вообще. Но почему-то, привыкнув к своей берлоге, мы совсем не гнались за ее обстановкой и далеко не спешили обзаводиться ею. Может быть, инстинктивно чувствовалась временность этого жилища, а может быть, столь же инстинктивно чувствовалось, что неуместно декорировать самому ту клетку, в которую ты заперт насильно и которая возбуждает только одно единственное желание — покинуть ее как можно скорее.

Как бы то ни было, мы довольствовались вначале самыми необходимыми и самыми элементарными житейскими предметами.

Правда, тормозила много и сама администрация. Уже долго спустя после этажерок было дозволено сделать еще один шаг вперед и устроить деревянные столечницы на железный стол, который очень холодил руки и давал постоянно неприятное ощущение при занятиях. Но, когда Мартынов устроил эту столечницу для Веры Николаевны с 3 выдвижными ящиками, ее не допустили, как роскошь. Точно также потом разрешено было сделать по табурету в камеру, но именно табурет, а не стул.

Однако и впоследствии, когда все эти преграды пали, мы вовсе не спешили превратить свою тюрьму в меблированные комнаты. И я, напр., обзавелся мягким креслом довольно патриархальной конструкции только лет 7 назад, да и то, так сказать, по случаю, ибо делал его, собственно, для Веры Николаевны.

На первых порах наше местное начальство, может быть, потому сдерживало нас, что наблюдало здесь свои выгоды. Раз мы взялись работать, то будут какие-нибудь изделия. А раз нам своих изделий сбывать некуда, то ими будут пользоваться они, наши охранители, которым отданы были мы в кормление.

Действительно, на первых порах они кой чем поживились, и старшие чины и младшие. Даже в департамент отсылались целые партии наших изделий, под тем предлогом, что он интересуется нашими работами. И чиновники департамента, наверное, эти сувениры не выпускали на рынок, а распоряжались ими согласно правилу: «даровому коню в зубы не смотрят».

Из более крупных изделий еще я помню партию шкафов, штук 12, которые нам заказали для унтер-ов. На этих шкафах я впервые приобрел столярную опытность. Позднее делали другую партию маленьких шкафчиков для казармы, чуть ли не в 50 штук, и за них, кажется, дана была плата.

Из изделий, так сказать, общественного характера назову школьные парты, над которыми нам немало пришлось ломать {118} голову, потому что мы совсем забыли размеры тела детей школьного возраста. И наконец детские игрушки, которые мы делали на елку для жандармских детей и в которых проявили много творческой фантазии, не находившей нигде приложения.

Интереснее всего тут было то, что мы снабжали шкафами унтеров и солдат, а свои собственные вещи в камере держали в постоянной пыли. На просьбы же разрешить нам построить шкафы нам упорно отказывали, ссылаясь на то, что департамент разрешил только этажерки и такие изделия, которые не бросались бы в камере в глаза (кому?). Очевидно, им хотелось держать нас пожизненно и в то же время в таком помещении, которое имело бы вид тюрьмы, а не жилой комнаты. И только в последние годы мы почти все обзавелись шкафами элементарного устройства.

Но и тут без препирательств не обходилось. Напр., у Стародворского долго стоял в спальне шкаф собственного изделия со стеклянными дверцами. Когда в 1902 г. начались репрессии, к нему пришли с требованием, чтобы он или убрал этот шкаф из спальни, или вынул стекла, так как их де опасно держать в той камере, где заключенный спит.

Это было время, когда режущие инструменты стали отбирать у нас на ночь. Стекла же, очевидно, причислялись к таковым, и притом стекла, бывшие только в шкафу, а не в окнах.

Сказать кстати, они так добросовестно исполняли свои «обязанности», что даже после объявления нам манифеста о свободе, в последние 2 дня нашего заключения вахмистр столь же усердно обходил камеры вечером и спрашивал — сдать ножи.

ХІХ.

Тем не менее, подводя итоги внешней обстановке, я должен сказать, что оставил свое жилище совсем не в том виде, в каком нашел его при входе и описал выше. Поэтому, коснувшись его благоустройства, я скажу кстати и о всех переменах, происшедших здесь.

Когда я уезжал, я располагал почти ежедневно 4-мя камерами: в одной спал, в другой жил днем, в 3-й имел столярный верстак, в 4-й был склад материалов для коллекций. Сверх того, я часто заходил в «Музей», где тоже хранился материал, а затем мог работать, когда угодно, в токарной, переплетной либо кузнице.

Переходы из камеры в камеру не стеснялись даже и тогда, когда меня запирали тотчас по входе. Нужно было только постучать, чтоб отворили дверь. Переход в спальню совершался {119} регулярно около 9 час. вечера, когда вахмистр приходил запираť тюрьму и переводил всех на «места».

В жилой камере, которая именовалась рабочей и в которую я возвращался из спальни в 7 час. утра, у меня были два шкапа, длинная полка, сплошь заставленная всякой рухлядью, стол с выдвижным ящичком, — точнее, 2 стола, связанные друг с другом под прямым углом, табурет и кресло. Один шкаф был набит всевозможным житейским и техническим хламом, который постепенно накаплился в расчете, что всякая мелочь может пригодиться при моих разнообразных работах. Когда нет доступа в лавку, где можно найти все, что потребуется, поневоле делаешь запасы. Немало было и всевозможных пузырьков с химическими и техническими веществами, начиная со спирта, который я брал в аптеке и постоянно имел в небольшом количестве.

Через год или два после моего приезда черная краска стен, по нашей просьбе, была заменена серой, тоже на масле, а пол выкрашен охрой. В серую краску вначале все-таки клали избыток сажи и делали ее темно-серой. Теперь камера приняла вид комнаты больничного или канцелярского типа. И она была бы прилична, если бы окраска обновлялась не так редко.

Матовые стекла лет через 5 заменили прозрачными и таким образом дали возможность не только читать в пасмурные дни, но и держать в камерах некоторые цветы из тех, что не страдают от недостатка света. Для этого на наклонных подоконниках мы сами понаделали горизонтальных полочек. Одновременно матовые стекла заменены были светлыми повсюду, и на коридоре и в старой тюрьме, где в это время уже помещались мастерские и где работать при отсутствии света было совсем плохо.

Так как вентилировалась камера через маленькую форточку в окне очень дурно, особенно летом, когда температура наружного и внутреннего воздуха выравнивалась и всякая тяга прекращалась, то мы долго хлопотали о разрешении открывать окна. Рамы были устроены распашные, и, значит, ничто не стоило открывать их для освежения воздуха хоть на время отсутствия жильца. Но это сочли почему-то излишней роскошью, и еще до моего приезда открывающиеся части были наглухо прибиты огромными гвоздями к подоконнику. Одно время начальство колебалось было и стало открывать половинку рамы, для чего был приспособлен особый ключ. Но потом, должно быть, сочли это опасным и устроили так, чтобы открывалась верхняя треть рамы в виде фортки, причем жилец мог открывать и закрывать ее сам когда угодно.

Наконец, из интересов надзора, изменили самую форму камеры: задние углы ее заложили кирпичом, чтобы в них не мог {120} прятаться заключенный от заглядывающего в глазок дежурного. От этого камера значительно уменьшилась в объеме и из 4-х-угольной превратилась в 6-ти-угольную.

Ремонт ее производился неаккуратно, по усмотрению местной администрации: то через 2 года, то через 5 лет. Некоторые же камеры, занятые под мастерскую, не ремонтировались лет 10 и были очень грязны.

Мытье полов лежало на нашей обязанности. На коридоре же и в мастерских подметали солдаты и при этом страшно пылили. На коридоре асфальтовый некрашенный пол прежде подметали просто мокрой шваброй. Полковник Обух ухитрился вычернить его и натереть графитом. От этого ежедневное подметание всухую давало массу пыли, а при натирании графитом раз или 2 в две недели мельчайшая графитная пыль проникала всюду, особенно в нижних камерах, и портила все белые вещи. Зато коридор блестел и начальственный глаз радовался, что и требовалось.

Для заглушения шагов положены были по всему коридору вверху и внизу веревочные дорожки. Вечером и ночью дежурные надевали какую-нибудь мягкую обувь, в которой подкрадывались к двери кошачьими шагами. Тогда в тюрьме наступала абсолютно тишина, и она казалась мертвой, как могила.

XX.

В нашей жизни, лишенной смысла и цели, играли громадную роль случайности. И какая-нибудь первая открывшаяся возможность наталкивала сама на новые, следовавшие за нею.

Еще в самые суровые времена, когда у нас ничего не было, покойный Юрковский подал мне мысль, что лампа есть не только орудие для освещения, но и очаг, которым можно пользоваться для кулинарных целей. Любопытно, что до такого гениального открытия было не додуматься самому.

И я помню свой первый опыт в этом отношении, когда я сварил в медной луженой миске несколько капустных листьев и, сбобривши их жировым наваром, снятым с вермишелевого супа, нашел свое изгнотвление заслуживающим внимания.

На другое лето кто-то также подал мысль о варенье и уверял, что варенье из моркови может заменить если не клубничное, то другое какое-нибудь попроще. Было очень соблазнительно убедиться в этом собственным опытом. Целую неделю я копил сахар, которого тогда выдавали по 1 кусочку утром и вечером, накопил 4 куска, расплавил в оловянной солонке и начал варить вместе с морковью. Таганца тогда еще не было, (121) и все время, пока сварилась морковь, приходилось держать солонку над лампой в руке (через полотенце).

Когда техника пошла у нас в ход, конечно, тотчас устроили жестяные конфорки, которые прямо надевались на стекло лампы, как у самовара, и действовали для небольшой посуды прекрасно. Но и стекло же зато лопалось при этом!

Когда введено было электрическое освещение (около 1895 г.), лампы оставили нам для кулинарных целей, конечно, не без борьбы, но оставили с тем, чтобы мы и стекла и керосин покупали на свой счет, т. е. в счет сумм, ассигнованных на ремесленные нужды. Тогда мы сочли невыгодными такие конфорки и заменили стекла трубой из жести или листового железа с раструбом, на который прямо можно ставить кружку, жестяную сковородку или тарелку. Кто не довольствовался этим, купил себе керосиновую «кухню». Я же до конца ламповых дней, которые были пресечены во цвете лет, пользовался только лампой.

Точно также, когда мы подошли впервые к плите для целей клееварения, то сейчас же смекнули, что было бы непростительной узостью — ограничивать функции плиты исключительно только этой непрезентабельной ролью. Дорого начало. И там, где посеяно здоровое зерно, на хорошей почве вырастет дерево. Так и функции нашей плиты скоро расцвели пышным цветом, и возле нее в конце концов делалось все, для чего только требовался нагрев. Даже накаливалось железо в топке с целью обработать его в нужное изделие, так как кузницы тогда не было, и все просьбы об открытии ее разбивались об упорство департамента: слесарно-кузнечное дело в голове наших охранителей тесно сплелось с деланием одних отмычек.

И вот, начавши с самых скромных опытов, мы довели прогресс до того, что в иной летний день варилось на плите до 30 ф. варенья, уже настоящего варенья, в 6—8 посудилах. Варить нужно было всем сразу, потому что ягоды доставлялись гуртом и всегда в таком виде, что хранить их даже до завтра было рискованно. И я не видывал в жизни более умирительного зрелища, как то, когда наш подполковник Ашенбреннер, обливаясь потом, с более чем розовой лысиной, весь сияющий и смакующий, доваривал свою ягодную порцию и говорил:

«Кажись, довольно!»

XXI.

Кулинарные затеи и увлечения, как они ни были курьезны, не были простым баловством. Они сыграли важную роль в восстановлении и поддержании нашего физического здоровья. {122}

Все наши недуги, от больших до малых, развивались на почве недостаточного питания. А это питание, как и везде в тюрьмах, вообще говоря, доставляло только минимум веществ, необходимых организму. Фиктивно доктор считался наблюдателем над кухней. Но самое большее, за чем он мог следить, это — за доброкачественностью продуктов. Да и та, конечно, часто хромала. Вникать же в то, чтобы стол был достаточно разнообразен и доставлял организму потребное количество белков и углеводов, для него было непосильной и, может быть, даже нежелательной задачей. Тем более, что здесь он тотчас же сталкивался с явно выраженным стремлением местной администрации — сэкономить все, что только возможно.

Между тем, здоровый организм, не замечавший серьезных лишений, часто чувствовал, что ему чего-то недостает. Животное, которое ищет себе корма, в таких случаях инстинктивно тянется к тому, в чем организм нуждается и к чему чувствуется стремление. Нам искать было негде и нечего. Как бы ни бедно питался человек на воле, его недостаточное питание не может быть в такой степени хроническим и неизменным, как у нас. Хотя изредка да удастся ему совершенно случайно где-нибудь съесть вещество, непрерывный недостаток которого в организме ведет к его разрушению. Мы же не могли рассчитывать ни на какое «изредка». И я помню то необыкновенное влечение, почти жадность, которую я почувствовал к клюкве и рябине, когда я впервые наконец получил их после долгого воздержания. Для меня это казалось тем более неожиданным и странным, что я никогда ранее не был любителем этих ягод, как и всякой кислятины. Эту «жадность» я и теперь не могу себе объяснить хорошенько. И мои сведения в физиологии питания не дают мне ключа к этому, хоть я и знаю, как важны, напр., для нашего организма самые ничтожные дозы литиевых, фтористых или мышьяковистых соединений.

Вот почему наши варенья, сколько бы мы их ни наварили, распределенные на целый год, не только не были для нас лакомством в обще обиходном смысле, но были самой настоятельной необходимостью.

Вот почему также за несколько лет ранее этого, как только мы стали сами составлять свое меню, в него вносили часто такие необыкновенные комбинации, как «котлеты с клюквой», т. е. сухая котлета под гарниром из клюквы.

И только получивши возможность делать для себя из овощей и разных других продуктов прибавочные ингредиенты к нашему «пищевому довольствию», мы могли чувствовать себя гарантированными от неизбежных последствий недоедания. И только тогда прекратились цинготные заболевания, которые до сих пор были у нас самым обыденным явлением.

XXII

Лично для меня плита служила еще источником и пособником в осуществлении разных технических замыслов. Не будь огня, сидел бы и не мечтал. А раз есть огонь, он сам собой наталкивал на мысль: «а что, если я это вещество попробую нагреть или расплавить?»

Столярное дело познакомило меня не только с деревом и его сортами и свойствами. Дерево в нем — только материал. Самое же главное — отделка, где столяр протравляет, мажет, красит, полирует и вообще орудует разными жидкими и полужидкими веществами, почерпая сведения для своих операций из области химической технологии. Когда практика натолкнула меня на эту сферу интересов, я тотчас почувствовал, что неизбежно вступить в некоторое знакомство с химией.

Химия в наши времена была наукой крайне подозрительной: занялся человек химией, значит, наверное, динамит делает. Недаром же наш просвещенный прокурор Нежлодов ставил Марии Ал Ананьиной в пример того, как нужно понимать образовательный характер этой науки, квартирную хозяйку подсудимой Шмидовой. А именно, когда та увидала у Шмидовой под кроватью корзинку с химической посудой, она пошла и донесла об этом в полицию. Пускай, мол, там эта всеведущая разбирает, настоящая ли эта химия или «химия» в кавычках. Не диво, что просвещенный тогда столь сведущими людьми, как этот знаменитый юрист, я относился к химии с особенной осторожностью и робостью.

Наше местное начальство стояло, конечно, на точке зрения полицейской и потому вовсе не расположено было помогать нам в столь преступных занятиях. Тут выручил тогда доктор Безроднов, и через него Морозову и Лукашевичу удалось впервые добыть самые необходимые реактивы в минимальных, конечно, количествах, равно как и самую химическую посуду.

Сначала Морозов сам занимался с Лукашевичем, а потом под его руководством и я прошел самый элементарный курс химии и проделал все простые опыты, возможные в нашей весьма импровизированной «лаборатории». Тем временем с химической технологией я поменьше знакомился теоретиче-

ски. И всякий научный опыт, который открывал мне Морозов, я воспринимал и оценивал только с точки зрения задней мысли: «а к чему бы {124} это можно было приложить?». Если реакция давала цветной результат — «а нельзя ли тут краску получить?». Если пахучий — «а что, если бы духи приготовить?». Если сладкий — «хорошо бы утилизировать» и т. д.

При такой настроенности ума, иметь под боком плиту было чрезвычайно соблазнительно.

И вот потянулись у меня один за другим самодеятельные опыты: то перегонки эфирных масел из пахучих растений, то приготовления сахара, точнее — патоки, из своей свекловицы, то превращение картофельного крахмала собственного же изделия из своего картофеля в декстрин и патоку, то наконец спиртоделие.

XXIII.

Этому последнему, в виду его, так сказать, пикантной роли в практике, нужно посвятить особую главу.

Когда я приступил к нему с техническим интересом, уже некоторые из товарищей давно прошли эту науку практически и успели потерпеть неизбежное крушение: «завод» был отобран и уничтожен, а наблюдатель Федоров, допустивший это, был прогнан.

Затем был значительный перерыв, и новая администрация забыла грехи, бывшие при старой. Так как я свои знания почерпал не из прежней изжитой практики, а из тома о винокурении, то я считал нужным проделать все, что оттуда извлекал. Я гнал водку из моркови, из свеклы, из корней вьюнка (они очень крахмалисты, и их расплодилось у нас видимо-невидимо), из патоки, покупной и своей собственной, из купленного виноградного сахара, конечно, из картофеля, хлеба и разных ягод.

Последнее оказалось всего практичнее и всего удачнее.

Дело в том, что параллельно винокурению у меня шли опыты виноделия или приготовления фруктовых вин из рябины, крыжовника, малины, земляники, вишни и черной смородины. Делал и сидр, но неудачно, как и следовало ожидать от наших яблок. Вина же удавались хорошо. При их приготовлении получалась масса спиртуозных выжимок, которые ничего не стоило поместить в перегонный аппарат и получить ягодную водку. Это было тем более удобно, что в нагреваемой жидкости не было ничего клейкого, что прилипало ко дну «куба» и пригорало, как это бывало с хлебным затвором.

Первые опыты были, конечно, грубы и часто увенчивались смехотворным результатом. Когда с одним из подобных опытов, после многих более удачных, я расположился на плите с холодильником из снега, дежурный унтер, очевидно, уже {125} не раз слышавший мои преступные запахи, сбегал за офицером — младшим помощником, и тот произвел дознание. Я сказал, что делаю опыты спиртоделия, но неудачные, и в удостоверение показал, что получается в результате. Получалась тогда уксуснокислая жидкость со всякими негодными примесями, благодаря сильному жару плиты и очень бурному кипению.

Очевидно, за такие опыты нельзя было преследовать. Но я не стал подвергать себя новому риску и перенес свою деятельность в камеру, где можно было скорее рассчитывать на недостаток дозора.

После оказалось, однако, что дозора и там было достаточно.

Спать новый перегонный куб, применительно к лампе, ничего мне не стоило. Устроен он был из жести самым экономным образом. Я взял две жестянки от монпансье Ж. Бормана и, надевши их друг на друга, спаял. Получился глухой цилиндр. В одном дне его я сделал круглое отверстие и пригнал к нему наглухо маленький «шлем» с узким горлом, через которое наливалась жидкость посредством воронки с короткой боковой трубкой. Другая коленчатая трубка, примерно в 9 + 4 вершка длины, одним концом надевалась на эту боковую трубку куба, а другим погружалась в пузырек. Куб ставился на лампу, а лампа у раковины водопровода в таком расстоянии от крана, чтобы струйка воды, непрерывно текущей из него, падала на середину трубки и охлаждала идущий по ней пар в жидкость. Ни в змеевике, ни в особом холодильнике не было надобности. Самый куб вмещал менее 1 литра жидкости, и потому легко сообразить, в каких размерах велось это «производство».

Продукт моего производства в виде 60—70-градусного ректификата я презентовал изредка именинникам, иногда подделывая его под форму ликера. От Безроднова я не скрывал своих опытов и даже брал у него Траллеса для определения крепости перегонки в градусах.

Тем временем П. Л. Антонов, хотя редко, но сразу делал «зарядь» в крупных размерах и накануне какого-нибудь праздника сразу получал то количество, которое нужно было, чтобы всех участников торжества привести в приятное расположение духа. Он делал это так ловко, что дежурные, которые видели, как мы пили что-то во время «братской трапезы», оставались в убеждении, что все это плоды моей фабрикации, как уже давно патентованной.

А потому, когда после истории 1902 г. явился ревизор, они привели его в мою рабочую камеру, когда меня там не было, и предали в его руки мой игрушечный «перегонный куб» и множество разных подозрительных жидкостей, в том числе бутылки (126) с ядовитыми винами и 1 банку с моченой брусничкой. Спирту, и при том очень слабого, найдено было около 3—4 рюмок. Все это, как сказал мне вахмистр, было запечатано и отправлено в Петербург «для анализа». Было бы любопытно приложить сюда протокол дознания специалистов, если они были призываемы к осмотру моей жидкости.

Вина, конечно, были выпиты за мое здоровье, так как, могу сказать по совести, они были очень недурны, я же, увы, не получил ни малейшего вознаграждения за тот сахар, который был затрачен мною на это производство из собственного чайного пайка.

XXIV.

Правоторов говорил после, что в департаменте были очень скандализированы тем, что в единственной тюрьме, какая находится в ведении министерства внутренних дел, завелись преступные занятия, которые недопустимы ни в какой тюрьме, а на воле ведут к прямому конфликту с акцизным ведомством. В виде кары за это мы были лишены бесповоротно и ламп и керосиновых кухонь. А усердствовавший от себя Яковлев постарался надеть намордник даже на чугунок, которая стояла в ванной комнате и топила весь ванный день. До этого времени на нее иногда ставили что-нибудь, когда мывшийся там хотел, например, заварить себе чай или разогреть обед.

При моих разносторонних занятиях,— я как раз в это время запаивал семена и насекомых в стеклянные трубочки,— запрещение огня было огромным лишением. Только после того, как мне разрешили давать стеариновую свечку, да и то на короткое время, я был отчасти вознагражден в этом отношении. Потом свечку уже оставили у меня совсем.

Тогда же Яковлев поручил одному из временных заместителей доктора произвести ревизию всяких наших пузырьков с химическими и прочими веществами и «подозрительные» отобрать. Доктор счел для себя возможным взять на себя эту полицейскую роль, что некоторые и поставили ему прямо на вид. Но, конечно, ему отдали только разный хлам.

В последний год я снова заказал кое-что из аптекарского склада. Экспертиза моих покупок, как всегда, поручена была доктору, и их, хоть не без затруднений, все же выдали мне на руки. Здесь было, между прочим, и мышьяковистое железо, которое их пугало своим именем и которое они не решались было выдать.

Особенно комично бывало всегда положение наших властей, когда они являлись в роли вершителей наших судеб и контролеров над нашими занятиями, и при этом судили о зловерности, допустимости или недопустимости того или другого вещества, которое они впервые видят и название которого они впервые слышат. В последний раз, между прочим, был привезен кусок натрия в банке и, конечно, в керосине. Голубчик прибежал ко мне в тревоге и сказал, что хотя купили по моей записке все, но он не может выдать мне, потому что там какие-то подозрительные вещества, что-то плавают в воде в банке и т. д.

Во всех подобных случаях весьма дорого было иметь в лице доктора не только сведущего, но и самостоятельного человека, который при этом мог бы осветить немножко эти тупые и глубоко невежественные умы, от которых ежедневно и ежедневно мы чувствовали свою зависимость во всех мелочах своей жизни.

Особенно же тягостно это ощущалось, когда дело касалось научных увлечений и вообще умственных занятий.

Чтобы пресечь с корнем наше спиртоделие, Яковлев счел недостаточным лишить нас огня,— как будто перегон можно сделать как-нибудь иначе, без нагревания! Он запретил нам еще несколько веществ, которые, по его мнению, могли употребляться нами в качестве материала для этой цели. В числе них был запрещен одно время не только изюм, из которого легко делать и вино и водку, но и пшеничная мука и даже клюква. И это в то время, когда в своем огороде мы имели много разных ядов, годных для этого производства.

Поистине стоит вписать в историю тот акт «просвещенного деспотизма», которым запрещалась клюква, как вещество, могущее служить преступным целям!

XXV.

Решительно не помню, каким образом я натолкнулся на идею высиживания цыплят искусственным способом. Натолкнула ли на это какая-нибудь заметка туриста, брошенная мимоходом в описании

своего путешествия (кстати: отдел путешествий в нашей библиотеке был очень богат), или это был продукт самостоятельного замысла, основанный на общебиологических данных, не могу утверждать.

Помню только, что о производстве кур я знал тогда не больше, чем, например, о производстве крапа или марены. Мне не была даже известна та элементарная истина, что не всякое яйцо бывает с зародышем и что зародыш в яйце сохраняет жизнеспособность не больше 3—4 недель, после чего умирает. И, значит, лежалые яйца не годны для воспроизведения куриного потомства. (128)

Эта истина мне была неизвестна в то время, как я, одержимый манией открывать новые пути, решился высиживать цыплят. Я, не задумываясь, взял у жандармов пару яиц взамен какого-то ужина, подвязал их полотенцем вокруг живота и стал вынашивать на манер сумчатых животных. Это было в ноябре или декабре, когда свежих яиц вообще не бывает, и во время какой-то из забастовок, когда я сидел безвыходно дома.

Носил я таким образом эти яйца дней 10 и, что удивительнее всего, ночью их ни разу не раздавил.

После этого меня начало разбирать сомнение в успехе, а может быть, яйцо начало уже давать тухлый запах сквозь скорлупу. Только я перестал быть осторожным и днем, во время какого-то движения, разбил одно яйцо. Оно было совсем гнилое. Другое оказалось еще свежим, но, разумеется, без малейших признаков зародыша.

Этот смехотворный опыт, должно быть, не пропал даром. Всегда бывало так, что когда человек начнет размышлять о причинах неудач, то он доищется их и устранит.

Должно быть, лет пять прошло после того. У нас были уже всевозможные журналы — из тех, что ценою подешевле, содержанием полетче. Вероятно, в них где-нибудь в отделе «Смеси» я встретил заметку об устройстве инкубаторов, но чрезвычайно краткую: она давала мне одну идею и не давала ничего для осуществления ее.

Ах, если бы все авторы этих многочисленных заметок в отделах «всякая всячина» и пр. давали себе надлежащий отчет, в какие дебри иногда может попасть их заметка и какие творческие силы разбудить там! Они были бы не так небрежны, как это ведется до сих пор, и старались бы кратко, но точно дать все существенное о том предмете, о котором взялись говорить!

Я принялся осуществлять свой инкубатор, памятуя только одно, что нужно вместилище, где бы лежали яйца, и возле них какой-нибудь источник тепла. Лучше даже не возле, а именно над ними. В тюрьме было водяное отопление и калориферы. Естественно было сообразить, что если два аналогичных калорифера сооружу я над ящиком с яйцами, устроивши топку (лампу) не снизу, а сбоку, то я достигну своей цели. Я сделал глухой ящик в форме комода, внизу которого выдвигался плоский ящичек с яйцами, а над ним помещалось «водяное отопление». Яйца были добыты свежие от заведующего работами унтера, лампочка куплена, керосин тогда мы брали на свой счет, и операция началась.

Не знаю, как относился к моей затее заведующий, человек положительный и со смекалкой. Унтера же многие — не иначе, (129) как с иронией: «Делает, мол, яичницу и воображает, что у него что-нибудь выйдет!».

На 8-й или 9-й день яйца были осмотрены в овоскоп. Так называется простой прибор, служащий специально для осмотра насиживаемых яиц, который я сам же устроил. Оказалось, что почти во всех яйцах зародыши ясно развились: значит, дело идет не дурно!

Из 15-ти яиц только два были без зародыша, почему и были тотчас вынуты.

Не без волнения затем ждал я рокового 21-го дня. И с еще большим волнением, понятным только в тюрьме, заметил, наконец, первую наклейку: живое существо есть-таки и оно выходит из моей лаборатории!

В конце концов я получил 7 живых цыплят. Остальные 6 умерли на разных стадиях развития и два из них, должно быть, всего за день до конца инкубации.

Едва ли кому еще из куроводов всего света эта инкубация доставила столько бессонных ночей. Благодаря недостаткам аппарата, колебания температуры в нем совершались очень быстро вверх и вниз, в зависимости от внешних условий — жилища и атмосферы, равно как и от нагара на светильне. Днем я почти каждые $\frac{1}{2}$ часа контролировал ход нагрева. Ночью же засыпал тревожно, с неотвязной мыслью, как бы у меня все не застыло. А потому просыпался почти ежечасно от беспокойных сновидений, в которых то бегали по мне целые тысячи цыплят, то я давил яйца, то производил пожар и т. д.

Но с выходом цыплят из яиц мои тревоги не только не прекратились, а еще осложнились. Их нужно было согреть и пасти и, значит, посвящать им целый день, т. е. ради них превратиться в курицу.

Ко мне они привыкли с первых же дней и лезли так же, как к матке, за пазуху и всюду, где им казалось теплее, и сидели смирно только до тех пор, пока видели меня. Когда же я уходил, они поднимали крик, как это делают всегда цыплята, потерявшие матку, и оралы до тех пор, пока я не возвра-

щался успокаивать их. Если же я проводил время в огороде в их присутствии, они вертелись у самых ног с полной доверчивостью, не подозревая, что малейший неосторожный мой шаг грозит им неминуемой смертью.

XXVI.

Благодаря какому-то предрассудку, среди публики, незнакомой с делом, цыплята, выведенные искусственно, считаются бесплодными. Такое мнение очень распространено. Придержи-(130)вались его и у нас некоторые, слышавшие на этот счет кое-что. Из выведенных мною я оставил две курочки при себе, и они скоро доказали, что во всех статьях решительно ничем не отличаются от рожденных естественным путем. И только по-прежнему навсегда оставались совершенно ручными.

Со своей инкубацией я, оказывается, опоздал. Как раз в то время, когда я паял свои калориферы, у нас появились уже взрослые куры.

Прихожу я однажды в Сарай и застаю на коридоре чуть не всенародное собрание. Вся публика стоит в кружок, а в центре круга — живые и взрослые петух и курица, смущенные и изумленные не менее самой публики, потому что им ни разу в жизни не приходилось быть предметом столь явного и даже восторженного внимания и удивления. И не диво! Иной из товарищей ведь больше 10 годов не видывал вблизи и в натуре ни одной живой курицы. А когда петух, не смущаясь обстановкой, внезапно запел по-петушиному, сенсация была полная!

В виду такого неожиданного для меня появления кур, которое без всяких затруднений было решено полковником Обухом (их купили у жандармов в счет ремесленных сумм), мои инкубационные замыслы сразу утратили полцены. Зачем я буду стараться, если эта самая Марфутка, как прозвали первую курицу, высиживает летом целый выводок без всяких хлопот и в лучшем виде!

Может быть, это охлаждение интереса отразилось и на устройстве инкубатора, а затем и на успехе всего опыта.

Тем не менее первый малоудачный опыт заинтересовал меня. Раз будут у курицы свои цыплята, можно подпустить к ней еще десяток инкубаторских. Все хлопоты по выращиванию, таким образом, становятся ненужными. Но так как мой инкубатор был совершенно не годен, то я устроил другой — на иных началах.

Не буду описывать его. Скажу только, что он был, как я узнал это после, почти точной копией аппарата, изобретенного в XVIII веке Лавуазье, известным химиком, который преподнес его для развлечения Марии-Антуанете.

Известная истина: над чем в старину задумывались гениальные мужи, то теперь стало доступным уму самого обыкновенного смертного.

Этот второй инкубатор ни разу не был употреблен в дело. В нем Вера Николаевна только обшускивала иногда своих новорожденных, вылупившихся под маткой.

Выводить в нем цыплят не пришлось потому, что скоро куроводство расцвело у нас пышным цветом. Первая пара была предоставлена в собственность Веры Николаевны. А затем за (131) это дело взялись такие солидные практики, как В. Г. Иванов и М. Ф. Фроленко, которые познакомили нас скоро в натуре чуть не со всеми куриными породами, которые только известны любителям. По всему двору и всюду бродили у нас и прельщали наши взоры лангшан и виандот, плимутрок и брама, кохинки и итальянки. А разговоры между сведущими и заинтересованными лицами велись исключительно на тему о выносливости и носкости той или другой породы, равно как о величине яиц, которые при этом тщательно взвешивались.

Особенно обширно было «заведение» у Фроленки, который предался своему делу со свойственным ему увлечением, построил себе образцовый курятник с толстыми мшными стенами и одно лето вывел, кажется, до сотни цыплят.

В это время мы стояли уже чуть ли не на высоте современных куроводных знаний, выписывали специальные сочинения, трактующие об этом предмете, и даже целый год получали периодический журнал, посвященный исключительно птицеводству. Правда, журнал чрезвычайно бедный содержанием, хоть и очень претенциозный.

Но над всеми нашими увлечениями, как бы они ни были невинны и даже благонамеренны, всегда висел Дамоклов меч. Говорят, что он висел и вообще над всяким русским хозяином, который не изведает еще, какое хозяйственное благо заключается в конституционных «гарантиях» его личности и его самостоятельности.

Почти все куроводство погибло у нас сразу во время мартовского кризиса 1902 г. И только В. Иванов сохранил свое небольшое стадо еще на 1 год, но без права размножения; Яковлев не мог до-

пустить такого нарушения «порядка». Присланный к нам Сипягиным за три дня до его смерти с разными ограниченными полномочиями, он ни слова не сказал о курах. А когда пришло им время насидивать, он объявил от имени приславшего его министра, которого уже 2 месяца как не было в живых, о чем тогда мы еще не знали, что куроводству положен предел.

Из всех репрессий и запретов, какие сыпались когда-нибудь на нашу родину, запрещение разводить кур, кажется, можно отметить, как самое оригинальное и самое удивительное.

XXVII.

Как ни кратковременно было наше куроводство, оно все же внесло немало разнообразия в нашу жизнь.

Строительная деятельность расширилась у нас. И хотя мы очень были стеснены в своих клетках, все же владельцы {132} куриного стада ухитрились создать для него своеобразные апартаменты, согласно своим личным вкусам и намерениям. Постоянное пребывание возле нас домашних животных создавало вокруг иллюзию жизни и домоводства. А периодическое появление цыплят, весьма забавных в первые дни их жизни, вносило сюда даже своеобразный элемент нежности, обыкновенно совершенно чуждый той среде, где отсутствуют дети и вообще существа вполне беспомощные.

Должно быть, одним из проявлений этой эмоции нежности было разведение кроликов, которое предшествовало куроводству. Эти невинные и совершенно бесполезные у нас создания пользовались почти у всех нас особым расположением, главным образом потому, что у них постоянно рождались новые выводки, которые служили объектом нянченья и, может быть, заменяли собак и кошек, этих неизбежных спутников у старых холостяков и дев. Подобный антропоморфизм заходил так далеко, что кроличье мясо не только не поступало к нам в кухню, но и те немногие из нас, кто дерзал таким образом сокращать естественное перепроизводство кроличьей породы, слыли не иначе, как за людоедов. К цыплятам такой нежности уже не питали, и молодые выводки, достаточно подкормленные, поступали к именинному столу. Но на их мясо посягали далеко не все.

Мысль о наиболее рациональном опыте инкубации все же не была заброшена мною. И так как в птицеводной и проч. литературе (например, в журнале «Хозяин») я начитался сведений о надлежащем устройстве аппаратов, то я переделал еще раз свой инкубатор, принявши во внимание все удобства и предосторожности, которые мог осуществить при своих ограниченных средствах. Даже керосиновую лампу из жести я спаял сам. Инкубационный ящик я покрасил несколько раз масляной краской и придал ему вековую прочность. Но, увы, ни разу мне не пришлось испытать его в действии, так как всякое куроводство тогда же было пресечено в корне.

Уезжая из Шлиссельбурга, я подарил этот прибор священнику (давно уже покойному) и теперь не знаю, куда он делся, и вспоминаю о нем с сожалением. {133}

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пеключительный эпизод.

«В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений».

Пушкин.

I.

В 1897 г. мы впервые узнали о том, что в Петербурге существует Подвижной Музей учебных пособий, основанный еще в 1894 г. Где-то в журнале, уж не припомню каком, попалась краткая заметка о нем и о характере его деятельности. Обративши на него внимание, я сообщил некоторым из товарищей мысль о том, что его коллекциями могли бы воспользоваться и мы.

Незадолго пред этим департамент запретил нам получать книги из общественной библиотеки Иванова, на пользование которою полковник Гангарт вначале охотно согласился. Можно было надеяться, по духу времени, что на пользование коллекциями взглянут не так строго. Мы решили (как есть, Вера Ник., Н. А. Морозов и я) позвать Гангарта и предложить на его усмотрение нашу идею.

Тот сразу же и охотно согласился, так охотно, что я даже удивился. Обыкновенно в подобных случаях все же приходилось поторговаться с ними. Здесь же предстояло новшество, из которого «как бы что-нибудь не вышло!» Но тогда у нас высоко стояло имя «науки», и Гангарт считал себя меценатом ее.

Он сам предложил в качестве посредника для сношений с Музеем доктора Н. С. Безроднова и просто-душно сознался, что сам он в этих вещах профан и поэтому не может вести дело лично.

Это было нам как раз на руку. Доктор этот еще недавно поступил к нам, и мы знали только, что он добродушный малый. Взялся он за этот нелегкий труд охотно и вскоре же доставил нам по нашему заказу первую коллекцию по минералогии. {134}

Таково было скромное начало. Приступая к нему, мы еще не предвидели, как далеко мы пойдем по пути знакомства с этим Музеем, и тем более не мечтали о сотрудничестве в нем. За минералогией последовали палеонтология, затем геология и петрография, кристаллография, физика, технология, ботаника, зоология и даже география.

Понятно, теперь я не в силах перечислить и половины тех коллекций по названным отраслям знания, которые перебивали у нас. Доктор там записался членом Музея, брал коллекции тогда, когда приезжал в Петербург по своим делам, и, возвращая их при следующей подобной же поездке туда, обменивал там на новые.

Иногда мы абонировались прямо на целую науку, напр., физику, зоологию, и тогда доктору выдавали в Музее по своему усмотрению то, что было свободно и наиболее удобно для перевозки за 60 верст. Иногда же делали разовые заказы на ту или другую определенную коллекцию или вещь.

Плату за пользование коллекциями мы вносили из тех денег, которые были ассигнованы нам на книжные расходы. А чего стоил провоз и доставка, мы не могли судить и только догадывались, что нашему услужливому доктору приходилось здесь нередко обращаться к собственному карману. Сам же он, при малейших намеках на какие-нибудь расходы с его стороны, конфузливо уклонялся от разговора и говорил, что это совершенные пустяки.

II.

Когда мы обращались в Музей впервые, мы думали, что наши сношения с ним будут только односторонними, т. е. мы будем пользоваться готовым, что там есть.

Но Музей еще организовывался и был тогда крайне беден. Многие коллекции, очевидно подаренные, были очень убоги и, так сказать, сами напрашивались на ремонт. Первый обратил на это внимание Н. А. Морозов и начал делать ящики для палеонтологических образцов, приводя их в систему.

Я же лично тогда еще не воображал, что здесь открывается при нашей праздности самое благодарное поприще для приложения к полезному и живому делу наших разнообразных талантов и навыков, которые уже приобретены были во многих мастерствах. Притом же, благодаря тому образованию, которое я получил и которое не давало самых насущных элементарных сведений из области естествознания, — я и не дерзал приступать к труду, для которого требуется более или менее серьезная подготовка. {135}

Поэтому я очень смутился, когда в один прекрасный день доктор зашел ко мне и сообщил, что в Музее предлагают взять у них большой запас засушенных растений, привести их в порядок и сделать из них несколько школьных гербариев. К счастью, у нас был И. Д. Лукашевич, хорошо знакомый с ботанической систематикой, который знал на память много растений нашей флоры. Имея это в виду, я дал доктору согласие и примерно через неделю получил огромный пук засушенных растений. Большинство их лежало в бумаге без всякого порядка, и весьма многие не были определены вовсе.

Мы засели с Лукашевичем на несколько дней в пустой камере и разобрали этот материал прежде всего по семействам. А затем Лукашевич взялся определять (по Постелю) те, которые были в удобопределяемом виде. Этот запас был, можно сказать, основным ботаническим фондом для разных будущих гербариев.

Понятно, когда дело у нас наладилось, мы начали сами сушить растения, и не только те, которые росли в пределах наших владений, но и те, которые, по нашей просьбе, приносили нам унтера после своих охотничьих и др. экскурсий. Делали это они иногда из любезности, чаще же за какое-нибудь вознаграждение трудом или натурой.

Для сушения же мы сначала воспользовались той бумагой, которая освободилась после систематизации музейных растений. Потом ее мы покупали, а когда стали давать нам прошлогодние газеты, употребляли их. Затем, согласно книжным указаниям, понаделали сами прессов для засушивания и пользовались сначала солнечной теплотой, раскладывая иногда бумагу по всему нашему двору, точно сено для просушки. А потом нашли удобнее обратиться к огневой сушке и сушили и бумагу и прессы над плитой в старой тюрьме, которой мы тогда уже пользовались невозбранно. Более сочные растения я часто сушил утюгом. Тут старались, главным образом, В. Иванов, Тригони, Лукашевич и Вера Ник. И два или три лета целиком мы только и делали, что сушили, т. е. собирали растения, раскладывали их в

бумагу, ежедневно перекладывали в новую, сушили сырую бумагу и т. д. При таком постоянном труде и внимании, нам удалось получать прекрасные образцы растений, часто совершенно зеленые, точно они сейчас сорваны.

Потом я узнал, что за один мой гербарий огородных растений, в котором было около 70 листов, на Парижской выставке 1900 г. предлагали Музею 50 руб., и Музей не согласился уступить за эту цену. Конечно, посетителям выставки, видевшим этот гербарий, и в голову не могло прийти, из какой мастерской получено это произведение. {136}

III.

Когда присланные растения были окончательно разобраны и определены, мы приступили к деланию гербариев.

Все мы были совершенными новичками в этом деле и потому после долгих обсуждений решили купить гляцевитой форзацной бумаги, затем разрезали лист на 8 частей и на получившуюся осьмушку величиной немного больше книги обыкновенного формата накладывали растение, слегка прикрепляя его узенькой полоской бумаги, смазанной клеем. Работа шла очень быстро.

Но, когда мы отправили первую такую работу в Музей, нам вернули ее обратно, с сокрушением, но и с уверением, что она никуда не годится. Для образца же нам был прислан 1 лист с приклеенным на нем и пришитым растением, на толстой белой папке — формата вдвое более нашего. Только в таком виде, говорят, листы выдерживают все те жизненные толчки, какие выпадают им на долю при постоянном употреблении.

Нечего делать, пришлось все переработать. По новому способу дело шло уже далеко не так успешно, особенно у лиц, не владевших иголкой и даже не умевших нитку вдевать в нее. Но запас терпения у нас был неограниченный, и мы скоро вошли во вкус этой гербаризации, покупали папку целымидесятью, резали ее, наклеивали, пришивали и таким образом в общей сложности не одну 1000 листов доставили Музею.

Точно также нам прислали два образчика разложенных цветка за стеклами, т. е. пластинки по органографии цветка, и просили сделать по такому образцу из своего материала столько экземпляров, сколько сможем. Эта работ вначале казалась мне необыкновенно трудной. Нужно было самому уметь расчленив каждый живой цветок, не утративши ни одной тычинки, не опустивши из виду ни одной мельчайшей детали его, засушить их в таком виде и затем, при наклеике на место, не потерять ни одной составной части, не положить ни одной лишней и разместить их в естественном порядке.

Дело и здесь скоро наладилось и пошло легко, особенно после того, как я сам научился резать стекла. В всего таких пластинок я один сделал до 1900 штук, хотя далеко не все они пошли в Музей и даже посланные туда не дошли. По крайней мере в отчетах не оказалось коллекции в 200 штук, которую я сдал разом доктору примерно в 1899 г. {137}

IV.

Наиболее крупный заказ по столярной части мы получили на лето 1899 года.

Музей только что приобрел в Германии новые физические приборы и препроводил их с железной дороги прямо к нам в общем огромном ящике. Требовалось посадить каждый прибор со всеми его составными частями в особый футляр и врезать его там неподвижно так, чтобы тонкие и хрупкие части не подвергались при передвижениях никакому риску.

Тут все наши столяры принялись за дело, и мы соорудили в одно лето до 40 ящиков, из коих некоторые, как, напр., для электрической машины Гольца, были довольно велики.

Ниже я перечислю по отчетам Музея все, что им получено из наших рук, а пока продолжу свой рассказ по порядку.

Года четыре непрерывно у нас продолжались самые деятельные сношения с Музеем. Доктор оказался человеком весьма подходящим для роли ученого корреспондента. Всегда снисходительный и внимательный, всегда спокойный и обходительный, он с полным усердием и терпением вел это сложное и щекотливое дело и умел обходить всякие подводные скалы, которых, должно быть, было немало на этом тернистом пути. Не знаю, сочувствовал ли он искренно целям Музея, или старался только о том, чтобы доставить нам разумный и продуктивный труд. Во всяком случае он не избегал лишних хлопот и расходов, но всегда с одинаковой ровностью и готовностью отзывался на всякое новое предложение и новую просьбу, обращенную к нему в целях расширения нашего дела.

Кроме чисто музейных отношений, он всегда без опасений и затруднений разрешал и выдавал нам все, что так или иначе соприкасалось с его компетенцией и требовалось для наших занятий и науч-

ных замыслов. Чего бы, мы ни задумали спросить у него в интересах технических, химических или просто как материал для коллекции, он никогда не отказывал, если не было у него в аптеке, то мы выписывали из аптекарского склада. Выше я уже упоминал о разных других его услугах.

В тех условиях, в каких мы жили, где начальство смотрело подозрительно на каждое неизвестное ему вещество, — а неизвестны ему были все самые обыкновенные вещества, — встретить в лице доктора такую готовность было большой для нас находкой. После мы оценили это, когда у нас отбиралось даже разрешенное прежде, а о всяком новом разрешении и думать было нечего. Раньше же этого нам даже серы не давали, потому что смотритель Федоров все-таки слышал, что из нее {138} делают порох. Иметь же такой элемент, как фосфор для химических реакций, считалось бессмысленным мечтанием. Разумеется, все подобные вещества покупались нами в минимальных дозах, и всякий благоразумный человек на месте начальства чувствовал бы себя вполне гарантированным от каких-нибудь злоупотреблений с нашей стороны. Так, напр., азотной кислоты нам не давали. Но, имея серную и селитру, мы могли приготовить ее сами. Могли приготовить затем и динамит, но в таком количестве, которое не имело бы ни малейшего практического значения.

Из аптекарского же склада мы выписывали, напр., такие вещи, как *Muscus corallinus* и *Muscus helminthochorton*, под каковым названием разумеются сухие водоросли. По тщательному исследовании целого мешка мы находили в нем до 30 разных видов *Algae* (водоросли), которые, будучи размочены и расправлены, давали прекрасный ботанический материал в коллекцию тайнобрачных.

V.

Минералогический и геологический материал нам приходилось собирать отовсюду. Булыжников было немало в почве, которую мы перекапывали многократно до большой глубины. И не было, кажется, ни одного из них, который, попавши в заинтересованные руки, предварительно не был удостоверен со стороны своей минералогической природы. Сомнительные камни разбивались для исследования и все новые и интересные откладывались в запас.

Кое-что было прислано из Музея специально для коллекций по его заказу (особенно руды). Наконец, предприимчивый В. Г. Иванов выписывал камни даже с Урала по почте через местную администрацию и из Германии через своего брата-инженера, в том и другом случае по заранее составленному списку. Образцы из Германии были настолько крупны, что нам достало их на несколько коллекций, и еще много осталось в «запасе» при нашем отъезде.

Насекомые тоже были присланы из Музея для школьных коллекций по его заказу. Их много сделала одна Вера Николаевна. Я же за них принялся уже поздно, когда сношения с Музеем прекратились, и наловил, почти не сходя с места, целых 5 ящичков их. В частности, для коллекции, демонстрирующих превращение насекомых, я собирал яйца личинок и гусениц и выкармливал их, для чего у меня был устроен особый питомник, который я в шутку назвал «воспитательным домом». Лето 1903 года я целиком посвятил этой воспитательной деятельности. {139}

Вообще же всякий естественнонаучный предмет: плод, семя, растение, животное, минерал, элемент и пр., который заслуживал интереса хоть в каком-нибудь отношении и который так или иначе оказывался в наших руках, складывался в наши кладовые, т. е. пустые или рабочие камеры, и хранился там впредь до того, как встретится в нем какая-нибудь надобность. В конце концов образовались запасы, хоть и весьма безалаберные, но довольно богатые. И когда, например, я делал коллекцию: «известь в природе и технике», сюда пошла даже клешня рака, как образец панцыря, состоящего главным образом из извести и эта клешня, конечно, хранилась в запасе на всякий случай.

Душою всего нашего коллекционирования был Лукашевич, как единственный человек с систематической естественнонаучной подготовкой, без содействия и помощи которого, особенно при первых шагах, мы едва ли бы ушли по этому пути далее простых чернорабочих.

VI.

Мне неизвестно, как удавалось доктору Безроднову ладить с жандармами. В последнее время его пребывания у нас, у него нередко прорывалось явное раздражение против этих профессиональных шпионов и сыщиков, да еще глубоко невежественных.

Социологу известно, что власть даже деспотическая легко переносится народом до тех пор, пока власть имеющие стоят выше подчиненных по своему интеллектуальному развитию и пока они не только не тормозят его на каждом шагу, а всячески поощряют. Тогда власть стоит впереди народа и так или иначе ведет его к общему и экономическому прогрессу.

Но престиж власти исчезает и революция начинается с того момента, как над умом и образованием во главе оказались командирами капралы и невежды. Из всех видов опеки самая несносная опека невежественная.

Мы всю жизнь провели там под гнетом такой власти, в состоянии постоянного, почти не прекращавшегося раздражения. И делалось смешно и грустно каждый раз, как приходилось рассуждать с каким-нибудь ротмистром о покупке книг, названия которых он даже произнести правильно не умеет. Тем не менее он имеет власть разрешить ее мне или запретить и иногда с большим самоуслаждением пишет на такой книге: «разреш». Я говорю: «смешно или грустно», потому что более естественные чувства негодования и возмущения, как слишком жгучие, успели уже притупиться за долгий период неизбывного порабощения. {140}

Из всех этих чинов только Гангарт представлял в этом отношении некоторое исключение, и в его разговоре и даже в лице сквозили следы интеллигентности.

Мне неизвестно также, каким образом было поставлено официально дело наших сношений с Музеем. Что в департаменте об этом знали, это не подлежит сомнению. Но как они терпели такую рискованную и продолжительную операцию, понять не легко. Тем более, что это было в разгар студенческих волнений. Вероятно, доктор имел там хорошие связи и ему доверяли. В се же любопытно, что доверяли более или менее и нам, так как обойти доктора при его простоте не было ничег о легче.

Но нужно сказать тут же, что у нас не было ни малейших побуждений воспользоваться Музеем, как средством для безнадзорных сношений с «волей». Не говоря о тех трудностях, какие лежали в самой организации Музея, нам совершенно неизвестной, мы так дорожили своими связями с ним и возможностью работать для него, что вовсе не хотели подвергать их какому бы то ни было риску. Да и что мы могли писать на «волю» или получать из Музея тайным образом? Мы так давно были отрезаны от мира, от друзей и знакомых, что возобновить сношения с ними путем тайной, краткой и отрывочной переписки, нам казалось почти невозможным.

VII

Но как ни корректно относились мы к сношениям с Музеем, жандармы все более и более становились подозрительными. И хотя самая внимательная бдительность не могла дать в их руки ни малейших подтверждений для их подозрительности, от этого она только усиливалась: значит, дело ведется так тонко, что изловить обыкновенным путем не удастся. Да и как тут изловить! Посылают, например, коллекцию насекомых наткано в дно сотни две букашек во что-то рыхлое, оклеенное бумагой; а что там под бумагой-то? Придется все разломать, что бы удостовериться в этом. А как тут ломать? Скажут: вандализм, науки не уважаете! Нет, уж лучше подальше от таких тревожных и щекотливых передач!

Гангарт, организовавший сношения с Музеем, ушел от нас в тот же год (1897 г.). Его преемник Обух, вообще мало стеснявший нас, не обладал той самостоятельностью, какую проявлял его предшественник, и ни капли не сочувствовал никакому прогрессу, в чем и признавался нам открыто. При своей нерешительности и недалекости, он затруднялся только {141} в выборе средств, какими удобнее было бы воспользоваться, чтобы прекратить несимпатичное ему дело.

Уже не раз делались к нам подходы — пресечь зло на «законном» основании. Дело в том, что на коллекции мы затрачивали казенные деньги, ассигнованные нам на материалы для работ и на ремонт мастерских. Деньги эти предназначались на *наши* нужды. На каком основании тратим их мы на нужды Музея?

Придирки делались уже не раз, но произвести строгий учет этим расходам было невозможно. Мы делаем коллекции лично для себя, для самообразования, из остаточных же материалов делаем для Музея. Да, собственно, для Музея-то мы ничег о и не делаем, а делаем для доктора, который, как член управления, имеет официальное разрешение — заказывать нам вещи и получать от нас продукты наших трудов. А куда он затем их девае т, это уж его дело. Ведь и сами жандармы не держат у себя все наши изделия, а часто снабжают ими своих приятелей.

Словом, благодаря некоторой софистике, именуемой дипломатией, мы отстаивали свои позиции довольно успешно вплоть до ухода доктора Безроднова.

С его уходом, мы уже предчувствовали, дело скоро пойдет на смарку. Были некоторые надежды на его преемника. Но подыскание ему преемника, как водит ся, затянулось. А когда он наконец нашел ся, то оказался совершенно не пригодным для наших целей.

Продолжать же текущие дела с Музеем временно взял на себя наш смотритель, ротмистр Гудзь. Человек он был добрый и сам по себе вел бы дело с полной готовностью. Но он был труслив и робок, зависимость же его от начальника управления была ничем не ограниченная, и потому сразу же дело за-

хромало. Не решаясь отказать прямо, он брал у нас коллекции, говорил, что отправил их в Музей, а сам складывал их в канцелярию, как в кладовую, и отправлял едва четвертую часть. И сверх того не раз предупреждал, чтобы мы сдавали как можно реже и делали как можно меньше.

Я, например, сдал ему разом 5 гербариев огородных растений как раз перед поездкой унтера в Петербург, и после поездки Гудзь на мой вопрос ответил, что все 5 гербариев он отправил. Унтер же, спрошенный отдельно, удостоверил, что в Музее он был, но туда ничего не возил.

При таких условиях продолжать работу далее было весьма рискованно и вовсе неинтересно. Быть может, через год я узнаю из печатного отчета, как узнавал ежегодно и прежде, что получено и что нет. А быть может, мне и отчета не дадут вовсе. (142)

Наконец, как на главную причину тормоза, Гудзь откровенно намекал, говоря своеобразным языком, что у нас теперь «обменный персонал». Это было уже после привоза к нам Карповича. Оказывается, не только от нас уезжают люди, но и к нам приезжают. И значит, при таком «обмене» легко условиться с Музеем о всем, о чем угодно, и писать ему и получать от него самые конспиративные вещи.

VIII.

Одновременно с коллекциями затормозилось и дело с книгами, о котором я еще не упоминал.

Когда наладились наши сношения с Музеем, мы стали получать оттуда вместе с коллекциями книги. Инициатива присылки книг принадлежала лицам, заведующим Музеем, и доктор взялся передать нам их на основании той же самой фикции, т. е. он имеет право делать нам заказ и, между прочим, давать свои книги для переплета. А сколько он их дает и откуда их берет, это уже не подлежало отчету.

Получивши первую партию, мы не преминули воспользоваться такой оказией и затем уже сами неоднократно обращались с просьбой о книгах, называя то определенное сочинение, то категорию знаний, по которой желали бы иметь что-нибудь новое, по выбору лиц, лучше нас осведомленных.

Больше всего нам хотелось, конечно, иметь журналы, особенно те, на официальное разрешение которых нельзя было рассчитывать, каковы тогдашние марксистские органы «Новое Слово», «Начало» и «Жизнь». Мы благодарны были и за все другие, потому что таким образом мы имели более свежие, чем нам купили бы жандармы за наш счет, и сверх того наши деньги при этом освобождались и могли быть употреблены на что-нибудь другое.

Кто именно был доброхотным дателем, снабжавшим нас книгами и журналами, тогда мы не знали. Доктор называл только М. И. Страхову, как заведующую Музеем, с которой он имеет дело и от которой получает книги. Но, кто бы нам ни доставлял их, мы одинаково были рады, получали их с особым удовольствием и тщательно вели список их под особой записью, не смешивая, книги, получаемые «из Музея», со всеми другими.

Большую частью все это были новые издания, недавно появившиеся на книжном рынке и обратившие на себя внимание читающей публики. Преобладали, конечно, с социальным содержанием, но были научные и из других областей ведения, как, напр.: «Технология металлов», «Электричество», «Жизнь пресных вод», «Жизнь животных» (Брэма) и пр. (143)

Эти три года у нас были самые богатые духовной пищей. Мы были совершенно не в силах перечитать все, что к нам поступало, разбрасывались, хватались за все, желая ничто не опустить, особенно из литературных новинок, и делались от этого большими верхоглядами...

Присланные книги мы читали и затем переплетали перед возвратом.

Теперь, когда бразды перешли к Гудзю и мы стали сдавать ему книги, давно уже поступившие к нам и подлежавшие сдаче, он пришел к нам с жалобой на начальника управления, но, жалуюсь, просил отнюдь не выдавать его! По его словам, Обух решительно не допускает, чтобы переплетный материал тратился на чужие книги. Заведовал тогда книжным делом я и постарался успокоить Гудзя, обещая, что все журналы мы будем только брошюровать, что очень дешево стоит, а книги сдавать недопереплетенными, т. е. без корок и, значит, почти, без всяких затрат. Ясно было, что под видом грошовой экономии хотят пресечь ненавистное им книжное дело. На руках у нас еще оставалось десятка два-три книг, но новых к нам уже не поступало, и мы догадывались, что их задерживает наша администрация.

IX.

В таком положении застала нас мартовская катастрофа 1902 г., о которой рассказать мне придется ниже. В ожидании ревизии Гудзь постарался уничтожить все следы наших законопреступных книжных занятий и наряду с прошлогодними газетами («Россия», «Свет», «Новое Время») и журналами, которые были куплены нами и выданы нам из канцелярии, отобрал и то, что было прислано из Музея.

Сохранили мы тайно только несколько книг, и то в тех видах, чтобы со временем, при перемене везений, иметь повод возобновить свои сношения с Музеем. Впоследствии, когда надежды на это рухнули, мы их просто вписали в каталог и внесли в нашу библиотеку. Тут были два тома Брэма, Лампрехт, Вебб, Кудрин и некоторые др.

Получение коллекций прекратилось несколько ранее, так как нового абонеента на 1901—1902 учебн. год мы уже сами не взяли, в виду того, что коллекции доставлялись неаккуратно и очень редко.

Задержанные же в канцелярии мои коллекции я постарался вытребовать при отъезде. Но так как самому мне нельзя было разыскивать эти коллекции в канцелярии, то я не уверен, все ли мне возвратили и не осталось ли там еще чего-нибудь, что (144) впоследствии, при ликвидации шлиссельбургского жандармского управления, поделили промеж себя бывшие козыева. Несомненно только, что после отъезда последнего тюремщика Яковлева к 1 июня этого года в помещении канцелярии ничего не осталось. Зато в руках бывшего писаря Сидорова оказались наши коллекции, о которых мы думали, что они отправлены в Музей.

В самом же Музее я имел возможность удостовериться, что там далеко не все получено, что было послано нами. Между прочим, совсем пропал где-то на пути дорогой поляризационный микроскоп, который был у нас в пользовании около 1 года и был сдан еще задолго до прекращения сношений.

Х.

Меж тем работы по составлению коллекций у нас не прекратились и после этого. Оставался тот же досуд, которого девать было некуда, оставалось много накопившихся материалов, приобретены были навыки и своего рода инерция в этом направлении. А потому, хоть и не с таким усердием, дело продолжалось, в слабой надежде, что все на свете переменчиво, и что «нет такого расписания движений, которое бы не менялось».

Упорнее всего старался В. Г. Иванов, которому осенью 1904 г. истек срок и который имел надежду вывезти с собой все продукты своего труда. И действительно, он вывез с собой и сдал в тот же Музей до 20 ящиков коллекций по ботанике, энтомологии, минералогии и геологии.

Продолжал помаленьку работать и я. И когда объявили манифест 26 октября 1905 г., я вывез с собой до 30 ящиков, из коих 6 с насекомыми, 6 с гербариями, 5 с плодами и семенами и т. д. Из них я сдал в тот же Музей 1 колл. минералов, 4 гербария огородных растений и более 100 стеклянных пластинок по органографии цветка.

Остальные коллекции поступили в вольную Высшую школу (курсы П. Ф. Лесафта).

Значительная часть накопившихся материалов, несколько коллекций, служивших справочниками, главным образом изделия Лукашевича, и много чучел, большею частью птиц, изготовленных им же, помещались все в особой камере, которая носила у нас тоже название музея. Жандармы же звали ее: «микроскопическая», как гласила надпись, прибитая ими над дверью. В былые времена там помещался микроскоп, материалы и реагенты для микроскопических работ, почему жандармы и приклеили к ней такое двусмысленное название. (145)

Первые из посетителей, бывшие там в начале марта 1906 г., еще видели это учреждение, в котором у самой двери стоял скелет. Жандармы всегда гордились им и считали долгом всякого приезжего генерала завести сюда и похвалиться, точно и на них самих падали лучи знания, накопленного здесь нашими усилиями. Впоследствии от академии наук поступило ходатайство в департамент полиции о доставлении ей и нашей библиотеки и нашего музея. Но, конечно, ей вежливо отказали в этом.

Когда в июле 1904 г. нас посетил митрополит Антоний, он обратил внимание на наши коллекции и осмотрел их у меня и у В. Иванова. Потом, в январе 1905 г., пользуясь данным разрешением писать ему, я описал кратко историю наших сношений с Музеем и просил его, не возьмет ли он на себя труд получать время от времени наши изделия для передачи в Музей, так как передавать лично ему, как было уже удостоверено опытом, не запрещалось.

По этому поводу, как я узнал от него впоследствии, он имел разговор с нашим полковником Яковлевым, и тот, конечно, наставил митрополита на «истинный» путь. Он заверил его, что никогда у нас никаких сношений с Музеем не было, никогда мы туда ничего не посылали, и что все это просто нам померещилось. Теперь русскому обществу хорошо известно, что все доклады жандармских полковников, даже официальные, дышат такою же правдивостью.

Понятно, что после этого я не получил от митрополита согласия.

ХІ.

Подвести итоги всему, что сделано нами для Музея, не представляет никаких затруднений. В отчетах Музея, ежегодно издающихся, наши приношения помещались под особой рубрикой: «Сверх того, различными лицами, сочувствующими деятельности Музея, приготовлено»... Чтобы дать точное представление о размерах наших трудов, я приведу полный список всего, что получено от нас в Музее за 4 отчетных года. К сожалению, он не обнимает всего, что сделано было нами, так как многие наши коллекции, как я упоминал выше, до Музея не дошли.

Для наглядности, я сгруппировал коллекции по научным предметам.

Ботаника.

Огородных гербариев	14
Систематических гербариев	21
(из них один в 470 видов). (146)	
Гербариев по орнитографии	7
» бесцветковых растений	10
Коллекций плодов и семян	4
Пластинок по орнитографии цветка	141

Минералогия и геология.

Школьных коллекций по минералогии	4
Коллекций горных пород	6
» уральских камней	1
» камней с Везувия	1
» руд	2
» металлов	2
» руд и металлов	2
» «скала твердости»	6
» «гранит и составные части»	17
» «гранит и продукты разложения»	4

Зоология.

Школьных коллекций по энтомологии	11
(в 22 ящиках).	
Коллекций птичьих лап	5
» раковин	2

Химия и техника.

«Известь в природе и технике»	1
Добывание азота и водорода	1
Производство из асбеста	1

География.

Коллекция промышленных карт по России	1
---	---

Столярные и картонажные работы.

Ящиков к физическим приборам	55
» по палеонтологии и пр.	25
Коробок для камней	72
Папок для гербариев и пр.	25
Висячих картин с палками	60
(готовых наклеено на коленкор).	

Сюда не вошли названные выше коллекции мои и В. Иванова, которые мы вывезли с собой при выходе из Шлиссельбурга.

Подвижной Музей в настоящее время богат всякими учебными пособиями, и наши изделия в нем тонут, как капля в море среди множества других, размещенных там по естественным (147) отделам. Притом большинство наших работ не хранится в Музее, а разослано им по всей России в школы и другие учреждения образовательного характера. И учащиеся по ним и посетители Музея, рассматривающие наши скромные изделия, совсем не подозревают, что они созданы людьми, за которыми тогда старались

упрочить репутацию страшных злодеев, и в таком месте, вокруг которого 20 лет витали только «безумие и ужас».

А между тем, если бы заточившие нас власти не заботились так много о нашей репутации и об атмосфере, которой следует окружать нас, а спокойно легализовали наше сотрудничество этому ли Музею или аналогичным ему учреждениям, то этим они доказали бы только свою политическую мудрость. Они спрятали в тюрьму непочатый запас духовных сил и не пожелали утилизировать его на какое-нибудь общекультурное дело, хранителями и руководителями которого они себя провозглашают.

Как общее правило, всюду в тюрьмах разрешаются работы и всюду изделия вывозятся на рынок или раздаются в виде подарков посетителям, дамам-патронессам и пр. Наши вклады в Музей не выходили из рамок общепринятых тюремных отношений. А если при этом бывшие революционеры, вместо того, чтобы распространять глётворные идеи, распространяют идеи о составных частях гранита и продуктах его разрушения, то этому, с их точки зрения, можно бы только радоваться.

И тем не менее правительство пресечений и предупреждений, даже и после доказанной нами корректности, сочло нужным совсем прекратить такой разумный и плодотворный труд, который давал хоть некоторое содержание нашей бессмысленной и бесцельной жизни.

Только в апреле 1917 г., после настоящей революции, я получил возможность показать и широкой публике плоды этих трудов на выставке, которая специально для этого была устроена мною в помещении курсов Побединского.

ХП.

Лично я всем своим естественнонаучным образованием обязан Музею, его коллекциям и работам для него. Мы жили в тесном застенке, где виден только клочок неба, ходили по земле, пространство которой исчислялось шагами и квадратными аршинами. Ни водных источников, ни лугов, ни лесов у нас не было. Ни животных, ни растений, ни минералов в достаточном количестве, ни тем более — химических веществ. Учебники были. Но читать их, не видя ни одного образца в (148) натуре, — этого даже отжившие преподаватели в школах теперь не решаются делать.

И вот появляются у нас в изобилии чучела птиц, животные озер и морей, пресмыкающиеся, насекомые, флора лесов и полей, многочисленные окаменелости — остатки животных и растительных форм давно прошедших времен, и наконец камни и камни, в таком множестве, точно мы совершали экскурсии по всем горам земного шара и изучали самолично строение земной коры во всех подробностях.

«Диорит и диабаз, синит и габбро, филлит и геллефлинга» и все подобные названия, которые так дико звучат в ушах непосвященных и составляют пустой звук для всякого, читающего петрографию страны, тотчас воплощаются в живые образы, как только познакомишься с образцами пород, носящих такие странные названия, и хоть отчасти уразумеешь их природу и способ происхождения.

Мои знания тотчас и ощутительно расширяются. И Урал, и Альпы, и Карпаты, и Кавказ для меня уж не просто горы, т. е. каменистые выпуклости земного шара, а хребты из разнообразных пород, образцы которых я знаю и живо представляю залегающими на местах в огромных толщах. Мне известна уже структура их. Нигде не был я дальше своего «Шлюшина», но горизонт свой расширил настолько, точно и мне доступны были созерцания горных массивов, которые так влекут к себе своей необыкновенной внешностью и простых туристов и любознательных путешественников.

Потом, когда я увидал в Финляндии камни на местах их залегания, натура все-таки превзошла мое воображение. И мне казалось очень странным видеть в огромных массах те образцы, которые я привык рассматривать не иначе, как в форме щебня, причем некоторыми породами мы так дорожили, что дробили их точно сахар в сахарницу.

Чтобы ознакомиться как следует с присланной из Музея коллекцией, которая лежала у нас всегда не менее недели, приходилось тотчас же браться за учебники и справочники, лежавшие до этого без нужды и употребления. Наука бралась, правда, не целиком, а в отрывках. Но эти отрывки связывались потом, по мере накопления, общою связью и давали наглядное и простое освещение предмету, который без того оставался бы мертвым и совсем не интересным. Затем, работая по составлению коллекций из разных наук и разных отделов, мне приходилось постоянно воспроизводить и комбинировать заново знания, которые были еще так недавно совершенно чуждыми и недоступными, отчего они сами собой прояснялись и укладывались в си-(149)стему. Человек я был уже не молодой. Память, когда-то твердая и быстрая, значительно ослабела от тюремного режима, повторять, поэтому, приходилось помногу. Но времени для этого было достаточно. А работы по составлению коллекций тем и хороши, что они заставляли постоянно воспроизводить научную систематику и терминологию, которая от повторений прочно усваивалась. Теперь мир для меня уже не та мертвая пустыня, в которой глаз профана не видит ничего

кроме простых красок, иногда в сочетании дающих эстетические формы. Теперь он — живой организм, где все находится в строгом взаимном сцеплении, где нет ничего ничтожного или неважного, где все полно интереса и движения, и где любознательный ум чувствует себя совершенно подавленным сложностью, разнообразием и изяществом строения, как в целом, так и во множестве деталей, от грубых и доступных глазу до самых тончайших и микроскопических.

Словом, краткий эпизод сношений с Музеем остается в моей памяти самым благодарным временем из всей продолжительной жизни в Шлиссельбурге. Музей дал нам не только возможность посвятить несколько лет, праздных и бездельных, осмысленному и полезному труду, но и доставил массу знаний, которых помимо его добыть нам было решительно негде. И следует ли прибавлять, что как у меня, так и у большинства моих товарищей навсегда сохранился чувство самой искренней признательности как к доктору Безроднову, так и к тем из заведующих Музеем, кто с полною готовностью и отзывчивостью доставлял нам эти научные развлечения и интеллектуальные занятия.

Последствием этих музейных занятий явилась целая моя книга под заглавием: «Что делать народному учителю» (изд. 1919 г.), в которой приведены снимки с моих работ в Шлиссельбурге. {150}

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пища духовная.

Habent sua fata libelli (И у книг есть своя судьба).

Латинская поговорка.

I.

Я выделил в особую главу нашу духовную пищу. В начале я уже называл несколько книг, читанных мною в первый год заточения, и тем дал уже читателю некоторое понятие о характере нашей умственной пищи. С течением времени она разнообразилась все больше и больше. Сам я, конечно, не стоял на высоте всех знаний и не мог перечесать всего, что находилось в нашем распоряжении. Поэтому мне необходимо сойти здесь с личной почвы для того, чтобы ознакомить читателя полнее с нашей сокровищницей знания и, можно сказать, с главным жизненным нервом, который поддерживал в нас душу живую и охранял нас от окончательного душевного разложения.

На первых порах, когда весь день, за исключением 2-х часов прогулки, проводился в камере, читалось особенно много. Запас книг был небольшой, и число нечитанных быстро сокращалось.

Поэтому при каждом визите кого-нибудь из Петербурга, если посетитель расположен был принимать наши заявления, мы неопустительно напоминали ему о присылке книг. Заявления эти делались разное. Одни просили прислать «что-нибудь по истории», «что-нибудь по естествознанию». Другие называли прямо тех или других авторов, которых знали по старой памяти. Если генерал был в духе и не пьян, или плотно и приятно позавтракал перед визитом, он относился внимательно к нашим заявлениям и приказывал своему адъютанту тут же записать их. Затем мы ждали приблизительно с полгода результатов и обыкновенно на одну из пяти просьб получали то или другое удовлетворение. {151}

В первый же год моей жизни посетил нас генерал Шебеко, товарищ министра, заведующий полицией, только что назначенный на место известного своей жестокостью Оржевского, которого прогнали в Вильну после нашего, процесса. Со мной и Лукашевичем Шебеко был тогда необыкновенно любезен.

Товарищи острили по этому поводу, что он нам обязан повышением и потому старался выразить нам признательность за нашу услугу.

С предупредительной улыбкой он спрашивал у меня, не могу ли я сделать какого-нибудь заявления. И когда я сказал, что мне желательно было бы получить Полный Свод законов, он даже просил от удовольствия, точно я попросил его о чем-то, чтобы он исполнил мою просьбу.

— Помилуйте, — ответил он, — у нас там они даром валяются! Пришлем, непременно пришлем! И приказал адъютанту записать.

Но за все 18 лет я так и не добился этого Свода, хотя еще два повторял эту просьбу разным лицам. Очевидно, им совсем не хотелось, чтоб мы вычитали там что-нибудь насчет своих «прав» и затем цитатами оттуда повергали в смущение своих высоких посетителей. Это девственное неведение законов систематически поддерживалось в наших душах вплоть до последнего года, вопреки явному

требованию, что никто не должен отговариваться их неведением. Зато любопытно было слышать, когда местное начальство называло законом тот или другой § своей инструкции.

Когда в 1903 году вышло новое уложение о наказаниях, мы стали просить свою администрацию купить нам его. Смотритель (Правоторов) обещал, будучи в Петербурге, спросить разрешения у директора, которым был тогда Лопухин, юрист, но, очевидно, своеобразный поборник юридических знаний. По словам Правоторова, беседа его с директором на этот счет была кратка, но вполне ясна.

— Заключенные говорят, что вышло новое уложение, и просят купить его им.

— Да, вышло. В от оно лежит (и показал экземпляр его). Но оно к ним не относится, а потому и читать его им нет надобности.

Эта аргументация была особенно замечательна тем, что в скором времени это уложение применено было именно к одним политическим преступлениям и, значит, должно бы относиться только к нам и никому другому.

После падения Плеве нам все-таки, наконец, купили его.

Однако эта охрана нас от языки законности была совершенно излишней. У нас все-таки были в библиотеке и старое уложение, и устав о ссыльных, и судебные уставы, полученные нами помимо департамента. Из них мы могли вычитать сколько угодно опасных цитат. Да более откровенные чины и не смущались этим, а прямо заявляли: «к этой тюрьме никакие законы не относятся».

И действительно, наивно было рассуждать о законности в тюрьме, где ровно 10 л. просидел на каторжном положении поручик М. Ф. Лаговский, который посажен был туда без всякого суда и следствия и который нес совершенно одинаковую участь с лицами, приговоренными по суду к бессрочным каторжным работам.

II.

Пока книги присылались нам из департамента натурой, мы всецело зависели от его усмотрения, и тогда наши книжные хлопоты имели характер лотереи: авось вытащишь выигрышный билет и тебе пришлют как раз то, чего ты хотел и что требуется тебе настоятельно по ходу твоих занятий. А не пришлют, так похорони свои умственные запросы и стремления, как ты похоронил и все остальное.

Но когда, с 1897 г., нам ассигновали определенную ежегодную сумму на выписку книг (именно 140 р.), наше положение при этом улучшилось очень мало. Местный полковник либо разрешал своею властью покупать все, что мы закажем, либо нет, смотря по веянию в высших сферах. Но чаще всего наш список книг, которые мы хотели бы купить на ассигнованные деньги, отправлялся в департамент. Там он валялся не менее полугода и возвращался к нам с урезками, в которых никакой проницательный ум не мог усмотреть ни системы ни оснований. Запрещенные нынче книги мы нарочно записывали снова на будущий год и получали разрешение. Это полное отсутствие руководящей мысли при запрещении и разрешении было очевидно даже для наших жандармов, которые в книгах вообще были столько же сведущи, как и в китайском языке. Спросишь, бывало, офицера, заведующего о покупкой книг:

— Ну, скажите, пожалуйста, почему запретили мне географию России под заглавием: «Полное географическое описание нашего отечества, под ред. Семенова»?

— А вы,— отвечает он хладнокровно,— напишите ее опять в следующий раз, и тогда получите разрешение.

Даже Гёфдинг, «Очерки психологии», был запрещен однажды.

В сиккий, у кого только бывал обыск,— а у кого-то теперь он не бывал?— знает из практики, до чего невежественны в (153) книжных вещах полицейские и жандармские агенты, ищущие в вашей библиотеке чего-нибудь предосудительного. Посылая в департамент свои списки, мы имели неоднократно случай вывести убеждение, что их командиры, заседающие в департаменте, не менее невежественны.

Когда ваши духовные интересы находятся в руках бурбона, облеченного неограниченною властью, высоко о себе думающего и в то же время круглого невежды, вы замечаете это на каждом шагу, потому что самоуверенный бурбон постоянно попадает впросак. Если бы вы могли удовлетворять свои духовные запросы иными путями, независимо от него, то это зрелище своим глубоким комизмом доставило бы вам много развлечения. Но мы были всецело в их руках, постоянно чувствовали грубое прикосновение к невиннейшим интеллектуальным интересам, и потому нам было не до смеху.

Стоит ли прибавлять, что область социальных наук пользовалась особым вниманием наших властей, и что большая часть их запрещений обрушивалась именно в эту сторону. Тут запрещались книги исключительно за то, что в своем заглавии содержали термин «социальный». Никакому, напр., даже департаментскому невежде не пришло бы в голову запрещать нам Историю древнего Рима. Но когда вышла в свет *социальная* история древнего Рима и мы выписали ее, понятно, нам запретили.

Это дало повод Г. А. Лопатину как-то предложить нам — изгнать из наших списков раз навсегда термин «социальный», а писать вместо него «салициловый».

Он же неоднократно пикировался по этому поводу с департаментскими чиновниками, когда в письмах к своему брату красочно описывал их безграмотность, бесстыдство и наглость. Письма, конечно, читались в Петербурге и возвращались ему обратно, и его уведомили, что такое письмо отправлено быть не может и что его нужно переделать.

III.

Но курица по зернышку клюет да сыта бывает, говорит пословица. И несмотря на все эти препоны, у нас накопилось много хороших книг. В се, что ни попадало к нам, оставалось у нас и составляло вклад в нашу библиотеку. Помаленьку, из года в год, она расширялась, и к концу нашей жизни в ней считалось не менее 3.000 томов.

Для того, чтобы составить такую библиотеку, нужно было знать названия книг и вообще стоять до некоторой степени на уровне современных знаний в любой отрасли наук. {154}

Чтобы постоянно следить за книжными новинками, мы подписались и затем выписывали много лет подряд «Известия книжных магазинов Вольфа», которые давали нам почти тотчас после выхода и давали даже в такие времена, когда запрещены были всякие журналы, кроме строго научных.

Мы постоянно избегали вторжения в нашу библиотеку какого-нибудь поборника помрачения, который мог бы приказать изъять лишние книги, увидавши, как много их накопилось, и потому мы в последнее время стали всячески сжимать каталог, ведение которого находилось всецело в наших руках. С этой целью автора с многотомными и многоразличными сочинениями мы записывали обязательно под одним номером. Так, под одним номером стояли сочинения Спенсера, Милля, Маколея, Кареева, Золя, Дюма, Мопассана, Диккенса, М. Твена, Шекспира и др. Точно также журналы разных лет, но одного названия, числились под одним номером.

И все-таки у нас было свыше 2000 номеров. Отдел изящной литературы, в первые годы решительно не разрешавшейся нам, был особенно богат. Почти все выдающиеся заграничные романисты были в полном собрании и часто на двух языках. Русских было мало. Но их легко было достать из канцелярии, откуда нам давали даже Горького, правда, после многократных просьб и заявлений. Отказы всегда аргументировались тем, что Горького не любят в департаменте.

Каталог трудами Стародворского в 1902 г. был разбит на много отделов, и в каждом у нас можно было найти кое-что достойное внимания. Там были: лингвистика, медицина, физика и математика, зоология, ботаника, геология, анатомия и физиология, история, юридические науки, статистика, беллетристика, путешествия и пр. Человеку с универсальным, хотя и дилетантским интересом жаловаться особенно не приходилось.

К сожалению, это богатство образовалось для нас довольно поздно. Силы значительно ослабели. Интерес к знанию, безжизненному и непродуктивному, постепенно охладевал. И то, что в молодые годы схватывалось и усваивалось в месяцы, теперь приходилось изучать годы.

П. В. Карпович, первый свежий человек, появившийся у нас после долгого застоя, выразил резкое порицание составу нашей библиотеки. Для него, искавшего ответов почти исключительно на современные запросы общественной жизни, наша библиотека давала слишком мало. Он только что оторвался от богатых книгохранилищ Европы и не переживал нашего прежнего убожества.

Известное дело: другая точка зрения,— другие и суждения. {155}

IV.

Опасения же наши насчет изъятий и сокращений из нашей библиотеки имели под собой серьезные основания.

В 1889 г. П. Н. Дурново, бывший у нас с визитом усмотрел у кого-то в камере «Историю французской революции» Кинэ и полюбопытствовал заглянуть в наш каталог. Там было десятка два названий, которые ему очень не понравились, почти исключительно из книг, привезенных с собой в тюрьму некоторыми из товарищей. Ранее этого их разрешено было внести в нашу библиотеку, теперь же он приказал их изъять.

Так как книги тогда были единственным содержанием нашей жизни, то почти все мы были буквально потрясены этим бессмысленным распоряжением. Нам казалось это началом возврата к старому, когда кроме «духовно-нравственных» книг не давали никаких и когда люди готовы были идти на всякую крайность, вплоть до самоубийства, лишь бы избавиться себя от бессмысленного прозябания, ведущего к идиотству либо к сумасшествию.

«Нет, лучше смерть, чем это», — думалось теперь почти каждому.

Положение казалось настолько серьезным и внушающим опасения, настроение наше было так тревожно и безнадежно, что почти без всяких соглашений, делать которые тогда было невозможно при нашей изолированности, решено было выразить протест единственным доступным тюремным способом — голодовкой.

Как ни бессмысленным кажется для многих этот самоубийственный способ делать неприятности своему врагу своим боком, он имеет за себя много резоннов. Я самый факт его частой повторяемости в наши дни во всех тюрьмах служил лучшим аргументом в пользу голодовки.

Чтобы судить о ней правильно, нужно принять во внимание те импульсы, под которыми складывается решимость прибегнуть к ней. Обыкновенно она является результатом не холодного обдуманного вывода, а какого-нибудь сильного аффекта, назревавшего постепенно в тюремном положении или возникшего сразу, по случайной причине, как это было у нас. Следовательно, к суждению о ней не приложимы доводы рассудка людей, не бывавших в подобном положении. Но помимо этого голодовка имеет за себя и объективное основание, потому что она воздействует на людей, от усмотрения которых всецело зависит устранить или не устранить причину голодовки. Во многих случаях, где причина голодовки лежит в простой и даже незаконной {156} небрежности, она дает лишний стимул для тех лиц, которые ведут судьбами людей, но совершенно не думают о них.

А самое главное, — она, как и всякий ненормальный и выходящий из ряда вон прием, чревата всякими неожиданностями. Благодаря этому местная администрация, которая присутствует при ходе этой драмы, теряет уверенность в завтрашнем дне. Для нее, как для всех вообще чиновников, дороже всего это именно уверенность и это отсутствие опасений. А тут вдруг ей приходится 5, 6, 7, 8, 9 дней из минуты в минуту переживать под этой гнетущей мыслью и постоянно тревожить себя вопросом: а как-то посмотрит высшее начальство, которое обыкновенно с важностью отмалчивается как на самую голодовку, так и на могущие произойти из нее неожиданности. Особенно там, где голодовка служит протестом против грубого или незаконного содержания, она наилучше ведет к цели, как это уже доказано многими тяжкими опытами.

Девять жутких дней провели и мы среди разнообразных ощущений, сопровождающих муки голода. Девять длинных дней, из часу в час, из минуты в минуту мы переживали сложные и мучительные чувства, наедине с самими собой, ничем не занятые и не отвлекаемые от болезненного самосозерцания. Чтобы не изменить тона объективного рассказчика, я не внесу и в этот драматический эпизод лирических нот. Физиология давно и совершенно точно описала процесс голодания и все связанные с ним психические явления. К этому я не прибавил бы здесь ни одной детали.

Последние дни все голодающие лежали почти без движения, как больные. Пищу перестали ставить мне, как и другим, с первого же дня, как только я отказался от нее и сказал вахмистру, что все равно буду выливать ее в ватерклозет. Но в те же часы ее приносили ежедневно в тюрьму для тех, кто не участвовал в протесте. А их было всего четверо.

На 8-й, кажется, день Будинский, и без того наполовину больной, окончательно свалился. Доктор зашел к нему и сказал, что ничем не может помочь, пока больной сам намеренно изводит себя. В то же время Стародворский вскрыл себе гвоздем артерию на руке с целью самоубийства и выпустил несколько стаканов крови, но был вовремя усмотрен.

Выходило, таким образом, что мы, более крепкие, спекулируем на жизнь более слабых или более порывистых. Не все подумали об этом заранее. Но когда такая перспектива стала воочию перед глазами всех на самом пороге роковой развязки, от нее быстро отшатнулись. Тем более, что настроение после 9-ти-дневного голодания было, очевидно, не то, которое было ранее. {157}

Из нашего угла, где были самые немощные, Будинский и Морозов, вышло на 9-й день предложение об окончании протеста, и голодовку прекратили.

Только Вера Николаевна да Юрковский голодали еще лишних два дня, пока не сдались на просьбы товарищей.

Как часто бывает, непосредственных результатов голодовка не принесла никаких. Разве только расшатала окончательно здоровье Будинского, который затем недолго протянул. Но бесследно она не прошла. И как одно из звеньев в ряду причин, подкапывавших суровые тюремные порядки, она сыграла свою роль. Возвратов к старому в книжном деле не было, и никогда больше не повторялось в нашей жизни это вторжение в библиотеку с целью производить в ней сокращения.

И это несмотря на то, что в ней накопилось, без ведома департамента, немало книг, которые были бы выброшены оттуда без всякого милосердия любым ретивым охранителем. Несколько книг были записаны даже в каталоге не под своим заглавием.

Отобранные же книги мы получили полностью года через 3 от Пахаловича, который принес их из канцелярии, где все это время они лежали неприкосновенными и, разумеется, без всякого употребления.

Зачем, спрашивается, нужно было кому-то проделывать над живыми людьми этот жестокий эксперимент?

V.

Как и во всей русской жизни, руководимой исключительно взглядом начальства, у нас этот взгляд особенно рельефно отражался на библиотечном деле. Чего не разрешал один директор, то разрешал другой, его преемник. Продукт его разрешения, книга, раз данная, лежала неприкосновенно в библиотеке. Ее всегда можно было взять и читать вторично, даже третично. Она не теряла своей ценности сразу. В всякий новый бурбон, запрещавший купить новые книги вроде имеющихся у нас, не касался того, что уже было куплено. Если бы он каждый раз перебирал библиотеку сообразно своим вкусам, нам житья не было бы.

Не то с журналами. Старые прочитанные журналы не могли возбуждать никакого интереса. Нам нужны были новые. И запрещение, касающееся их, обрушивалось на нас всюю тяжестью и создавало такую атмосферу лишения, величины которого, может быть, не представлял себе ясно и сам запретитель. Даже митрополит, вообще сдержанный и несклонный выражать осуждение по адресу начальства, при посещении нас в июле 1904 г. назвал запрещение нам журналов *бесцельной жестокостью*. (158)

Первый свежий журнал нам дали, должно быть, в 1890 г. Этот, с позволения сказать, журнал был «Паломник», и прислал нам его священник по моей личной просьбе.

Как ни мизерно его содержание и как ни мало оно соответствует нашему мировоззрению, но его читали все поголовно. До такой степени сильно было желание видеть бумагу, недавно вышедшую из типографии, в тщетной надежде найти там какие-нибудь отголоски общественной жизни. Отголоски эти, правда, находили или, точнее, извлекали оттуда путем умозаключений. И, начитавшись такого журнала за целый год, люди экспансивные спешили сделать обобщение:

— Ну, и ханжество же разлито всюду по России!

У каждого, очевидно, сильна была потребность быть сыном своего времени, а не исторической категорией, витавшей умом в жизни всех народов и всех времен. Поэтому самое изображение года 1890, доселе нигде больше невиданное в печати, было уже приятно. Это было как бы ниточкой, которая связывала нас к современности и давала приятную иллюзию, что мы живем вровень со своим веком и как будто участвуем в его жизни, созерцая то, что он печатает теперь о себе.

Вместе с этим ослаблялось одно из самых тяжелых чувств — чувство насильственного отчуждения от всей культурной и социальной жизни человечества.

Это была первая ласточка. Весны она еще не делала, но за нею со временем прилетели другие. В 1892 г. мы уже имели разные иллюстрированные журналы за прошлый год. И сколько же их было тогда! «Нива», «Звезда», «Север», «Исторический Вестник», «Живописное Обозрение», «Природа и Люди», «Родина», «Луч», «Разведчик», даже «Будильник» или «Стрекоза» и др. в этом роде. Из департамента прислали нам серию «Нив» лет за 5—6. Остальные журналы собирались тут же от служащих. Часть выписывалась в канцелярию.

И от служащих и из канцелярии их давали нам якобы в переплет: переплетная мастерская в это время была в полном ходу, и несколько лиц работали там почти непрерывно. Гангарт получил формальное разрешение давать нам все иллюстрированные журналы, кажется, уже потом, после того, как такая выдача их в переплетную вошла в обычай.

Журналы давали в начале января разом за весь прошлый год. И при таком обилии их, да при страстном желании найти в них как можно больше интересного, мы поглощали массу дребедени и тратили на просмотр их ужасно много времени. Должно быть, после этого мы становились значительно глупее. Чтение серьезное отошло уже на задний план, а такие, с позво- (159) ления сказать, органы, которых ни при каких других обстоятельствах не стал бы в руки брать, здесь не только брал, но и читал, так как соблазнялся их современной свежестью.

Думалось, что все, что ново, то и есть последнее слово. К тому же, о чем бы там ни говорилось, все это были отголоски жизни, которая дразнила нас своей недоступностью, своей неизвестностью и своей новизной.

На первых порах дали, может быть, не все названные журналы. Пока их было мало, старался следить за всеми ими. Но в конце концов наплыв их был так велик, что скоро последовало пресыщение.

Ведь всякому унтеру и даже родственнику унтера хотелось переплесть их на даровщинку! А потому некоторые поступали прямо в переплетную, и их просматривали разве только те, кто работал над ними.

И только после, иногда через год, я узнавал из отчета всю бездну премудрости, изливавшейся над нами в виде этой «периодической печати».

Позднее, когда мы стали работать за плату, а охотников сидеть в переплетной больше не было, эта бездна значительно сократилась. Мы стали брать приносимое уже по выбору.

VI.

Как только совершился этот наплыв, почувствовалась надобность в особом должностном лице, которое ведало бы прием и сдачу этого литературного материала, а главное, распределение его между жаждущими читать.

Сделать это было нелегко, потому что всякому хотелось снять сливки как можно скорее и, значит, читать раньше всех. Поэтому на те журналы, где хроника была содержательнее, спрос был со всех сторон. Устроить же частый обмен в тюрьме, не переставшей еще быть одиночной, было совсем не легко.

И чтобы сделать это, наш библиотекарь превратился в «начальника движения», который пускал журналы в ход, регулировал его, следил за правильностью и при малейшем уклонении направлял их опять на должный путь.

Для этого выработался практикой такой прием.

Предварительно библиотекарь спрашивал всех посредством подписного листа, содержащего список выданных ему смотрителем журналов: кто какой журнал желает читать ранее и на сколько времени думает брать.

Положим, одни хотели читать прежде «Север», другие «Звезду», третьи «Живописное Обозрение», всего, значит, в {160} сложности около 150 номеров, и большинство склонялось одолевать по 5 номеров в день.

Тогда библиотекарь расчленяет всех своих клиентов на группы, сообразно их желаниям, журнал тоже разбивается на пучки или ежедневные порции, положим, в пять номеров, каждая порция заключается в особую папку, на которой наклеивается список читателей по порядку, определенному жребием (т. н. маршрут), и первая папка каждого из 3-х журналов сдается вахмистру для раздачи по номерам, так как в официальных сношениях мы именовались не фамилиями, а номерами. На другой день он выпускает вторые папки (с №№ 6—10), на третий — третьи (№№ 11—15) и т. д. Если нас 21 чел., то на 7-й день в движении будет уже 21 папка.

Каждый, прочитавши свою порцию, отправляет ее далее по маршруту через вахмистра, для чего в папку вкладывает билетик с номером лица, следующего за ним. По этим номерам дежурные и разносили папки, обыкновенно во время раздачи утреннего чая.

Но нередко случалось, что дежурный ошибется и передаст папку не тому адресату, прочитавши, напр., ошибочно 11 вместо 17. Меж тем истинный адресат, не получая должного, бьет тревогу и требует свою пропажу у библиотекаря. Тот пускается на поиски, но делать это может только стуком, потому что в первое время никакой другой способ опроса не допускался. Стук не всякий услышит или не всякий поймет, папки поэтому не оказывается, и библиотекарь теряется в догадках, куда она могла пропасть. Благодаря же рассеянности некоторых, она залеживалась иногда у них по нескольку дней.

В свою очередь, нарушение единичное могло повести за собой путаницу в дальнейшем движении, распутывать которую становилось еще труднее. Нервные люди при этом нервничали, горячились, обвиняли и правого и виноватого. И так как для многих такая литература составляла почти весь насущный интерес, то эти мелочи страшно преувеличивались, разрастались и задавали иногда тон всей нашей обыденной жизни.

Но если нарушений не было и все шло правильно, то каждый получал свою порцию, иногда две, даже три, если журналов в ходу было много. Получалась непрерывная цепь, которая, как и всякий круговорот, затягивала человека и давала ему иллюзию обязанности — прочесть ежедневно положенное, несмотря ни на какие случайные увлечения ремесленными либо огородными работами.

Приходишь иногда после какой-нибудь тяжелой работы, весь изломанный, в грязи и поту. Но вместо отдыха сначала {161} проглоти свою порцию духовной пищи, иначе ты, наверное, никогда не вернешь ее к себе и будешь думать, что там-то ты и пропустил самое интересное.

VII.

Министр внутренних дел Горемыкин, после своего визита в 1896 г., разрешил нам все журналы без исключения за прошлый год, независимо от их иллюстрированности. И мы стали покупать «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русское Богатство», «Revue des Revues», «Review of Reviews», «Научное Обозрение», «Хозяин». Последние два, впрочем, были разрешены и раньше, как научные и технические.

Гангарт давно уже выписывал для нас «Ремесленную Газету», чертежи и рисунки которой много помогли нам в развитии столярных и токарных вкусов и навыков. Давал он ее нам, не считаясь со временем и циркулярами, прямо по мере выхода. А когда это упрочилось, мы выпросили у него и «Ниву» на тех же основаниях и читали ее всегда из недели в неделю до марта 1902 г., т. е. почти 10 лет подряд. Давал он ее свободно потому, что в ней почти не было хроники, ради которой и делались эти сроковые ограничения.

Далее, сам департамент по нашей просьбе присылал, начиная с 1894 г., «Вестник Финансов», по полугодию или по третям, нарушая, таким образом, самолично то предписание о прошлом годе, которое он давал.

Пример был заразителен, и потому местная администрация не особенно была строга насчет годичного возраста журналов и стала давать сначала «Хозяин» и «Научное Обозрение», а затем и другие все в более и более свежих выпусках.

Департамент же разрешил нам в 1898 году выписать еженедельное издание «Times'a» и таким образом окончательно сгладил разницу между журналом и газетой. В виду этого Обух беспрепятственно выдал в 1900 году 1-го января «Новое Время» за прошлый год, правда, в разрозненном виде, но все же в большом количестве номеров. Если же прибавить сюда периодические издания, которые мы стали получать через доктора Безроднова из Подвижного Музея учебных пособий («Начало», «Жизнь», «Новое Слово», «Образование»), то можно сказать, что в отношении периодической печати в последнее время мы были обставлены недурно и период 1898—1901 г. г. нужно назвать «эпохой просвещения» в нашем мертвом и замкнутом мире. Недоставало только свежей газеты, да и то год или два получался «Сын Отечества» (162) (1899—1900), не считая еще газеты-журнала «С.-Петербург», которая сама себя называла самой маленькой газетой.

Эти газеты, равно как и «Times», постепенно стали выдавать нам по мере их выхода, после разных хлопот и настойчивых притязаний с нашей стороны.

IX.

Одновременно с этими послаблениями насчет современных сведений в печати, окружающие нас унтера перестали держать язык за зубами и помаленьку втянулись в откровенные беседы с нами, как на темы из местной жизни, так и на общественные.

Свою администрацию они всегда ценили по достоинству и посвящали нас во все детали их финансовых операций (с ремонтом, поставками и пр.), не стесняясь в наименовании таких операций обычным уголовным термином: воров. Особенно, когда настала бурская война и сочувствие бурам невольно сблизило нас, мы нередко читали с ними на коридоре Сарая как свою газету, так и ту, которую они приносили с собой. За чтением следовало обсуждение и прения.

Но каждый раз, как мы старались подчеркнуть выгоды английского способа правления сравнительно с русским, они стыдливо опускали глаза в землю. Изредка только какой-нибудь ретивый из них, увлекшись перечислением неправд, чинимых русскими властями, неожиданно восклицал:

— Бить их надо, таких сяких!

Мы смеялись, но видели, что это только «пленной мысли раздраженье», и что после этой вспышки увлекшийся жандарм может сам на себя донести со слезами раскаяния.

Их «политическую зрелость» я лучше всего охарактеризую, рассказавши свою беседу с одним таким велеречивым хулителем русских порядков. В Шлиссельбурге только что ввели казенную продажу водки, и он ругал эту водку, как только мог.

Я возражал, начитавшись «Вестника Финансов», где ее превозносили выше небес. При этом я рассказал описанную там экспертизу, когда десяток сведущих винопийц перепробовали в департаменте неокладных сборов водки всех русских заводов и единогласно вынесли резолюцию, что лучше казенной водки нет. Унтер спокойно выслушал и еще спокойнее сказал:

— Да если бы меня пригласили туда, то и я сказал бы, что лучше казенной нет.

На мое удивление и вопрос: «почему?» — он столь же невозмутимо ответил, как бы удивляясь моей наивности:

— Да ведь за это чины и ордена дают! (163)

X.

Начитавшись только что полученных журналов, наша публика стремилась в «клуб», чтобы облегчить себя от излишнего бремени. Один читал одно, другой другое, иной читал чересчур бегло и в голове у него не осталось отчетливых воспоминаний. Начинается порывистый обмен «новостей»: А слышали?... А читали?... А заметили?... А не пропустили?... и т. д.

Если слышали или читали все собеседники, оказывается иногда, что кто-нибудь не дочитал или понял неправильно. Загорается спор, идет проверка друг друга и затем неизбежное пари: уверяю, что там так сказано... Другой уверяет, что сказано иначе. Затем бегут домой или к соседям на розыски печатного первоисточника. Истина восстанавливается, пари выигрывается, и внимание изощряется.

Получалась, таким образом, иллюзия переживания «современных событий». Эта иллюзия заставляла спорщиков забывать, что событие, о котором они говорят, описано, может быть, еще год назад и давно кануло в Лету, и что, в частности, спорить горячо и судить о современности по тем обрывкам ее, которые совершенно случайно проникали в печать, было очень рискованно.

Подобно тому, как по «Паломнику» нельзя было составить никакого суждения о современности, нельзя его было составить и по тогдашним газетам. Для лиц, безусловно отрезанных от живого общения и от слухов, питавших русское общество в то время, они давали чрезвычайно убогий материал.

Сейчас, как я пишу эти строки, все газеты заполнены телеграммами и сообщениями политического характера. Если бы правительство было в силах сейчас водворить ту же цензуру, какая была тогда, все газеты содержали бы массу сведений о вскрытии рек, об открытии навигации, о пожарах и наводнениях, о приезде и отъезде градоправителей и т. д. в таком роде. И читатель, читающий в каком-нибудь Шлюшине подобную хронику и отрезанный от всего живого, был бы лишен всяких сведений о самых животрепещущих интересах, которыми волнуется сейчас все общество.

В частности, сатирическая пресса показала, какие сюжеты в ней преобладают с разрешения и какие без разрешения цензуры.

Если вообще русский читатель того времени читал больше между строк, то в частности мы должны были изощряться в этом истинно русском способе чтения и усиленным творчеством воображения создавать особую междустрочную хронику. Чтение периодических изданий давало, таким образом, новое поприще для деятельности творческого воображения. (164)

И так как оно проявлялось не у всех одинаково и не у всех в одном направлении, то мы очень часто, благодаря этой субъективной предпосылке, вычитывали из одних и тех же изданий различные вещи. Особенно резко это сказалось в последний год, когда двое из наших товарищей, слишком «патриотически» настроенные, принимали за чистую монету все, что официально сообщалось о войне, и потом жестоко спорили со скептиками. Последние смотрели на это как на сплошное вранье и судили «героев» Ялу, Порт-Артура и всех прочих так, как они заслуживали с общесторической точки зрения, совершенно независимой от официальных реляций. А эта точка зрения приводит с принудительной очевидностью к одному общему выводу, который гласит: истинного героизма не ищи в армии того государства, которое основано на кнуте, невежестве и несправии, и где сверху до низу все продажно и лживо.

XI.

Я не могу теперь перечислить всех периодических изданий, которые перебивали у нас в разное время. Список их вышел бы довольно длинным.

В начале 1902 года мы получали каждый день по какому-нибудь новому изданию за текущий год, не считая тех, которые давались гуртом за прошлый год. Это были: «Times», «Harmsworth Magazine», «Review of Reviews», «Gartenlaube», «Illustration Européenne», «Хозяин», «С.-Петербург» и «Нива». В 1901 г. сверх того получались «Климат» (Демчинского) на трех языках и «Журнал Птицеводства».

Я заведовал в это время книжным делом и уже привык получать ежедневно что-нибудь новенькое, как вдруг случился наш крах, и все выдачи сразу же были приостановлены. Перепутавшееся начальство, которому наверное сообщили о готовящейся ревизии, стало усиленно отбирать у нас всякую литературу, еще недавно наполнявшую наши камеры. Вместе с кипами газет «Новое Время» и «Россия» Гудзь поусердствовал отобрать даже сборники «Нивы» «Литературное приложение».

В один день мы вдруг сели, как раки на мели.

Чего стоило нам приспособиться в эти дни к такому лишению, едва ли стоит распространяться об этом. В тюрьме всякое новое отнятие на фоне общих лишений чувствуется особенно интенсивно. Такое же лишение, какое теперь над нами разразилось, было невообразимо тягостно.

Только благодаря тому, что весь интерес у нас сосредоточился на участии Веры Николаевны, соправшей поганы с (165) Гудзя, мы могли сравнительно легко перенести первые недели кризиса. А когда тревога за Веру Николаевну стала стихать и мы успокаивались на мысли, что дело окончится ничем, радость от такой развязки несколько вознаградила нас за литературные утраты.

К тому же мы имели уже основание думать, что репрессии над нами есть результат событий «на воле», и что если это есть отместка нам, то, очевидно, за что-то серьезное, сделанное им.

ХП.

В первое время, пока политика Плеве еще не определилась в отношении нас, нам обещали вернуть отнятое в недалеком будущем. Но затем всякие обнадеживания скоро прекратились: очевидно, не там запахло в воздухе.

Продолжали давать по инерции только «Хозяин», как журнал, трактующий об удобрении и проч. материях, имеющих непосредственное приложение к нашей хозяйственной жизни. Но и в нем сначала начали вырезать хронику, или передовицу, трактующую о пользе гарантий для сельского хозяина. А потом и совсем перестали его давать и заявили, что «Хозяин» перестал выходить.

В свое же время мы узнали, что это была неправда, но не выданных номеров Яковлев так и не возвратил, несмотря на все хлопоты.

Остались у нас только строго научные журналы: «Knowledge» (ежемес.), «Naturwissenschaftliche Wochenschrift» (еженед.), «Chemical News» (еженед.) и «Журнал Физико-Химического Общества» (ежемес.). Иностранные журналы выдавали нам вскоре после их выхода, но с некоторой задержкой, ссылаясь на то, что они просматриваются. По словам смотрителя, английские журналы просматривал кто-то из англичан с местной фабрики, принадлежащей английской компании.

И нам горько было слышать, что нашелся англичанин, способный исполнять обязанности сыщика в интересах наших жандармов. В «Knowledge'e» нередко были вырваны листы с объявлениями, очевидно по указанию такой импровизированной русско-английской цензуры.

Даже «Известия» Вольфа были запрещены в это время. Но что «Известия»! Это все-таки периодический орган. Запретили даже календари — все, кроме отрывных. Мы смеялись, что нами правит, должно быть, тайное общество вроде итальянской мафии, которое не допускает, чтобы мы знали их имена, печатающиеся обыкновенно в календарях. (166)

В начале 1904 г. я как-то при свидании спросил Яковлева прямо:

— Ведь вы не дадите мне календарь Гатцука? — причем для наглядности указал тут же на этот календарь за 1901 г.

— Нет, не дам, — отвечал он столь же определенно.

— Тогда не дадите ли мне вот этой статистической таблицы, которая к нему прилагается ежегодно? Все остальное можете оставить у себя.

Он обещал. Через несколько дней я получил этот календарь за 1904 г. Из него вырвано было все, что указывало на современность, в том числе и «сказание об открытии мощей св. Серафима Саровского». Конечно, это было усердие местных властей, но они правильно решили, что открытие мощей есть дело политическое, а потому сказание о нем, как обо всем политическом, не должно быть допущено до нас.

В это время мне не давали даже «Церковных Ведомостей», официального органа св. Синода, который я уже много лет получал от священника регулярно. А так как нельзя было привести никакого резона для такого отказа, то смотритель принес мне ответ якобы от лица священника, к которому я отправил его с просьбой:

— Батюшка в этом году не выписывал их!

Это была явная ложь, одна из тех лжей, которые приходилось скрепя сердце выслушивать от них ежедневно во всех деловых сношениях.

На другой год я виделся со священником наедине, и потому этот резон было неудобно повторить. Поэтому обещали «Церковные Ведомости» выдать, но после специального просмотра.

И вот начинается этот просмотр и тянется затем целые месяцы. Ленивые и отупелые, они даже такой работы не могли сделать без сильного долговременного напряжения. Вырывать что-нибудь из «св. отцов» было чересчур зорно, поэтому они задерживали целые номера, если там встречалось что-нибудь недопустимое с их точки зрения.

На мой прямой вопрос к Правоторову:

— Да почему это вы даже «Синодские Ведомости» не можете выдать полностью?

Он отвечал с особой многозначительной интонацией:

— Нельзя! Все лезут они туда, куда их не спрашивают! Это значило: позволяют себе судить о чем-то другом, выходящем из сферы узко церковной.

Это неразвитое дитя весьма забавно и очень недипломатично отразило на себе все то, чему оно слышалось в департаментских сферах. Поэтому мне оставалось только поучаться при {167} виде того, как одно охранное ведомство, присвоившее себе монополию охранительных функций, ревниво смотрит на вторжение в свою область другого охранительного ведомства.

Подобное этому, говорят, можно встретить только в глухой провинции, где постоянно пикируются между собой власти полицейская и жандармская — из-за наград и добычи, перебиваемых друг у друга.

За эти целые два года нам выдали еще, кроме названных, только два технических журнала, один английский, другой американский, которые выписывались, очевидно, англичанами, служащими на Шлиссельбургской хлопчатобумажной фабрике. Вероятно, владельцем этих изданий было то же самое лицо, которое оказывало услуги Яковлеву и производило досмотр наших собственных английских журналов.

Так как за 1902 г. нами уже были выписаны до катастрофы «Мир Божий» и «Русское Богатство», то нам в конце концов выдали их. Но, Боже мой, что это были за журналы! По устному полномочию от департамента, на которое ссылались наши власти, они вырвали из них не только всю хронику, но и все статьи, которые, на их просвещенный вкус, казались «неудобными». Вырваны были даже такие статьи, как «Биконсфильд, государственный деятель».

Много поколений русских писателей переживало те мучительные часы, когда приходилось творчество своей мысли искажать по требованию цензуры. Но никому и никогда еще не приходилось переносить такой цензуры, как эта. Ее усердие и ее «сознательность» можно было поставить рядом только с запрещением покупать клюкву или разводить цыплят.

Впрочем, наша цензура, как и всюду, тоже была неодинакова: на усердие смотрителя мы жаловались сверхусердствующему Яковлеву, и тот иногда обнаруживал великодушие и приносил самолично то целую хронику за какой-нибудь один месяц, оказавшуюся совсем невинной, то целую статью.

Не нужно и добавлять, что все журналы после такой операции распадались на отдельные листочки и вообще имели самый невозможный вид.

И все-таки жажда новизны была так сильна в нас, что она пересиливала отвращение к такому изуродованию и к ежедневным хлопотам, переговорам и спорам по поводу каждой вырванной вещи. А потому мы и на следующий год выписали те же журналы на деньги, ассигнованные нам на книги, хотя и получали за свои деньги только одни разорванные листы. Вырван был даже рассказ Вересаева «На повороте». {168}

ХІІІ.

Особенно тщательно охраняли нас в 1904 г., с открытием военных действий, от всяких сведений о войне и даже от самых намеков на войну.

О начале войны мы узнали уже в феврале того же года по газетному обрывку, который подсунут был одним из наших добрых гениев. Такой же гений подсунул нам осенью 1902 г. и сведение об убийстве Сипягина. За ходом же военных действий мы следили по лицам унтеров, читавших газеты ежедневно на наших глазах. И, признаться, судили о нем совершенно правильно. На лицах их ежедневно читалось одно и то же убийственно однообразное:

— Никакого успеха!

Только о смерти Макарова мы узнали из «Журнала Ф.-Х. Общества», причем там была вырвана целиком статья, посвященная ученым заслугам этого адмирала. Но где, при каких обстоятельствах и как он умер, ничего не было известно. За весь 1904 г. о войне больше мы не узнали ничего. В письмах всякий намек на войну тщательно вымарывался.

Наконец, мы дожили до того, что война и формально объявилась. Это было в ноябре 1904 г., когда нам опять возвратили разрешение, на самом деле никогда официально не отменявшееся, читать журналы за прошлый год.

Кому мы были обязаны этой реставрацией прав, я не знаю. Яковлев, конечно, приписывал это себе. Но мы уже слишком хорошо знали, что он мог только лишать да отнимать, а отнюдь не возвращать, и потому были убеждены, что лишением периодической печати в течение 2½ л. мы были действительно обязаны ему. Даже и здесь он постарался окончательно изгнать газеты из этого разрешения, а прошлый год истолковал в узко буквальном смысле, т. е. выдавал то, что вышло из печати ровно год тому назад. Сначала он хотел выдавать так из недели в неделю; но потом смягчился и стал давать разом за

месяц, причем в последних числах этого месяца мы получали все, что печаталось в будущем месяце прошлого года, т. е. заставил нас регулярно читать хронику событий, которые произошли не менее 11 месяцев назад.

XIV.

Установилась весьма своеобразная иллюзия, как будто мы очутились на такой отдаленной планете, до которой световые лучи достигают ровно через год. Мы следили за рядом событий изо дня в день, с полной постепенностью, и так входили в курс (169) дела, что готовы были считать их за самоновейшие. Так же спрашивали друг друга: что нового? и так же передавали друг другу сведения о том, что было год назад. То, что мы читали сегодня, нам казалось совершившимся в течение этого месяца. А то, что читали в прошлый раз, представлялось совершившимся месяц тому назад. И, устанавливая хронологию в спорах друг с другом, мы так же горячились, уверяя, что это было всего недели 2—3 назад, совершенно забывая, что к этому нужно прибавить еще 1 год.

Когда Порт-Артур уже пал и разразилась мукденская катастрофа, когда окончательно и для слепых стали явны полные неудачи русского оружия, мы только что приступили к чтению первого месяца войны и к описанию тех всеобщих «ликований», которыми будто бы повсюду было встречено объявление войны.

Едва ли кто-нибудь в России, кроме нас, имел случай перечитывать все «патриотические» завывания первых дней войны — в то время, когда крушение надежд было уже полное и когда лакейство и глупость смиренномудрствующих писателей выступало особенно ярко и с особенной назидательностью. Страшно забавно было теперь читать, как свое суемыслие они выдавали за волю и намерение Божества и возглашали, как они покажут этим диким язычникам силу православной веры.

Сами жандармы под влиянием поражений и событий внутренней жизни стали разговорчивее и начали передавать устно кое-что о самых последних новостях, о которых прочесть мы могли бы только через год. Таким образом мы узнали главное и про Мукден, и про поход Рождественского, и про Цусиму.

После всякого наиболее крупного краха дежурные, у которых в груди билось солдатское сердце, не могли сдержать своего негодования и, невзирая на строжайший запрет, увлекались разговорами промеж себя так громко, что кое-что долетало и до нас. И доставалось же тут злосчастному Куропаткину, этому недавнему идолу, баловню судьбы и надежде России!

Офицеры тоже рассказывали многое, преимущественно по «Новому Времени».

Потом, под влиянием газет, речи наших унтеров стали дышать укоризной по адресу бюрократии. И особенно забавно было слышать эти укоры из уст нашего вахмистра, который сам был типичнейшим воплощением бюрократического режима в своей сфере.

«Ну,— думалось при этом,— царство, разделившееся на ся, непременно запустеет».

Наконец, летом 1905 г. доходили до моих ушей такие речи о самодержавии и ограничении его, читанные унтерами в газе-(170)тах, за которые прежде нас в Сибирь ссылали. Было очевидно, к чему идет. Вскоре мы получили и положение о Бульгинской Думе в номере «Правительств. Вестника», который был нам дан по специальной просьбе. Единственным же свежим периодическим органом были только «Известия» Вольфа, где мы читали необыкновенные для нас вещи о свободе совести, печати и пр. Наконец, получили даже книжку «Конституционное государство» — сборник статей, трактовавших в общедоступной форме вещи, совершенно непозволительные для русской печати.

И все это время у нас один глаз был устремлен на вопросы текущего момента, а другой с прежней постепенностью перечитывал битвы при Тюренчене, Цзинжоу, Вафангоу, Дашичао, Ляояне, вплоть до Шахэ, после ознакомления с которой мы вышли на волю.

Подробностей о взятии Порт-Артура, о мукденской и цусимской катастрофе мне так и не пришлось читать до сих пор.

XV.

В настоящий момент, когда ликвидировали в Шлиссельбурге охранявшее нас жандармское управление, наша библиотека, как говорят, перевезена в департамент полиции и, вероятно, далеко не в полном составе. Смотрели на нее как на казенное имущество и поступали, конечно, соответственно этому.

Между тем в нашей библиотеке было, по самой скромной оценке, по крайней мере рублей на 500 наших собственных книг.

Кроме тех книг, которые присылались из департамента, а затем покупались на ассигнованные нам деньги, в нашу библиотеку вошли:

- 1) Книги, привезенные с собой многими товарищами; их насчитывалось более 150 названий.
- 2) Книги, купленные на деньги, оказавшиеся у некоторых из товарищей при доставке их в Шлиссельбург, в том числе и на деньги, вырученные от продажи костюма и проч. вещей Карповича. Костюмы же всех прочих, в том числе и мой, как говорят, были преданы сожжению.
- 3) Книги, которые мы покупали на свои заработанные суммы. Например, в одном 1904 году было затрачено не менее 25 руб. из этих сумм. Так оплачены были, например, десяти томные «Воспоминания» Фабра (*Souvenirs entomologiques*) и «Журнал Физико-Химического Общества».
- 4) Книги, пожертвованные нам частью через Подвижной Музей из Петербурга, частью через Пахаловича и др. чинов администрации. (171)

Таким образом департамент, так строго охранявший принципы собственности, на деле сам занимался экспроприацией.

Я еще не говорил, что Пахалович многократно приносил нам разнообразные книги для чтения. Откуда он их брал, мне неизвестно. Но он охотно и в изобилии доставлял их, на русском и французском языках, и притом большею частью такого сорта, каких мы не могли рассчитывать получить официальным путем.

От него, напр., мы могли получать все главное по политической экономии, начиная с Маркса, который в то время, особенно в жандармском ведомстве, считался настоящим жупелом. До этого отдел политической экономии у нас представлен был исключительно Шторхом, забытым русским экономистом времен Александра I, и Тьером, которого трактат «О собственности» был прислан нам департаментом в назидание. (172)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Чем жили мы?

Счастлив, кто спит, кому в осень холодную
Грезятся ласки весны,
Счастлив, кто спит, кто про долю свободную
В тесной тюрьме видит сны.

Минский.

I.

После более или менее длинных описаний того, как внешне слагалась наша жизнь, чем она наполнялась и что составляло ее материальное содержание, я чувствую необходимость, в интересах полноты своих записок, поставить такой вопрос, которым я озаглавил этот очерк.

Читатель вправе спросить меня: Неужели ваши парники и огороды, верстаки и станки удовлетворяли вас? Неужели вы похоронили в себе живого человека и превратились в рабочую машину, годную только для производства овощей и шкафов, хотя бы и усовершенствованных? Или вы сделались читающим аппаратом, фонографом, что ли, который считывает одинаково равнодушно и безжизненно всякую речь или пьесу, какую на него ни положат? Не отупели ли вы безнадежно от многочтения бессистемного, беспочвенного и безжизненного? Был ли у вас хоть какой-нибудь жизненный пульс, который согревал вашу душу и охранял от опасности превратиться в слабоумное животное, которое ведет жизнь чисто растительную по рутине и по инерции?

II.

Бывают и теперь анахореты по призванию, которые отрекаются от мира и всех прелестей его и проводят жизнь в молитве и созерцании. Это — люди особого душевного склада. У них всякое зло вызывает не двигательный акт, который моментально его уничтожает или ставит ему серьезные преграды, а мозговую рефлексию, быть может, также сердечное сокрушение (173) слабого напряжения. Словом, в их душе, не способной быстро воспламениться, негодовать и бороться, может возникать только легкая внутренняя зыбь, которая тихо волнует и легко замирает.

Люди такого склада могли бы легко прожить в нашей тюрьме, предаваясь мечтаньям, самоутлужению и затем — то самобичеванию, то самоуслаждению, в зависимости от достигнутых успехов в укрощении своих зловердных помыслов. Ведь где абсолютно нет никаких новых соблазнов, а старые

отодвигаются с каждым часом все дальше и дальше в область забвения, там помыслы легко замирают сами собой, и война с ними становится очень легкой и, конечно, победоносной.

Не такова натура была у громадного большинства из нас. Мы не только не могли и не хотели уходить куда бы то ни было и от житейских зол и от земных соблазнов, а совершенно сознательно приступили к изучению их природных причин с тем, чтобы отыскать путь к их устранению. И не только отыскать и указать эти пути всякому вопрошающему, но и самим проложить их, сделавши первые шаги, которые всегда трудны и не всегда могут быть верными и правильными.

Для людей такой категории, деятельных, рвущихся, энергичных по природе, не могли выдумать наказания более сильного и жестокого, как обречь их на пожизненное бездействие и не дать им даже суррогата живого общественного дела.

Такое дело, конечно, нашлось бы, без всякого ущерба для тюремного режима, в стране, необыкновенно бедной интеллектуальными силами и еще более бедной духом инициативы и предприимчивости. Начиная от простых цифровых работ над сводкой статистического материала и кончая постановкой каких-нибудь микроскопических, физиологических, даже хозяйственных опытов, нашлось бы широкое и разностороннее поле для приложения богатых духовных способностей, которые заключены были пожизненно в Шлиссельбурге и которые обречены на вымирание с чисто дьявольским человеконенавистничеством и зложательством.

Наши враги окрестили нас врагами народа и, конечно, не могли допустить, чтобы мы сделали что-нибудь полезное для своей родины и тем огласили, что сердце наше бьется любовью к ней и что мы горим постоянным желанием быть для нее полезными хоть как-нибудь и хоть в чем-нибудь. Притом же умы, привыкшие ходить только по рутине, неспособны были допустить, чтобы тюрьма была чем-нибудь другим, кроме фабрики терпения, и чтобы в ней процветало что-нибудь другое, кроме сплошного страдания и непрерывной кары, действующей слепо и без милосердия. {174}

III

И нам оставалось только страдать и *в самом страдании находить источник сил*, необходимых для долголетнего существования.

Всякое страдание, как бы велико оно ни было, имеет один постоянный недостаток: ему свойственно притупляться и, значит, исчезать. Как бы сознавая эту истину, наши власти делали его прерывистым. Говорят, что так делали и истинные инквизиторы: пытаются, а затем дадут отдохнуть измученному пыткой, или даже залечат его раны, с тем, чтобы опять применить ту же самую или нового рода пытку.

Точно также и у нас: не было, кажется, ни одной «льготы», которая давалась бы нам навсегда и которая не подвергалась затем временному упразднению. Если ее не упраздняли совсем, то многократно угрожали упразднить и, значит, держали нас под постоянной угрозой лишиться того, что стало уже привычным и необходимым, и начать снова приучаться к терпению.

Как ни малы были сами по себе эти «льготы», они представляли собой тот минимум житейских благ, на котором мы могли еще помириться и ниже которого жизнь была бы немыслима и началось бы сплошное вымирание. А потому для нас они не только не были ничтожными сами по себе, а, напротив, представляли высокую ценность. Отстаивая их, мы так же имели дело с вопросом жизни и смерти, как и рабочие, решающиеся на все опасности забастовки ради прибавки каких-нибудь 5 коп. заработной платы в день.

Словом, у нас была в своем роде та же борьба за существование, хоть и разменная на медную монету. Эта борьба за лучшие условия жизни, за право стучать, гулять, писать, читать и говорить была та же самая борьба за свободы, хотя и в страшно миниатюрном виде.

Вспоминая обо всех лишениях, с каких началась наша тюремная жизнь, я не могу достаточно надивиться той колоссальной силе сопротивляемости, которой одарен каждый организм против разрушительных влияний. Сделано было, кажется, все, чтобы разрушить его поскорее: ни воздуху, ни свету, ни пище, ни деятельности — умственной или физической. А все-таки, кто не заболел тотчас же тяжелой формой цынги, тот ухитрялся как-то приспособиться ко всем этим невозможным условиям. И только судорожные порывы и вспышки против того или другого наиболее губительного лишения говорили о размерах страдания, а равно о чисто рефлексивных попытках освободиться от него. {175}

На воле, слушая мои рассказы, некоторые откровенно заявляли: «я бы не вынес этого»... Не знаю, был ли это комплимент по адресу нашей стойкости или недостаточное знакомство с собственными силами. Думаю, что невероятное весьма нередко бывает возможным. У нас тоже многие сомневались в своих силах и, может быть, теперь все задают сами себе тот же недоуменный вопрос:

Неужели я мог все это вынести?

IV.

Ниже я еще буду говорить об этой своеобразной политической борьбе в тюрьме. Теперь же я напомню еще, что ведь и ближайшие враги, непосредственные объекты для борьбы, у нас были те же, что и на воле.

Точно нарочно, для двух политических тюрем в России, у нас и на Каре, почему-то учредили стражу исключительно из жандармов, как будто расчет был такой, чтоб самый вид их ежедневно напоминал нам, в чьих руках мы находимся и кому обязаны высокою честью страдать за свободу родины.

Ведь могло же правительство за такие деньги найти достаточно людей любой категории, которые «верой и правдой» служили бы ему, как служат, напр., теперь в Крестах! Ведь служили же верой и правдой Людовику XVI наемные швейцарцы и даже жизнь свою положили в защиту его абсолютной власти против его народа, который вырос из пеленок и пожелал ходить без нянек. Со времен Ирода, царя иудейского, бывало великое множество людей, которые, давши присягу снести с плеч чужую голову, считают своим священным долгом такую клятву исполнять буквально и без малейшего колебания!

Нет, нас не доверили никому другому, и мы по-прежнему были в руках жандармского корпуса. Чины его с успехом охотились за нами на воле и обнаружили при этом все типичнейшие приемы и духовные черты охотника за ценной дичью. Чины его затем вели все следствие и старались доказать, что первые чины, арестовавшие нас, действительно взяли опаснейших людей и за это заслуживают награды. Чины его, далее, предрешили судебный вердикт и тем доказывали, что следователи-жандармы отнюдь не ошибались, направляя дело к жестокому возмездию. Чины его содействовали затем заключению нас в Шлиссельбург и тем удостоверали, что мы действительно такие ужасные и опасные люди, за которых признали нас прежние чины. И наконец чины же его берегли нас в тюрьме, ежемесячно подтверждая в своих отчетах, что все прежде имев- (176) шие с нами дело чины не только не ошиблись, но и безусловно достойны всякого одобрения за свою проникательность, усердие и ревность в деле искоренения крамолы и поддержания тишины и спокойствия.

И если бы кто мог сосчитать, сколько лиц этого корпуса, благодаря такому своеобразному круговому ручательству, погрело возле нас руки! И если бы какой историк мог теперь же изобразить, сколько государственных мужей выковало свою «блестящую» политическую карьеру исключительно на наших спинах!

Понятно, было бы очень рискованно передать нас в руки какого-нибудь другого ведомства. Оно могло бы, чего доброго, не только свести насмарку всю предыдущую работу, но и доказать, что все, что прежде считалось проникательностью и усердием, было сплошной ошибкой или искусным гешефтом опытных дельцов, которые набили себе руки в снискании земных благ путем благовидного и более или менее сокровенного истребления, своих ближних.

V.

В свою очередь, мы, оставаясь в той же самой жандармской атмосфере, совершенно не замечали, что наша революционная жизнь давно и бесповоротно кончилась, что мы не только обезоружены и выбиты из колеи, но связаны и обречены на одно безмолвное вымирание. Мы не замечали этого или забывали про это, потому что видели над собой ту же властную жандармскую десницу, которая и прежде везде хватала направо и налево. Слышали ежечасно тот же незабываемый вовеки звон шпор, который для каждого гражданина издавна служит глашатаем бесправия и спутником всякого акта, в котором нужно учинить явное беззаконие.

С формальной стороны, мы были осуждены судом. Над нами была проделана некая юридическая манипуляция, которая, будь она образцом законности и правового сознания нации, могла бы действовать убийственно на нас. На самом деле ничего подобного не было. В сязкий из нас чувствовал себя и до суда и после суда во власти одного *грубого произвола*, который для приличия прикрывается фиговым листком писанных законов, но для которого остается совершенно чуждым жизненный смысл всяких писанных законов, именно *внутренняя правда*.

VI.

Бороться с правительством, которое стоит на страже закона и которое своим уважением к закону и подчинением ему первое дает образец для деятельности как подчиненных ему (177) органов, так и всех подданных,— бороться с таким правительством едва ли возможно путем насилия. В сознании всякой революционной группы оно стоит неуязвимо, потому что оно действует только как слуга закона и, в

силу этого, за свои действия совершенно неответственно. Даже более, за свои действия по службе, злоупотребления, опущения и превышения власти оно ответственно перед законом.

Совершенно другого рода психика складывается в стране, где правительство поставило само себя на место закона и орудует, везде и во всем руководясь одним усмотрением. Та критика и те чувства, которые в первом случае были бы направлены против безличного закона и в конце концов вели бы только к изменению или замене его, здесь всецело направлены против правящих лиц. Это они становятся ответственны за все и перед всеми, потому что сами себе узурпировали автократический образ действий, сами себя поставили на место закона, даже выше закона.

В свою очередь, те, кто вооружается на них, не может чувствовать за собой ответственности. Чувства ответственности перед законом в нем не воспитала вся российская действительность, руководимая народной мудростью: «закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло». Как я буду отвечать перед законом, когда перед ним не отвечают ни сами творцы закона, ни исполнители его!

Чувства же ответственности перед лицами, держащими в руках безответственную власть, не может быть по самому существу дела. Чувство ответственности может относиться к какому-нибудь верховному авторитету, воля которого стоит выше индивидуальной воли и правда которого безупречна и незыблема. Те же лица, которые, прежде чем вызвали против себя революционную войну, вооружили предварительно против себя значительную часть общества негодованием и возмущением, *те лица не могут претендовать ни на какой авторитет, ни на какое уважительное отношение.*

VI.

А потому судебная процедура, в сознании каждого из нас, независимо от того, участвовал ли он фактически в деле или не участвовал, была одной пустой комедией, которую нужно было зачем-то проделать для видимости. Сами устроители ее забывали про нее тотчас же, как только она оканчивалась. Они тотчас же начинали действовать по усмотрению, невзирая на судебное решение, и отправляли одного из «каторжников» (178) в Сибирь, а другого в Шлиссельбург, где условия отбывания сроков совершенно различны, а значит, различно и самое возмездие.

В ушах еще звучало: «каторжные работы без срока», и притом «в рудниках», как добавлял от себя читавший официальную бумагу, а уж другой приговор, совершенно независимый от суда и совершенно вопреки ему, заготовлял пароход и направлял осужденных не в каторгу, а в вечное заточение, о котором в законах нигде ни слова не сказано.

Переживши такую судебную процедуру с административным этапом, всякий из нас оставался на всю жизнь с прочно установившимся самочувствием. Это самочувствие ясно говорило, что гнетет тебя сила произвола, правда, совершенно непреодолимая, но все-таки одна грубая сила, без малейшей нравственной или строго юридической санкции.

VII.

Таково было самочувствие, с которым очутились мы в безвыходном положении на всю жизнь. Мы были очень молоды, и вся жизнь была впереди. Термин «бессрочная» каторга в приложении к этой молодой жизни звучал как-то особенно внушительно, потому что обещал при «благоприятных обстоятельствах» заключение лет на 50. И я помню, с каким особенным интересом я остановил внимание у Соловьева на каком-то князе Рюриковиче, который просидел будто бы в Киеве в заключении ровно 50 лет.

Не надо было ходить так далеко. Но тогда я еще не знал, что в той же самой Шлиссельбургской крепости, всего за 20 лет до моего вступления в нее, умер человек, проживший в ней 38 лет, которого не коснулись ни «милости», ни «свободы» либеральной эпохи 60-х г.г.

И хорошо, что я не знал этого. А то такой «прецедент» пришлось бы долго переваривать.

Ни милости, ни свободы Шлиссельбурга не касаются. Впоследствии мы убедились, что в отношении нас продолжается здесь та же традиционная политика.

«Никаких снисхождений своим врагам» — этот девиз абсолютизма остается навеки неизменным. Ни время, ни пространство, ни национальность не действуют на него. Бастилия и Шпильберг, крепость св. Ангела (в Риме) и неаполитанские тюрьмы — все это одинаково бесчеловечно, одинаково свирепо и одинаково проникнуто духом непримиримой ненависти к личным врагам, которые дерзнули усомниться в святости грубого (179) произвола и бесконтрольного грабежа и растраты народного достояния.

Всюду в истории некогда одинаково царила воля одного, и всюду одинаково эта воля была непреклонна и верна одному и тому же принципу: никогда не прощать своим врагам.

В общем такие свойства этой воли были известны нам давно и не составляли секрета с первых же дней, как мы попали в ее полное распоряжение. Детали мы потом узнавали из чтения исторических

книг. Здесь мы читали, что такой-то немецкий герцог еще 60 лет назад в центре Западной Европы, в прославленной своим просвещением Германии, заставлял своих политических врагов, ввергнутых им в узилище, падать ниц перед своим портретом, который специально для этого приносили в камеру. И, читая это, мы испытывали некоторое чувство удовлетворения при мысли о том, что даже в герцогские души прогресс может проникнуть и через 60 лет сделать невозможным кое-что из арсенала их политической мудрости, который прежде практиковался невозбранно и, конечно, с одобрения ближайших советников.

Таким образом не только ясное сознание произвола, которое было вынесено из всей процедуры, предшествовавшей поселению в эту тюрьму, но и явственное предчувствие господства этого произвола в нашей дальнейшей жизни составляло, так сказать, те сердечные тоны, которые сопровождали биение пульса нашей жизни, ни на минуту не покидая его.

Прибавлю к этому еще, что приезжающие чины время от времени напоминали нам русским языком, что здесь — могила. А многие чины, особенно местной администрации, многократно подчеркивали, что выход отсюда находится в наших собственных руках, и что двери тюрьмы могут открываться перед нами только при том условии, если мы сумеем тонко и благоразумно взяться за свое освобождение. Этим точно будет обрисована та атмосфера, в которой суждено было произрастать нашим надеждам на счастливое будущее и на перемены в личной судьбе.

IX.

Что эта надежда была и никогда не умирала, об этом я упоминал уже. Состояние безнадежности, как общее и постоянное явление, невозможно для человека. Оно может «находить» и длиться часами, может продолжаться несколько дней подряд, но не может сделаться непрерывным. Это не в природе человека, так же как не в природе человека думать постоянно о своей смерти. (180)

«Живой живое и думает». И весь мозговой аппарат человека служил искони и служит до сих пор только для того, чтобы ориентироваться в жизни, поддерживать и расширять жизнь, а отнюдь не уничтожать. Минуты приготовления к смерти, которые переживает каждый человек, может быть, не один раз в жизни, суть только минуты. Они доступны только или тому, кому угрожает внезапно непредвиденная смерть, или же тому, кто стоит у грани жизни, на краю естественной могилы.

Точно также у нас не могло быть постоянным и сознание безнадежности и состояние отчаяния, потому что оно отрицает жизнь, пресекает ее и притом не в преддверии гроба, а при полном расцвете юношеских сил. А живой напор их повелительно внушал мысль о продолжительной жизни, о торжестве ее, о победе, о счастье и воле, о всем том, что теперь недоступно, что заповедано и заказано и семью печатами запечатано.

Надежда была смутная, неуверенная, непостоянная и колеблющаяся, но она была. И не могло не быть ее, потому что состояние непрерывной безнадежности несвойственно здоровой человеческой организации. Соответственно этому двойному влиянию, т. е. субъективному протесту против безнадежности и объективному отрицанию всяких надежд, колебалось и наше внутреннее настроение.

Преобладал, конечно, повышенный и оптимистический тон. Но в него повелительно вторгались диссонансом нередкие ноты грусти, уныния и общей подавленности, при которой все представлялось в мрачном и безутешном виде. Затем «полоса» эта, как туча, проходила, и вновь на душе светило солнце, вновь торжествовали живые силы организма, и вновь мерцали надежды...

X.

Если бы дело шло только о надеждах, при полном отсутствии объективных данных в пользу или против этих надежд, то вышеприведенной ссылкой на природу человека можно бы и закончить. Но мы, как раз напротив, были обставлены намеренно такими жизненными условиями, которые должны были погасить насильственно все надежды, за отсутствием для них каких бы то ни было реальных или видимых оснований.

Питать надежды, находясь в руках, не способных на великодушие, питать надежды вопреки ясным заявлениям авторитетных лиц, всецело располагающих нашей судьбой, можно было людям или неискоренимого оптимизма, или фанатического самообольщения. Сторонний человек, может быть, сказал бы, что для этого нужно было иметь недожизненную натуру, неиссякаемый запас духовной мощи, более чем незаурядный ум, а самое главное — непоколебимую убежденность в том, что социальный диагноз сделан нами правильно, а путь избран верный. Тот путь, который одни называют преступным, а другие — героическим.

Нелегко было хранить непрерывно этот специальный огонь без потухания. Да еще в таком месте, где всякий горючий материал для него тщательно и сознательно к нам не допускался. Понимали ведь наши враги, что всякое сведение о новых дефектах правительственной системы, которые наши власти ухитрялись скрывать от большой публики вплоть до Цусимы, или о частичном взрыве наболевших чувств против возмутительных репрессий, — что все эти сведения подливают масла в наш не меркнущий огонь. Нужно было, напр., видеть наши лица при вести об убийстве Плеве, изобретателя и творца всего нашего застенка!

Да, нелегко было при этих условиях бодрствовать непрерывно со светильником в руках, не давать ему потухнуть и ждать прихода жениха, который всегда является, «яко тать в нощи», но часто, очень часто сильно запаздывает.

И не было у нас примера, чтобы у кого-нибудь этот светильник окончательно погас. Напротив, были примеры, когда потухал самый разум, а светильник все-таки горел... Не было примера, чтобы кто-нибудь изверился окончательно, истощенный бесплодным и бесконечным ожиданием, и сказал бы себе откровенно и решительно: «Нет, я не верю в наступление переворота! Нет, я не верю в близость революции на Руси, не верю, что когда-нибудь еще при моей жизни

Взойдет она,
Заря пленительного счастья...

Не было примера, чтобы кто-нибудь поставил крест над увлечениями своей молодости и обратился к своим врагам с робким, просительным или смелым и беззащитным заявлением: «Да, я ошибался и вполне сожалею об этом».

XI.

Зато с какою затаенною страстью предавались мы изучению исторических сочинений! С каким жгучим чувством не просто научной любознательности, а чувством почти религиозного верования отыскивали мы в книге все, что могло служить хоть косвенным, хоть отдаленным аргументом в пользу наших заветнейших убеждений. Здесь мы с особенной ясностью видели не только то, что прогресс идет вперед и с neodолжимой настойчивостью разрушает все преграды, но особенно то, что *все народы всегда в конце концов завоевывают себе свободу и перестают считать преступным стремление к ней и борьбу за нее.*

А когда мы получили, наконец, журналы, хотя бы и убогие, — с какой пылкостью набрасывались в них на внутреннюю политическую хронику, с затаенной надеждой отыскать там хоть какой-нибудь намек, хоть отдаленное напоминание о том, что русская нация не задушена в тисках политического рабства, что русский гений не забит наглухо в колодки, что все идет к тому же концу, и что конец этот один — *народная воля!*

В этом отношении все ухищрения властей — оградить нас от тлетворных веяний зловердных книг — не только разбивались прахом, как разбивались они повсюду в России, но играли как раз обратную роль. Чем меньше было книг, тем тщательнее мы их изучали. Чем тщательнее изучали, тем больше размышляли и фантазировали.

В книгах мы видели не только то, что там было написано, но и то, чего там не было написано и что мы отыскивали, руководясь намеками и недомолвками. Мы не только читали автора, но разбирали его по косточкам и дополняли на основании тех крупниц, которые тщательно извлекали из других авторов и старательно выписывали себе в тетрадь для памяти. Эти выписки, собранные по микроскопическим крохам, действовали тем внушительнее на убеждение, что они собраны были с затратой большого труда. Тяжесть аргументов субъективно чувствовалась увесистее в зависимости от величины усилий, потраченных на их соби́рание.

Когда, напр., человеку в нормальных условиях нужна бывает цифра железных дорог в России, он берет какой-нибудь справочник и находит ее там. А когда она понадобилась мне, я брал карту России, бумажку и карандаш и аккуратно вымеривал длину всех линий масштабом карты, делал соответственное умножение и получал общую величину всей сети в тысячах верст. Так добытая цифра тверже помнилась и гораздо больше импонировала.

Не приводили к цели и планомерные усилия наших врагов — изгонять от нас всякую книгу, в которой встречались слова: свобода, конституция, революция, социализм и социология. Кстати сказать, два последних слова они, очевидно, смешивали и совершенно не умели различать термины «социальный» и «социалистический». Чем реже попадались эти слова, тем заманчивее становились соединенные с ними понятия.

Самый же факт недопущения к нам литературы по социальным вопросам действовал на нас гораздо убедительнее многих (183) трактатов. Ибо для нас было давно, а теперь для младенца стало ясно, что на Руси запрещают только ту литературу, против которой литературных аргументов не находится.

ХII.

Если автор был отрицательного направления, боролся со всеми преступными «измами», начиная с либерализма, он шил свой трактат, как водится, бельми нитками и давал нам, поэтому, неистощимый запас аргументов против самого себя. Тем самым он еще больше укреплял наши позиции и поддерживал нас в уверенности, что основы наших воззрений правильны и что будущее принадлежит нам и нашим идеям.

И, напр., самый ярый защитник неверия не мог ничего лучшего придумать для насаждения его, как людям, изведавшим все тайны мироздания, доступные современному уму, дать Четы-Минеи со всеми их скандальными баснями. А также дать духовные журналы 40-х г.г., где легкоеверие и суеверие ставилась во главу угла и где преподносились читателю с видом глубокого убеждения в истинности разные сказки и небылицы, рассказчику которых никогда не было ведомо, что такое критическое мышление и в чем состоит научная дисциплина, именуемая исторической критикой.

А это-то чтение именно и поощрялось у нас в первые годы, как «духовно-нравственное» и назидательное. Самое любопытное здесь то, что ничего другого, кроме таких книг, нам не давали, и мысль, не занятая ничем серьезным, со всею тяжестью развитого, истрадавшего от голода мозга обрушивалась на детские сказания этих писаний, которые, несмотря на их наивность, предназначались отнюдь не для младенцев, а для убеждения заблуждающихся и инакомыслящих.

Понятно, в этих писаниях не оставалось камня на камне от разрушительной деятельности критически настроенного человека, который был заперт в стенах и лишен всех других влияний. Мало того, они давали еще обильный источник самых забавных и пикантных курьезов, благодаря которым все «духовное», как нечто специфически затхлое, подвергалось самому веселому вышучиванию.

ХIII.

Даже Библия давала человеку, чувствующему на себе ежеминутно грубую силу идейного и телесного пленения, не то, что вычитывают в ней благодушные мирные обыватели, жизнь которых хорошо смазана житейскими благами и течет гладко и елеино. (184)

В ней наши читатели искали и в изобилии находили всякого рода борьбу — борьбу с беззаконием и неправдой, с угнетателями и насильниками, борьбу за поправленные права, борьбу кровавую и беспощадную с истреблением всякого противника национальных интересов и нормального развития народа, борьбу насильственную — с одной стороны и идейную — с другой, величественную борьбу еврейских пророков, этих «самозванных» энтузиастов, «самочинных» выходцев из недр народа, в рубищах и вреттицах. Презираемые и избиваемые своими же царями, несмотря на преследование, они с еще большим дерзновением возвышали свой голос, полный огня и грома, обличения и негодования, угрозы и укоризны. Наконец, мы находили там борьбу всего народа за свое национальное самоопределение, за свою свободу и независимость, за свои права и привилегии, народа, который не считался ни с силой иноплемennых завоевателей, ни с продолжительностью узаконенного ими господства, ни с доктриной, правда, тогда еще не существовавшей, будто «нестъ власть, аще не от Бога».

Словом, везде борьба и борьба, везде дерзновение во имя священных и возвышенных интересов народа, везде вражда против всего, что сковывает и уродует правильную и закономерную жизнь родной страны, и всюду мученичество и страдание за идею, а вместе с тем страстное алкание поправной и униженной правды.

Таким образом Библия давала несомненное утешение в мысли, что судьба дерзких агитаторов, не умеющих ходить избитыми, широкими и гладкими путями, спокон веку всюду одна и та же. Поэтому она не только не доводила до «раскаяния», до смирения и покорности, а, напротив, как и всякая светская литература, лишь укрепляла мысль в том же направлении. И наши читатели после нее оставались в еще более прочном убеждении, что даже если бы очи наши и не удостоились узреть исполнения наших заветных желаний, то дерзновенное стремление к осуществлению их было бы признано всем светом, как священный долг всякого, кто почувствовал внутри голос своего Бога, зовущего его на этот крестный путь.

ХIV.

Итак, наша мысль неизменно продолжала работать в раз принятом направлении. Читали ли мы зажигательную историю Европы Шлоссера, мы находили, что он чуть не всех королей приговаривал к позорному столбу за «неслыханную» жестокость, «безумное» мотовство и «бессмысленный» разврат. Или, за отсут-(185)ствием романов, просматривая Четьи-Миней, мы видели, что чуть не всякое описание мученических подвигов проповедовало неуважение к властям, так как там ставилось мученику в особую доблесть, если он «плону в лицо игемона с дерзновением». Наконец, если мы поучались в чтении Свящ Писания, то останавливались на рассказах, как с фараонами и с израильскими царями и царицами, в случае надобности, практиковалась самая крутая расправа.

Всюду мы находили, что дело держащихся во имя блага родины, хотя бы и попадающих потом в плен, вовсе не так плохо, как стараются показать заинтересованные в своей позиции, торжествующие власти. В оправдании или самооправдании мы не нуждались. Не получали, поэтому, ни умищения сердца, ни сознания сугубой греховности, ни чувства самоутрыения. Поддержанию же душевной бодрости в минуты раздумья, тревоги или припадка меланхолии содействовало решительно все, что мы ни читали.

Ведь всякий всегда отыскивает в книгах то, что ближе всего задевает его или что составляет преобладающий интерес его жизни. И всякая мелочь, которая для обыкновенного читателя кажется не стоющей внимания, здесь вырастала в глазах отрешенных от всего живого до серьезных размеров, если только она льстила затаенному желанию и удовлетворяла непреодолимой потребности верить в то, что все идет к лучшему в этом наихудшем мире.

В свою очередь, факты и аргументы, которые свидетельствовали о том, что зло иногда торжествует, что бескорыстные и самоотверженные усилия часто не увенчиваются успехом, что бывало на свете много пылких и горячих верований, совершенно разбитых жизнью и насилием, — все такие и подобные вещи скользили по сознанию поверхностно и отнюдь не задевали его.

Вера всегда есть вера, и психология ее одна и та же, — касается ли она догматов о небесном Владыке или политических доктрин, говорящих о происхождении и о судьбах земных властителей. Все, что оправдывает веру, тщательно замечается, нанизывается в одну ассоциацию и запоминается. Все, что противоречит ей, столь же тщательно игнорируется, отбрасывается и забывается. И верующий искренно убеждается, что он верит главным образом потому, что в пользу его верований накопилось слишком много убедительных доказательств.

Вот почему заявление властей о том, что «отсюда не выходят, а выносят», действовали на нас точно так же, как и уверение, с которым обращаются к верующему в загробную жизнь, что с концом этой жизни для него кончается все. (186)

XV.

Но было бы большой неправдой, если читатель останется в убеждении, что мы были слепые фанатики, что нам чужды были объективные доводы холодного рассудка, и что мы размышляли и рассуждали по своим особым логическим законам, которые составляют свойства только нездоровых умов, от природы неспособных на кропотливое и хлопотливое изыскание истины.

Совершенно напротив. Времени для того, чтобы остыл юношеский фанатизм, у нас было более чем достаточно. К тому же и температура для такого охлаждения была чересчур низкая. Вполне достаточно было времени и для того, чтобы произвести переоценку всех ценностей. Мысль, работавшая критически с молодых лет, не могла направлять свою критику только в одну сторону и оставлять неприкосновенной другую. Критический ум от природы одарен большим запасом скепсиса, и этот скепсис умел разлагать и развенчивать все авторитеты, какая бы седая древность ни завещала нам их.

Совершенно невероятно поэтому, чтобы ум такого закала был безусловно слеп к одному роду авторитетов — именно к тем, которые учат, что зло политическое и зло экономическое — не только временное и преходящее, но и вполне устранимо обыкновенными земными средствами, к авторитетам, которые говорят, что ни в природе человека, ни в характере экономических и политических отношений нет никаких незыблемых основ, на веки вечные установивших нерушимо бесправие и самовластие, нищету и роскошь.

XVI.

Конечно, ни в социальных, ни в общих воззрениях мы вовсе не стояли на одном месте в каком-то умственном гипнозе или оцепенении. Напротив, несмотря на все неблагоприятные условия, несмотря на все, явно выдвигаемые преграды к нашему дальнейшему самообразованию и развитию, мы помаленьку

шли вперед и вперед, захватывали в своем интересе новые и новые области знания и углубляли и расширяли знания, уже имевшиеся.

Правда, эти завоевания делались с необыкновенной медленностью. Но они все-таки делались. И не столько в прямом расчете воспользоваться приобретенными сведениями тогда, когда откроют двери тюрьмы, сколько из ненасытной потребности ума — ставить себе новые вопросы и новые задачи и по-сильно решать их. (187)

Здесь начальство сыграло с нами самую скверную штуку. Когда умственные силы были еще свежи, когда запросы ума были сильны и способность к усвоению новых сведений пластична и энергична, тогда нам почти не давали материалов для умственной деятельности и научной работы, или же давали их в крайне ограниченных размерах. А когда этот материал накопился в достаточном количестве и стал расширяться быстро и почти безгранично, — особенно с появлением у нас книг, присылавшихся из Музея, — тогда, увы, силы наши были уже ослаблены как возрастом и бездеятельностью, так, особенно, плохим питанием. И мы не могли уже использовать всего научного богатства в желательной мере и с желаемой пользою.

Не все одинаково ревностно занимались. Не все были одинаково разносторонни. И не мне описывать поименно, кто, в какой области и в какой мере обогатил себя. А главное, кому и какое удовлетворение доставлял интеллектуальный труд, вечно свежий и всегда привлекательный.

Этот труд, как бы он ни был мало продуктивен и жизнедеятелен, был во всяком случае для большинства главным содержанием нашей бессодержательной жизни. И можно без преувеличения сказать, что мы *за это двадцатилетие просидели за книгами столько времени, сколько редкие из наших сверстников на воле*. Мы прочли за это время, наверное, большее количество книг, чем где бы то ни было на свободе, хотя, увы, не всегда ценных и не всегда стоящих того, чтобы на них тратить силы и внимание.

Стоит ли прибавлять, что и продумано и прочувствовано было над этими книгами так много, как много можно продумать и прочувствовать, только будучи наедине с книгами, вне всяких «отрезвляющих» и отвлекающих житейских впечатлений.

XVII

Особыми симпатиями, конечно, пользовалась *беллетристика*, которая вначале долго и настойчиво изгонялась из нашего обихода.

В запрещении нам изящной литературы сказалась та же опытная рука тюремщика, которая ограждала нас решительно от всего, что могло бы если не скрасить нашу мрачную жизнь, то по крайней мере внести в нее частицу поэзии и очарования. Нам нечем было заглушить гнетущее чувство боли, раз оно возникало. Нам не над чем было забыть и отвлечься от созерцания и ощущения тюрьмы. Нам негде было найти того сказочного Пегаса, который на крыльях воображения унес бы нас из-под (188) душных, давящих сводов на простор широкого и свободного мира.

Фантазия, правда, у нас была своя, но не у всякого она была жива и продуктивна. Поощрять же и развивать пустое фантазирование было чрезвычайно опасно — с точки зрения душевного равновесия. Так легко было здесь дойти до галлюцинаций, ясновидений, болезненного бреда и, наконец, до явного сумасшествия, когда человек уже теряет власть над непокорными и слишком живыми умственными образами. Здоровой же пищи для воображения нас намеренно лишали.

И да будет позорна память того благодетеля человечества, который, избревши одиночные тюрьмы, додумался лишить заключенных там и возвышающих художественных произведений!

Я не в силах описать или сосчитать, сколько часов, а может быть, и дней подряд проводилось среди фантастических видений, навязанных романом. Когда запрещение с них было снято, к нам поплыли и в библиотеку и в переплетную — для чтения всевозможные творения этого рода, просто изящные, и изящные во всех отношениях, и вовсе не изящные. Много было корифеев всемирной литературы, старых, старинных, и новых, и новейших. Были, с позволения сказать — беллетристы вроде знаменитого при «Свете» Гейнце. Когда отношения с жандармами шли ровным и мирным ходом, они присылали нам переплетать и читать всякую дребедень.

Серьезного у них почти не было, романов же — хоть пруд пруди! Почти вся библиотека при их канцелярии состояла, главным образом, из романов, и множество из них было переплетено и прочитано нами.

Это было, конечно, развлечением, которому отдавались мы только временами и между прочим, но чаще всего летом, когда читать можно было на дворе и притом часто в компании. При этом желаю-

щие могли заниматься каким-нибудь подходящим рукоделием. А у нас даже Карпович скоро выучился вязать фуфайки.

XVIII.

Серьезными же вещами мы занимались большею частью в одиночку и в первые годы могли обсуждать их только один на один со своим товарищем по прогулке. Это касалось как разнородных научных вопросов, так в частности экономических и политических. Благодаря этому мы долго не могли подметить разногласий и разномыслий, которые незаметно и постепенно назревали в нашей среде. (189)

Все мы, за исключением Яновича и Варынского, были приговорены судом, как члены партии «Народной Воли». А потому в политических и экономических воззрениях, как думалось, были солидарны. На самом же деле первые годы уединенных размышлений не прошли даром.

Позднейших марксистов обыкновенно упрекали за их догматичность, за слепое доверие к авторитету и нежелание критически относиться к истинам, которые, может быть, и верны, но не бесспорны, как бесспорны, напр., математические аксиомы. Мне сдается, что старые народовольцы грешили этим в не меньшей степени.

Да иначе и быть не может. Всякая партия, вынужденная скрываться в подполье и лишенная возможности открыто обсуждать свои принципы и программные вопросы, слишком многое берет на веру и потому бывает слишком строга к правoverию своих адептов, так как незаметное уклонение их в иноемыслие может угрожать самому существованию партии.

По крайней мере у нас, когда обнаружилось при самом начале общественных сношений, что некоторые более или менее давно таили в себе упорную склонность к социал-демократии, из стариков многие отнеслись к ней очень и очень сурово и, как водится, свысока. Пробным камнем у нас, как всюду, был вопрос об общине, этот догмат своего рода старых народников. И дебаты о ней у нас были столь же горячи, страстны и ожесточенны, как и всюду на Руси. Когда открылось, что из нас несколько человек (Янович, Лукашевич, Шебалин, Морозов и я) не только не поклонники русского общинного быта, но не прочь и совсем разрушить его, нас готовы были обвинить в настоящей измене не только святым заветам всей передовой русской литературы, из которой партия Н. В. почерпала материалы для своей экономической программы, но и «святому делу служения народу» вообще.

Но, как ни остры и ожесточенны были прения, особенно на первых порах, было очевидно, что отпавших еретиков нельзя было переубедить. Волей-неволей наша единая партийная семья раскололась. Мы устремили все свое внимание в город и на фабрики. А те, главным образом, в деревню и на интересы земледелия.

Мы приветствовали капитализм, как силу, не только организующую рабочих и составляющую революционные кадры, но и *созидающую промышленное богатство страны*. Они же предавали его проклятию, как причину обезземеления и *обеднения народа*. (190)

XIX.

А затем все остальное шло как по маслу, до буквальности сходно с тем, что делалось везде, как в Вольно-Экономическом Обществе, так и в Средне-Колымске. По крайней мере в одном очерке Тана из жизни города Пропадинска я помню одну картинку прений на экономические темы. Если под ней подписать: прения в Шлиссельбурге в 96—98 г.г., то большой ошибки не будет.

Прения, особенно горячие и громкие, конечно, изоцрали умы, полировали кровь, укрепляли легкие и даже усиливали аппетит, что при сидячей жизни было далеко не лишнее. И, несомненно, помогали укреплять позиции друг друга.

Объективно говоря, эти разногласия внесли больше разнообразия и оживления в наш умственный мир, чем было бы в том случае, если бы мы были все более или менее согласны.

Умственный застой и *китаизм наступает как раз тогда, когда из общества изгнано или запрещено все, что может противоречить раз установленным принципам и обычаям*.

Даже и теперь, несмотря на разность воззрений, при ежедневных встречах и частых спорах мы до такой степени изучили друг друга, что заранее могли угадать, что скажет тот или другой из нас по тому или другому поводу. Что же было бы, если бы этой разности во взглядах не существовало, и если бы каждый видел в своем соседе свое другое интеллектуальное я.

Не было у нас примера с тех пор, как мы раскололись, чтоб кто-нибудь, убедившись доводами противной стороны, перешел в другой лагерь. Очевидно, что-то лежало в природе человека, по крайней мере в природе его познавательной способности, в силу чего один примыкал более к марксизму, другой к народничеству, как говорили тогда, к с.-д. или к с.-р., как сказали бы теперь.

И, как ни страстны были наши прения, у нас не было также примера, чтоб они перешли во вражду исключительно на принципиальной почве, и чтобы теоретические контры отразились на обострении или изменении наших взаимных чувств и отношений. Между тем как на воле я слышал, что расторгались даже супружеские пары единственно по той причине, что муж с.-д., а жена с.-р., или наоборот.

Очевидно, несмотря на всю обостренность наших споров, все-таки чувствовалось, что они были слишком далеки от жизни.

XX.

Впрочем, о превращении некоторой части народников в эсеров мы ровно ничего не знали до июня 1905 г., когда к нам привели из старой тюрьмы М. М. Мельникова, который сообщил {191} кое-что. Более подробно посвятил нас в новый круг идей Г. А. Гершуни, всего за месяц до выхода. Развитие же и аргументацию этих идей мы встретили в печати только по выходе на свет божий.

И здесь ничто так не опечалило нас, как антагонизм двух направлений русской экономической мысли и экономической политики. Разлад как раз в те дни, когда необходимо было говорить только о солидарности да единении на почве завоевания новых конституционных свобод, которые пока еще не вышли из фазы пустых обещаний.

Нам казалось, что раздувать противоречия, взаимно пикироваться упреками в невежестве и непонимании социальной азбуки и вообще заниматься выяснением своих разногласий можно только в минуты досуга, политического затишья или полного торжества. Делать же это под Дамокловым мечом можно было только под влиянием либо крайнего легкомыслия, либо партийной ослепленности. Такое же, как мне казалось, легкомыслие сказалося потом и в решении бойкотировать Думу.

Но здесь я уже выхожу из пределов идейных распрей в нашем собственном застенке. И чтобы войти опять в него, я напомним, что у нас было так же, как остается и доселе, т. е. тюрьма неизбежно равняет всех. Вчерашние ярые противники на митинге сегодня могут встретиться рядом в одних и тех же узах. Здесь они должны дружески совместно владеть унылым существованием и помышлять только о том, чтобы как можно меньше досаждать и огорчать друг друга.

XXI.

Таким образом со стороны интеллектуальной нашу жизнь никоим образом нельзя назвать совершенно бессодержательной или совершенно бесплодной. Идейный интерес у нас всегда стоял очень высоко, и мы старались как-нибудь удовлетворить его всеми теми источниками, какие только находились в нашем распоряжении. В основных социально-политических взглядах мы, худо ли, хорошо ли, все-таки шли за своим веком и теперь отнюдь не кажемся отсталыми.

Но нужно сознаться, что собственно в политическом прогнозе, и в частности в вопросе о близости переворота, наши теоретические взгляды не оказали нам существенной услуги. Нужно сказать более. Поддерживая в нас душевную бодрость и оживляя надежды на возможность политического краха в более или менее неопределенном будущем, они не могли хоть приблизительно наметить нам срока для этого вождельного {192} конца. В этих вещах даже глубокие и притом вполне осведомленные умы не могли опередить своего времени и дать точные предсказания.

А когда началась война с Японией, то большинство, из нас тотчас порешило, на основании своих общих исторических и социальных знаний, что страна с таким политическим режимом, как Россия, не может вести победоносной войны. И только некоторые из наших товарищей, несмотря на свою теоретическую осведомленность, были ослеплены чувством патриотизма и судили совершенно иначе. Когда они желали победы России, то свое желание аргументировали не идейными доводами, — довод о необходимости для нас внешних рынков был слаб, да и взят он с чужого плеча, — а, так сказать, эмоциональными: «стыдно-де быть побитыми» и «нельзя желать сознательно родине такого позора».

Но я уже заметил выше, что наши интеллектуальные интересы и увлечения были все-таки более или менее безжизненны. Можно было построить какую угодно гениальную систему, можно было сделать выдающееся открытие; можно было обогатить себя самыми разносторонними и полезными сведениями. Но все это, как бы оно ни было важно для твоей полуграмотной и некультурной родины, все это останется здесь при тебе, в цепких руках сознательных гасителей всякого умственного движения, и никогда не увидит света. Быть может, случится это; быть может, нет. Во всяком случае, это еще под большим сомнением. Естественно, такая перспектива не могла оказать ни малейшего содействия нашей работороспособности.

И надо было иметь поистине необыкновенную голову, чтоб она, невзирая на полную неопределенность благоприятного исхода, все-таки неустанно работала. Работала бесцельно и совершенно независимо от всякого практического приложения своих трудов к живому миру...

И я до сих пор не могу сделать решительного приговора, вытекала ли эта интеллектуальная работоспособность просто из свойств здорового мозга, требующего деятельности, несмотря ни на что, и проявляющего ее, как проявляет птица в клетке инстинкт строения гнезд без всякой надобности в этом. Или же наша вера в скорое торжество дела, которому мы отдали всю жизнь, была без ведома нас самих глубоко, но прочно, заложена в недрах бессознательного. И потому она оказывала влияние как на наше настроение, так и на все проявление и направление умственной жизни совершенно независимо от нашего сознания. {193}

Вернее всего было и то, и другое. И в разных лицах и даже в одних и тех же лицах в разные времена сказывалось преобладание в нашей внутренней жизни то одного фактора, то другого.

XXII.

Но умственная жизнь, будь она даже в 20 раз глубже и интенсивней, чем была у нас, сама по себе едва ли могла наполнить все наше существование и дать ему тот внутренний смысл, без которого не стоило бы и тянуть его. Такие натуры, которые живут исключительно головой, вообще крайне редки. Мы же были почти исключительно все не из их числа. Иначе бы мы не попали туда, куда попали.

Нет, кроме тихих и безмятежных интеллектуальных радостей, кроме еще более тихого мерцания чарующих надежд и упований, задававших тон и поддерживавших нашу мечтательность, у нас была, как я уже упомянул вначале, и своя *реальная жизнь*. Когда нет настоящего дела, суррогат его хоть отчасти так может успокоить непреодолимую жажду деятельности, тот своеобразный мускульный зуд, который знаком всякому здоровому человеку в минуты вынужденного безделья. Этой потребности в некоторой степени удовлетворяли наши технические и проч. работы, которые давали кой-какой исход творчеству деятельной натуры. В этой области она могла не только строить замыслы, но и наслаждаться осуществлением их.

Природа человека весьма разностороння. Когда ей не дают возможности проявляться нормально в потребном для нее направлении, она все свои таланты посвящает на что-нибудь другое, что хоть временно может занять ее.

Если бы можно было учесть хоть приблизительно то количество чисто гениальных усилий ума и воли, которые потрачены в России на то, чтобы обмануть стражу и уйти из тюрьмы! Сколько блага было бы принесено родине, если бы эти даровитые натуры имели возможность тратить все свои способности на мирную и продуктивную работу! И сколько трагизма и неизмеримого зла скрыто в таком положении, когда даровитые люди либо гибнут под гнетом, либо растрачиваются на борьбу с ним, в то время, как бездарная и грубая, но организованная физическая сила топчет и сокрушает все, что стремится на широкий путь прогресса!

Правда, многие из нас с большим увлечением изучали столярное, токарное или другое подобное «искусство». Но всегда грустно было видеть со стороны, как человек с высшим образованием, с широким умственным размахом, стоит у верстака, точно простой мастеровой, и рассуждает, а то и горячо спорит о рациональном способе устройства шипов или о лучших приемах лакировки.

XXIII.

Я случайно только что упомянул о побеге.

Ни о чем так долго, упорно и мучительно не мечталось, как именно о побеге. Мечталось, несмотря на то, что трезвое сознание ясно говорило о полной его невозможности. Это «мечтание» находило как-то само собой, вдруг и без всяких причин, изредка лишь по поводу какой-нибудь недоглядки дежурного, которая в тот же момент вызывала вопрос: «а не воспользоваться ли сейчас этим?».

Мечтали об этом и в бессонную ночь, мечтали и днем, мечтали и в зимнюю вьюгу, которая слепит глаза часовому, и в яркий летний полдень, который так заманчиво манит на простор полей и на свободное лоно природы. Мечтали об этом тайно наедине с самим собой, мечтали и вслух, попарно и скопом.

Но больше всего, кажется, мечтали об этом в Христову ночь. Тогда, казалось, все до такой степени проникнуто мыслью о восстании из гробов и о торжестве жизни над тлением, свободы над пленом, что могут только приветствовать мое освобождение и братски обнять всякого, кто расторгнет узы во имя служения своим ближним.

Строились самые правдоподобные и осуществимые проекты: как выйти из здания, как влезть на стену, как обойти стоявшего там часового, спуститься со стены и нырнуть затем в быстрые воды Невы. Или же пуститься зимой по ненадежному и необозримому ледяному полю и в конце концов очутиться где-нибудь в Петербурге и отыскать там скорое и верное убежище.

Эти мечты с одинаковым упорством лезли в голову как тогда, когда у нас не было еще инструментов и мы не имели ни малейшей возможности выбраться из камеры, так и тогда, когда перепилить решетку уже не представляло никакого труда. Голова упрямо работала над этим, хотя было ясно, что уйти было невозможно, потому что электрические фонари на дворе делали для часового заметной всякую фигуру во всякую бурную, темную или снежную ночь.

Мечты эти, безнадежные и фантастичные, были положительно очаровательны и тешили своими волнующими перипетиями и воображаемой осуществимостью самых заветных и не заглушаемых желаний. Так мечтает подчас влюбленный юноша о (195) недоступной красавице, которая по общественному положению ему совсем не пара и которая не подавала ему решительно никаких надежд.

Эти мечты были так соблазнительны, навязчивы и вытекали так неизбежно из природы вещей, что для своего возникновения или обострения не нуждались ни в каком постороннем напоминании. Поэтому нас не мало позабавило, когда однажды Гудзь выдал нам очередной номер газеты «С.-Петербург», в котором несколько строк было замазано чернилами. Когда я их смыл, то оказалось, что там говорится о побеге одного или нескольких уголовных из какой-то провинциальной тюрьмы. Бедный наблюдатель хотел этим способом предохранить нас от опасной идеи и от тлетворного влияния периодической печати!

В последние годы, когда дошли до нас сведения о подводных лодках, я не мало мечтал о применении их для устройства подкопа под крепостную стену прямо в один из наших огородов, которые примыкали к этой стене. Разумеется, воображались доброжелатели, которые могли бы не только взяться за это, но и иметь средства на приобретение лодки нужного калибра. Предполагалось, она причалит под водой к крутому берегу, и ее обитатели в водолазных костюмах начнут подкоп в берег под водой и затем выведут его в надворную часть берега, где устроят пещеру с тайным отверстием для воздуха, как базу для всех дальнейших действий.

Мне часто представлялось, как это легко было бы осуществить и как мы все, по данному сигналу, сбегались бы среди бела дня в огород, куда выходит подкоп, нырнули бы один за другим на глазах дежурных в открытое отверстие и затем тоннелем добежали бы до подводной лодки, даже сквозь слой воды, которая должна заливать начало подкопа от лодки.

Очевидно, фантазии Жюль Верна, знакомые с детства, нашли здесь неожиданное практическое и крайне заманчивое приложение.

XXIV.

Но возвращаюсь к реальной жизни.

Самым жизненным нервом, который бился постоянно и непрерывно, независимо ни от каких случайностей, была борьба за «льготы», с которой, собственно, я и начал этот очерк. Это была наша реальная жизнь, совершенно чуждая мечтаний и фантазий, научных, поэтических или освободительных.

Борьба эта была разная: или открытая и вполне предусмотренная, или тайная и закулисная, хоть и столь же деятельная, или же пассивная. Это — постоянное отвращение от своих (196) тюремщиков, нежелание осуществлять какие бы то ни было их распоряжения, непрерывный и неослабный антагонизм, стремление уйти в себя и всячески оградить себя от внезапных и всегда ожидаемых оскорблений и посягательств на свою личность и на свое достоинство.

В чем бы ни выражалась эта борьба, какие бы формы она ни принимала, даже в самые мирные и либеральные дни нашей жизни, она держала нас в состоянии хронического раздражения. Такое раздражение, исхода которому почти не было в активной и разносторонней деятельности, отражалось крайне губительно на нервной системе. Но в то же время оно заменяло до некоторой степени живые впечатления и действовало на нашу духовную организацию в таком же роде, как температура действует на организацию физическую: в известных пределах она поддерживает жизнь и составляет необходимое условие для нормального обмена веществ. За границами же этих пределов действует болезненно или совсем разрушительно.

Я уже сказал ранее, что хотя те блага, которые нам нужно было завоевать, были ничтожны, они для нас были необходимы, как минимум, при котором мы могли согласиться жить, переносить все прочие лишения и терпеливо ждать лучших времен. Нас посадили, можно сказать, прямо на голодную смерть, физическую и духовную. У нас хотели отнять сначала самое ценное, что было для нас дороже

жизни и чем особенно мы были ненавистны нашим врагам,— нашу духовную личность. А затем довести нас до последней степени отупения и обезволения и заморить окончательно медленной и благовидною смертью.

Перспектива была настолько угрожающая, что она чуть не в первые же дни вызвала самые решительные действия со стороны Мышкина и Минакова. Затем целый ряд мелких стычек, главным образом за право перестукиваться и гулять вдвоем, закончился необыкновенно трагическим самоубийством Грачевского.

Я приехал в тюрьму тогда, когда наиболее острый, так сказать, террористический период борьбы уже закончился и перешел в более мирный, о котором только я и могу говорить с точностью.

XXV.

Борьба эта велась уже более или менее парламентарным способом и, как водится в тюрьмах, до некоторой степени своим боком. Я уже говорил кое-что об этом, когда речь была о нашей голодовке. В парламентских же дебатах с начальством принимали участие либо охотники, иногда самые зубастые, либо (197) депутаты, т. е. лица, заведующие теми или другими интересами нашей жизни с тех пор, как у нас установилось самоуправление. Иногда же просто случайные индивиды, которые были настигнуты на каком-нибудь «правонарушении» и в своем самооправдании старались доказать полную несостоятельность и даже безнравственность либо бесчеловечность самого «закона».

Парламентские и дипломатические речи, образцы которых уже приводились в прежних очерках, велись или ровно, спокойно, покладливо, или бурно и резко, смотря по существу дела и по настроению заинтересованных сторон. Иногда заявление, подробно мотивированное, препровождалось начальнику управления на бумаге. Бывало, что этот способ даже поощрялся, особенно при Гудзе, который, может быть, хотел снять с себя лишнюю обузу в деле передачи наших ходатайств по команде.

Когда простая ораторская речь или спокойные доводы рассудка не действовали, тогда пускались в ход, как и в парламентах, угрозы с более или менее прозрачными намеками на вооруженную борьбу, на вмешательство в дело всей нации, или на какие-нибудь определенные деяния мятежнического характера, которые нарушат стройное течение жизни, а на администрацию навлекут запросы и разные реприманды из Петербурга.

Но, как бы ни велась эта борьба, как бы ни были редки серьезные активные мероприятия, вся жизнь человека бесправного, стоящего вне закона в руках грубых тюремщиков, неуверенного в завтрашнем дне, держала нас в состоянии непрерывного воинственного напряжения, в ежедневном ожидании всяких случайностей.

В таком состоянии, как кажется, находятся в России целые местности, «сильно и чрезвычайно охраняемые». Конечно, и наша стража, хотя она и не носила при себе оружия, чувствовала себя постоянно на военном положении.

XXVI.

Никаких правил, установленных для нас заботливой администрацией, мы не признавали. Никакие их распоряжения не считали для себя обязательными. Никакие аргументы не могли нас убедить ни в святости, ни в справедливости, ни в необходимости этих правил. Соблюдали мы их, только подчиняясь непреодолимой силе, и до тех пор, пока эту силу можно было или взять хитростью, или устранить как-нибудь иначе. Поэтому ни одного дня никто из нас не был уверен, что он соблюл все «заповеди» и что к нему не зайдет вечером смотритель учинить какое-нибудь мздовоздаяние. (198)

Один вид этого неожиданного и незваного посетителя, являющегося без доклада и без церемонии со специальной охраной из одного или двух унтеров, способен был вывести из равновесия, а более нервные при этом воспалялись как порох. Нужно было много самообладания и весьма продолжительную привычку, чтоб относиться спокойно и отвечать без дерзостей офицеру, который самое вступление в ваше жилище начинает с того, что берет вас под арест, т. е. ставит возле вас стражу и тем напоминает вам, что вы можете сделать ему и чего он ждет от вас.

Но и независимо от этого, даже мягкое и елико возможно деликатно сделанное замечание способно было привести в негодование, если дело возникало из-за какого-нибудь мелочного вздора, давать выговоры за который полагается малолетнему школяру, а отнюдь не 40-летнему мужу. Для него самое слово «инструкция» ненавистно, как напоминание и символ произвола и беззакония. Нашим товарищам в Алексеевском равелине читали инструкцию, в которой угрожали ни более ни менее, как 4000 шпицрутеннов. У нас же инструкцию, составленную якобы для каторжников, предъявляли Лаговскому, который даже не был лишен прав. А инструкцию, предназначенную для мужчин, вручали женщинам.

После того, как вышел закон, отменивший телесные наказания для ссыльных женщин, инструкция с упоминанием о 50 розгах все еще вывешивалась в камерах наших дам. Когда я указал «либеральному» Гангарту на эту несообразность,— чтоб не говорить о беззаконии,— он ничего не мог возразить, кроме того, что они вывешивают инструкцию в камере, а кто в ней сидит, это их не касается.

Трудно было ладить с такой инструкцией, о которой сами составители говорят, что они не разбирают, для кого, собственно, она предназначена, а для кого нет.

XXVII.

Мне пришлось бы писать и долго и слишком субъективно, если бы я стал рассказывать разные случаи из нашей воинственной практики. К тому же таланты военного хроникера мне совсем не свойственны. Да и все эти случаи были столь же мелочны, как мелочна была каждая отдельная цель, к достижению которой стремились воюющие. Событием это могло быть только лишь в тюрьме.

Те, кто имел дела с жандармами, особенно если хлопотал перед ними за близких лиц, находящихся в их власти, те отлично (199) знают, как успешно действует на них властный или грубый тон, окрик, резкие и даже бранные выражения, откровенные угрозы и вообще такое обращение, которое кратко и точно определяют, когда говорят, что человек действует нахрапом.

С мелкими душами, продажными, лакействующими всю свою жизнь и трусливыми, такой способ обращения, говорят, всюду дает наилучшие результаты. Они слишком приучены к такому тону своим начальством. Не даром же английские корреспонденты, знатоки наших бюрократических сфер, не могут достаточно надивиться их грубости, невоспитанности и настоящему хамству, которые бросаются всякому в глаза в этих сферах и, которые составляют полную противоположность английскому джентльменству.

Вести дело джентльменским образом с такими господами, да еще низшего ранга,— значило неминуемо проиграть его. Деликатное обращение к ним в их глазах кажется слабостью, робостью, вообще ничтожеством. А они уступают только тогда, когда чего-нибудь опасаются. Просителям, как общее правило, у нас дают только голые обещания, особенно если они являются с пустыми руками. Если хочешь чего-нибудь добиться, требуй настойчиво, и твои требования, хотя бы они имели только видимость веса, скорей достигнут цели.

Кто всю свою жизнь только и делает, что исполняет чужие приказания, не рассуждая, у того в природе заложена и практикой развита большая склонность впадать в растерянность и уступать при всяком властном окрике. Все грубое и резкое импонирует их грубому уму, как сила, и они невольно уступают ей, даже не отдавая себе отчета.

Все эти истины, теоретические и для многих очевидные, выведены были нами, более или менее невольно, из опыта, как резюме из наших сношений с жандармами. В конце концов сложилось убеждение, которого мы не скрывали и от них самих: если хочешь чего-нибудь добиться от них, вырутай их хорошенько или учини какую-нибудь другую грубую неприятность, которую они *почувствовали* бы, потому что *пожимать* доводы не всякий из них в состоянии.

Благодаря этому тот из нас, кто чувствовал себя в силах стать с ними на один уровень и, во имя правила: «на войне как на войне», не церемонился с ними, тот скорее достигал желательных результатов. Напр., мы всю жизнь тщетно добивались, чтоб нам давали для чая настоящий, а не остуженный кипяток. И все было напрасно. В последний год Г. А. Лопатин сделал письменное обращение по этому поводу к Яковлеву в выражениях, не вполне удобных для печати, но чрезвычайно энергичных и красноречивых. Послание подействовало. После этого ему отдельно стали нагревать маленький самовар и приносить его в камеру в тот час, когда остальным раздавали обычный кипяток.

Говоря о способах борьбы, невозможно входить во все эти подробности. Многие из них были не вполне корректны, и, может быть, это как раз те, которые оказались наиболее успешными. Однажды, напр., К. Ф. Мартынов, выведенный из себя зрителем Федоровым, который запрещал ему лазить на окно, просто-напросто шпонул ему в физиономию чрез открытую форточку в двери. За это он был закован в кандалы и затем высидел с пол года в строгом карцере в старой тюрьме. Потом Федоров спокойно с ним помирился, а лазанье на окно перестало быть преступным.

XXVIII.

Самое «буйное» и всеобщее выступление у нас было одно, это 2 марта 1902 г.

Я уже не раз упоминал об этом вскользь. Когда перехвачено было у солдата письмо Попова к матери, у нас тотчас же отняли многие из прежних льгот. В тот же день вечером, когда все мы, не зная причины, были крайне огорчены и возбуждены этим лишением, у С. Иванова вышло обычное «столк-

новение» со зрителем. С. Иванов закрыл глазок в двери и не хотел «подчиниться» требованию зрителя, мотивируя это тем, что дежурный раздражает его, когда заглядывает.

Тогда Гудзь, во исполнение приказа полковника Обуха, распорядился связать непослушного и перенести в карцер, так как добровольно он отказался идти. Сидел С. Иванов рядом со мной справа, а пустая камера, в которую должны были перенести его взамен карцера, была рядом со мной слева. Я слышал, как заходили к нему зачем-то раза два и вели какие-то переговоры, и чутьем догадался, что происходит что-то неладное. Поэтому я стал внимательно прислушиваться. Когда к нему вошли в камеру еще раз, я услышал легкую возню и полусдавленный слабый крик:

— Доктора зовите, доктора!

Моментально, не помня себя, я схватил швабру и ее палкой стал со всей силы барабанить в дверь. Точно по сигналу, началось то же самое во всех других камерах. Всякий, очевидно, орудовал тем, что было под руками. Вышел концерт, подобного которому не слышала наша тюрьма с начала своих дней.

Недавно мне пришлось слышать, что такой же концерт, но раз в 20 более сильный, происходил в Бутырках в ноябре 1905 г. А теперь, наверное, где только он не происходит! (201)

Стуки, крики: «палачи, изверги, кровопийцы» и проч., какое-то громоподобное уханье, точно вышибал кто-то свою дверь тараном, продолжались с полчаса, то замирая, то вновь поднимаясь. Кто кричал «зрителя сюда!», кто: «полковника!», кто: «доктора!». Полковник быстро явился и с низу коридора подавал успокоительные реплики в таком роде, что ничего, мол, особого не происходит, связали только человека, который не хочет идти в карцер.

Тем временем С. Иванова, который тотчас же лишился сознания, перенесли мимо моей двери в пустую камеру. Попов, сидевший с другой стороны от него, потребовал, чтобы его пустили посмотреть, в каком состоянии находится наш товарищ. Зритель выпустил было его, но он не успел дойти, как снизу послышался приказ полковника: «не надо!». Его повлекли насильно обратно, он что-то кричал, а мы все снова усиленно колотили в двери. Словом, точно по волшебству, всегда мертвенно-тихая тюрьма превратилась в буйное отделение сумасшедшего дома.

Доктора все-таки пришлось позвать. Он привел в чувство С. Иванова и просидел у него с полчаса. С его появлением в тюрьме все тотчас успокоилось.

Больной пролежал еще дня 2—3 в пустой камере.

На железной обшивке моей двери остались знаки этой вспышки, не заделанные до сих пор. А в нервах у меня долго чувствовалась такая встряска и боль, подобной которой я еще ни разу не испытывал.

Через день после этого Вера Николаевна сорвала погоны с Гудзя в виде протеста за учиненное насилие и с целью довести об этом до сведения высших властей, так как письмо к ее матери, в котором был намек на это, Гудзь отказался переслать.

Более мелкие и одиночные выступления подобного сорта производились не раз. Но любопытно, что у нас ни разу не были выбиты стекла в окнах, что так нередко случается в наших политических узниках в виде протеста против того или другого незаконного лишения.

XXXIX.

Трудно, конечно, перечислить хоть с некоторой полнотой все *права*, которые были в конце концов добыты этой мелочной, повседневной и раздражающей борьбой. Назову только для курьеза некоторые из них, потому что в приложении к таким житейским актам термин «право» можно употребить только в виде шутки. (202)

Право стучать, шуметь, свистать и петь, право лазить на окно или забор (чтобы укрепить вьющееся растение или приделать навес), право подкапывать забор, иметь железную лопату, передавать в огороде записки друг другу, останавливаться друг с другом при встрече, особенно же с дамой, или на коридоре у двери камеры, заходить в пустую чужую камеру, тушить огонь, завешивать окно от солнца или холода, стричься под гребенку, мыться наедине и еженедельно, иметь при себе разом несколько книг, бумагу и чернила, держать на окнах цветы, делать для самого себя мебель или принадлежности костюма, иметь вилку и нож, чайную ложку, белье, хлеб, кофе, ягоды, фрукты и разные другие «самовольные» снеди, и пр. и пр.

Пределы лишений и запрещений были столь же неограничены, как неисчерпаемы пределы человеческой жестокости и самодурства.

В бесправном государстве общество добивается «пяти свобод», необходимых ему для его нормальной жизни. Как ни важны эти «свободы», их сравнительно очень немного. В семи остальными пра-

вами всякий обыватель пользуется более или менее невозбранно. И уже давно прошли времена, когда запрещалось, напр., носить одежды пурпурного цвета, или когда Фридрих Великий ходил по улицам своей столицы и самолично следил своим королевским носом, не пахнет ли откуда жареным кофе.

Мы же все были обращены именно в то первобытное состояние, при котором рабу *не разрешалось ничего, на что не соизволит воля господина*. И потому нам шагу нельзя было ступить без того, чтобы не натолкнуться на преграду и не войти в столкновение с унтерами, которые нарочно поставлены охранять ее, и с властями, которые ежедневно являлись проверять строгость надзора. Не было ни малейшей возможности уйти от охранителей, чем всегда так широко пользовался русский обыватель до последнего времени.

На психику же нашу все перипетии этой мелкой борьбы действовали почти так же, как и перипетии настоящей борьбы. Удачи и неудачи, победы и поражения, наступления и отступления, разрыв сношения с тюремщиками и временное перемирие с определением условий соглашения, а над всем этим ежедневное ожидание новых насилий либо возврата к старым лишениям, — все это по-прежнему оставляло нас в почти непрерывном и неисправимом *революционном* напряжении. Оно давало иллюзию жизненности и некоторую осмысленность нашему прозябанию в царстве полного застоя и разрушения. Не давало оно только одного: сознания важности и величия этой борьбы да чувства нравственного удовлетворения. {203}

У меня, по крайней мере, всегда копошился где-то в тайниках предательский вопрос: да стоит ли хлопотать о поддержании и разнообразии жизни без полной уверенности на освобождение отсюда? Не унижается ли в ней человек, когда он практикует и культивирует в себе неслыханное, но чисто воловье терпенье? И не лучше ли было бы, не входя в компромиссы, доставить нашим врагам удовольствие — заморить нас поскорее и настоящим образом?

Быть может, те, кто не вынес такого режима, обладали наиболее высокой, чем мы, и утонченной организацией, подобно тем высокопарящим свободным птицам, которые не выдерживают заключения в клетке и гибнут в тоске по синему небу и необъятному воздушному простору...

Успокаивала только мысль о том впечатлении, какое производит на самые благонамеренные умы длительное истязание людей, которые провинились только тем, что слишком рано и слишком горячо стремились к обновлению своей родины. Эта мысль отчасти примиряла с практикой бесконечного терпения.

И, может быть, правы эти благонамеренные умы, когда они негодуют против бессрочного заключения сильнее, чем против быстрого умерщвления. Нет только они, но даже некоторые из нас, у кого терпение успело истощиться, считали смертную казнь более легким наказанием...

XXX.

Для нас не было секретом, что все физические и проч. лишения наложены были на нас планомерно, в тех видах, чтобы «сломить волю заключенных». Власти, насаждавшие всюду безволие и покорность, не могли мириться с мыслью, что есть люди, готовые проявить необычайный запас своей энергии в направлении, совершенно для них невыгодном, которое они так-таки откровенно и называли направлением «вредным». Но они были все же недостаточно дальновидны. Уступая понемногу, в силу необходимости, они тем самым *доставляли нам практику борьбы*, которая, как известно, закаляет дух, а вовсе не расслабляет.

И я нередко думал, что было бы с нами, если бы с первых же дней нас посадили в условия полного довольства? Если бы нам доставлялось все, чего бы мы ни пожелали, кроме самой свободы и бесконтрольных сношений с волей? Сытое, бездельное и спокойное существование не сломало ли бы душевной энергии у большинства из нас гораздо скорее и гораздо вернее, чем жизнь, полная лишений и борьбы против них? {204}

По крайней мере, житейская практика превращения бунтующих студентов в мирных и сытых буржуа говорит за это. Не даром же такой опытный авантюрист, как Наполеон III, говаривал, что он боится голодных и тощих, и совсем не боится сытых и толстых.

Раздражение против властей всегда и всюду прямо пропорционально тому гнету, которым они награждают подданных. Последний год сделал эту истину почти очевидной для всех. И кому суждено будет, в России дожить до настоящего и подлинного «замирения», т. е. до уничтожения произвольных гонений и наказаний за то, что нигде в Европе не составляет преступления, тот увидит подтверждение этой истины и с обратной стороны. Т. е. он увидит, как легко примиряются с правительством даже непримиримые, лишь только они добиваются от него всего, что необходимо для правильной политической жизни.

А потому теперь, когда миновала нас эта горькая и жгучая чаша шлиссельбургских страданий, я могу, по крайней мере за себя, выразить некоторое чувство удовлетворения за то, что в горниле лишения прочно выковали во мне чувство непреодолимого отвращения к насилию всякого рода. Воспитали способность к глубокому недовольству на все, что носит на себе печать произвола и самовластия, которое тормозит свободное и всестороннее развитие всякой человеческой личности.

И можно быть уверенным, что практика массовых ссылок, которая теперь разворачивается без удержу (август 1906 г.), послужит наилучшей школой для того, чтобы вкоренить и закрепить в широких кругах народа самые прочные и надежные гражданские чувства.

А ведь только при этих чувствах и возможно установить свободный и закономерный государственный порядок. (205)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Статистические итоги.

I.

Вместе со мною и Лукашевичем заключенных в тюрьме стало двадцать семь человек. Кроме того, в предыдущие два-три года двенадцать человек умерло, из них двое были казнены, а один покончил самоубийством. Таким образом целая треть всего числа тем или иным путем в короткое время избавилась от этого тяжелого ига.

Простейший расчет подсказывал, что через пять лет не останется ни души, если только население тюрьмы не будет пополняться новыми заключенными или не наступит какой-либо перемены в тех условиях жизни, при которых люди умирали, как мухи. Конечно, число заключенных возрастало от присылки новых жертв. Но возрастало оно очень медленно, и ни разу за все время оно не оправдало надежд тех лиц, которые желали сделать из Шлиссельбурга верное учреждение для истребления политических противников.

По Лопатинскому процессу вскоре после нашего прибытия, в 1887 году, заточили пять человек, а еще через год прибавился Б. Оржих. С этого же времени и до 1901 года, когда был привезен Карпович, нового материала совершенно не поступало. В течение долгих четырнадцати лет мы не видели ни одного нового лица, принадлежащего к нашему лагерю.

Правда, в 1890 году к нам попала Софья Гинсбург, но ее заперли в «Сарае», и она через несколько недель покончила с собой. О ее заключении и смерти мы узнали лишь много лет спустя, и потому она не играла никакой роли в нашей жизни.

II.

Хотя импорт за эти годы приостановился, экспорт, однако, не прекращался. Смерть продолжала производить свои опустошения, но значительно медленнее, ибо условия жизни с каждым годом становились более сносными. В 1887 году произошла (206) трагическая смерть Грачевского: он сжег себя. В 1888 умерли Арончик и Богданович. В 1889 — Варынский, в 1891 — Будицкий, а в 1896 — Юрковский. До последнего упомянутого года трое были освобождены, за отбытием определенного им наказания.

Один из них, Лаговский, был посажен на пять лет без суда, в административном порядке, а когда эти пять лет прошли, отсидел еще пять за то, что не проявил раскаяния.

В 1896 году ряды наши сильно поредели: восемь товарищей были увезены из тюрьмы. Из них трое сошли с ума, а пятеро были помилованы по манифесту 1896 года. Кроме того, в том же году, как я уже говорил выше, умер Юрковский.

За время моего пребывания в тюрьме число заключенных ни разу не превышало тридцати трех. Число это приходится на 1887 год. В 1896 году оно составляло лишь четырнадцать человек, а в 1898 сократилось до двенадцати и в течение трех лет держалось на этой цифре.

В 1901 году прибыл Карпович, но в следующем году был выпущен Тригони, отсидевший свои двадцать лет. По той же причине покинул нас через полтора года после Тригони и Поливанов, так что осталось всего одиннадцать. В 1904 кончился срок еще двоим, и число заключенных свелось всего к девяти.

III.

Предоставляю читателю самому вдуматься, каково могло быть душевное состояние в этой обстановке, которая в два с половиной года унесла треть всего наличного состава. А ведь те, что умирали, были не слабые, не разившиеся подростки и не отжившие свой век дряхлые старцы, а люди в самую цветущую пору жизни.

И люди эти умирали не как при осаде крепости от недостатка провианта или от вражеских пуль, не от чумы, против которой наука еще недостаточно вооружена, а в период глубочайшего мира, от режима, который в мельчайших подробностях был выработан сведущими и компетентными лицами, предписан самим министром внутренних дел и соблюдался под его бдительным контролем.

Здесь не может быть речи об упущениях или превышении власти со стороны местной администрации. Это бесшумное истребление совершалось в шестидесяти верстах от столицы, под надзором высшего полицейского начальства, о котором юристы учат, что оно обязано заботиться о жизни и безопасности населения. (207)

Чтобы устранить от местной администрации тень подозрения в том, что по ее вине происходят многочисленные смертные случаи, департамент полиции предписал представлять ему каждый месяц подробные сведения о состоянии и самочувствии заключенных. И получал каждый месяц сообщения, что они тают с каждым днем, как свечи, покорно, беззвучно.

Я не стану описывать и душевного состояния живых, тех, что каждый день с трепетом спрашивали себя, кому настанет завтра черед перешагнуть из живой могилы в мертвую. Невозможно описать беспредельную душевную боль, терзающую здорового человека, запертого в одиночной камере, когда он слышит и всем существом своим чувствует, что товарищ его, любимый друг, рядом с ним изнемогает в трагической борьбе со смертью, когда сердечный порыв властно гонит его на помощь к умирающему, чтобы хоть чем-нибудь облегчить горечь его последних минут. Но... ему остается хоть колотиться головой об стену, чтобы заглушить мучительные стоны своего сердца.

Даже и великому художнику слова было бы не под силу изобразить это нестерпимое душевное страдание, какое едва ли выпадало на долю кому-нибудь, кроме нас.

IV.

Ничто не может сравниться с этими муками, кроме разве тех чувств, с какими мы присутствовали при казни наших товарищей и видели, как воздвигались для них эшафоты. Нужно, однако, оговориться: мы видели это скорее умственными очами. Благодаря нашей полной изоляции в первые годы, администрации удалось скрыть от нас процедуру казней. Но, когда в 1902 году казнили Балмашова, события этого от нас уже не смогли утаить.

До этого времени мы пользовались свободным доступом во все три двора и оба здания тюрьмы. Но тут нам запретили доступ в старое здание и примыкающий к нему задний двор, где тотчас же начались какие-то спешные работы. От этого двора нас отделяла только низкая тюремная постройка, так что все звуки происходившей там работы доносились до нас совершенно отчетливо.

По этим звукам мы отлично могли следить за ходом работы и точно определяли, чем работают: ломом, топором или молотком. А так как, вдобавок, все строительные материалы проносили мимо нас, то по ним мы с полной уверенностью могли заключить, что строится эшафот. (208)

Разумеется, нам не пришлось видеть самого эшафота, но мы давно уже привыкли прибегать к помощи воображения. Так было и на этот раз. Работы продолжались изо дня в день целый месяц. Нам было ясно, что ревностная администрация, в сознании своей силы, не дожидаясь конца судебного разбирательства, готовилась в потайном углу покончить с своей жертвой. Следует сказать, что этот двор был тесен, как щель, и ход в него вел через «Сарай», по темным коридорам всего в два аршина шириной. Точно какой-то подземный проход. Вид этих коридоров вызывал в памяти такие же подземелья, где владетельные феодалы в давние времена истязали и приканчивали своих личных врагов, имевших несчастье попасть в их руки.

Эти подготовительные работы держали нас все время в напряженном состоянии. Случайно нам удалось увидеть, как в канцелярию провели под конвоем молодого человека, который впоследствии оказался Балмашовым, и как солдаты и другие лица, обязанные присутствовать при казни, ночью прошли мимо наших окон к заднему двору. Видели мы и то, как, возвращаясь оттуда через три четверти часа, они остановились перед церковью и набожно перекрестились.

К счастью, это была единственная казнь, которой мы были свидетелями.

Каляева казнили не так близко от нас. Мы догадывались о времени казни, но никаких приготовлений к ней не видели. О казни Гершковича и Васильева мы узнали только в Петербурге. С годами эти казни все более и более возмущали наши мысли и чувства: мы понимали, что живем на лобном месте,

где происходит организованное и систематическое истребление людей и где стоны и проклятия политических мучеников или их экстазы и вдохновенные порывы создавали вокруг нас атмосферу, пропитанную духом ожесточенной борьбы.

Известно, что в доме повешенного не говорят о веревке. Но в доме палача, где мы жили, о чем бы мы ни говорили, во всем нам чудилось напоминание о виселице.

В настоящее время (1906 г.), когда все города, да и вся необъятная Россия покрыта виселицами, к ним все привыкли. И люди читают о повешениях без содрогания и кошмарного чувства. Но такое возмутительное спокойствие обнаруживают лишь те, кто слышит о них мельком и не видел их вблизи. Несомненно, человек, видящий, как на его собственном дворе или под его окном воздвигается виселица для его единомышленников, преисполнится совсем иных чувств. Я убежден, что даже и благочестивый Илиодор, призывающий со свойственной всем (209) монахам жестокостью смерть на головы бунтовщиков, не вынес бы вида человека, который подергивается в петле. Случалось, что и простые солдаты не выдерживали этого зрелища.

V.

С конца 1902 года и до нашего освобождения число обитателей старой тюрьмы непрерывно возрастало в той же пропорции, в какой убывало в новой. Как я уже говорил, число их в новой тюрьме под конец свелось всего к девяти. В «Сарае» устроили жилые камеры, провели электрические провода для освещения и для телефона и постепенно заселили его.

Мы догадывались об этом по разным приметам, но главным доказательством для нас служило то, что мимо наших окон туда проносили пищу из нашей общей кухни.

Солдатам, носившим порции в Сарай, разумеется, было строго приказано соблюдать осторожность, чтобы не возбудить наших подозрений. Но обмануть нас было трудно, и мы скоро научились не только узнавать, что в Сарае имеются заключенные, но и определять даже число их. Мало того, мы знали, что они получают ту же пищу, что и мы, и это было для нас большим утешением, потому что обыкновенно новичков держали гораздо строже, чем нас. А сносное питание все же внушало надежду, что организм не будет преждевременно разрушен хроническим голоданием.

В течение этих трех лет в Сарае сидело всего шесть человек, но двое были увезены еще до конца первого года. Двоих потом перевели к нам, а последние двое только после нашего освобождения были заключены в новую тюрьму.

VI.

Режим не допускал никаких смягчений, даже по отношению к умиравшим естественной смертью. В первые годы койки на день запирались у всех, и у здоровых и у больных. Если не было сил сидеть или ходить, приходилось лежать на холодном каменном полу. Врач допускался лишь в том случае, когда смотритель находил это необходимым. В первое время врача держали исключительно для вида. Да и стоило ли вообще заботиться о здоровье человека, все равно приговоренного к неизбежной смерти в этих стенах? И не лучше ли было лишить его всякой помощи и тем сократить его страдания?

Как ни велика была потребность умирающих видеть возле себя друзей, им приходилось умирать в полном одиночестве. (210) К Буцинскому первому допустили во время болезни здорового товарища. Во время своих кратких посещений мы по очереди старались по мере сил облегчить его мучения. Это было в 1891 году, на седьмой год деятельности этого проклятого учреждения. Только в 1896 году, когда умирал Юрковский, доступ к нему был разрешен целые сутки, даже ночью. И нам позволялось приходить к нему по двое. Для него все-таки было утешением, что друзья примут его последний вздох и закроют ему глаза, ослабевшие от семилетнего заключения.

Выше я говорил о душевнобольных. Сколько их было, теперь никто не сможет установить. Некоторые умерли в буйном помешательстве, другие — в состоянии полного слабоумия. Одного свезли в дом умалишенных, вылечили и снова водворили в тюрьму. Он вторично сошел с ума и здесь же и умер. Иные заболели временным психическим расстройством и поправлялись без медицинской помощи. Двое, заболевшие пятнадцать лет тому назад, в настоящее время находятся в Казанской лечебнице. Уже больные, они просидели в тюрьме пять лет, и их увезли только в 1896 году, после нашей настойчивой просьбы, обращенной к Горемыкину при его посещении. За то время, что нам дозволено было общаться друг с другом, психически заболел только один, и это произошло на наших глазах.

После зрелища казней и медленного вымирания близких нам людей, нас ожидало еще одно испытание: видеть постепенное разложение и уничтожение самого святого в человеке — его разума.

VII.

Шлиссельбургская тюрьма была открыта в августе 1884 года и тотчас же начала заселяться. На двух паромах привезли двадцать два человека арестантов из Петропавловской крепости (из Алексеевского рavelина и Трубечкого бастиона). Семеро из них были приговорены по процессу двадцати в 1882 году, пятеро — по процессу семнадцати в 1880 году, один — по Саратовскому процессу 1882 года, а одиннадцать человек перевезли с Кары, из Сибири. В 1884 году к ним прибавились одиннадцать человек, приговоренных по только что закончившемуся Петербургскому процессу, и четверо — по Киевскому процессу.

Как я уже говорил выше, в том же году перевезли из Казанской лечебницы Игната Иванова. В 1885 году привезли одного, приговоренного по Одесскому процессу, и одного — по высочайшему повелению, без суда. В 1886 году — двоих по Варшавскому процессу. В 1887 году — семерых по двум от- (211) дельным процессам в Петербурге и одного в 1891 году — тоже по Петербургскому процессу. О присланных позже этого года я говорил выше.

Число поступивших за последние двадцать лет определяется в 66 человек. Но если не считать тех, что привозились для казни или для отбывания краткосрочного наказания, то число это сведется всего к пятидесяти. Лично мне были известны только тридцать два человека.

Ниже я приведу полный список лиц, заточенных в Шлиссельбурге, пока же остановлюсь лишь на нескольких цифрах.

VIII.

С августа 1884 года по январь 1906 года

Привезено для казни	11
(эти одиннадцать человек провели в тюрьме трие суток до казни).	
Казнено после нескольких месяцев заключения	2
<hr/>	
Всего казнено	13
Умерло от цынги, чахотки и др. болезней	15
Покончило самоубийством	3
<hr/>	
31	
Сошло с ума и увезено	5
Покончило самоубийством после освобождения	4
Умерло после освобождения от случайных причин	2
<hr/>	
Всего	42

Из двадцати четырех остальных пятеро были отправлены в Акатуйскую каторжную тюрьму, но, судя по газетным сообщениям, двоим удалось бежать оттуда. Эти двадцать четыре человека, которым посчастливилось в большей или меньшей степени сохранить свое здоровье, были освобождены из Шлиссельбурга в следующем порядке:

После 1 года заключения и меньше	2
» 2 лет » »	1
» 4 » » »	2
» 10 » » »	2
» 12 » » »	3
» 14 » » »	1
» 18½ » » »	6
» 20 » » »	4
» 21 » » »	3
<hr/>	
Всего	24
(212)	

Сроки эти относятся исключительно к пребыванию в Шлиссельбурге. В действительности каждый сидел уже раньше в какой-нибудь другой тюрьме. Так, Н. А. Морозов, каким-то чудом высидевший в Шлиссельбурге 21 год, фактически провел в одиночной камере 27 лет своей жизни. Как много ни говорят эти цифры человеческому сердцу и фантазии, они все же не дают нам оснований устанавливать

какие-либо пределы выносливости человеческой натуры. Мы не можем, опираясь на них, даже приблизительно определить, сколько людей может выдержать такой режим, который в Западной Европе давным-давно отошел в область исторических преданий и который составлял неприменную принадлежность варварских веков.

IX.

Нелепый и злобный замысел превратить Шлиссельбург в политическую тюрьму поглотил более полутора миллиона рублей народных денег. Сумма эта пошла исключительно на содержание. Расходы на постройку здания сюда не включены. Так как нас было там двенадцать человек, то *каждый из нас обходился государству в шесть с половиной тысяч в год*. Само собой разумеется, что деньги эти шли не на наше содержание. Действительные расходы на каждого составляли еже одно:

на пищу	98 р.
» чай и сахар	15 »
» книги	10 »
» инструменты	20 »
Итого	143 р.

Все остальное шло на нашу охрану. Считая, что расходы по содержанию Шлиссельбургской тюрьмы составляют 1.500.000 р. и что там содержалось 50 человек, получим, что каждый политический заключенный в Шлиссельбурге обошелся в 30.000 р.

Срок заключения их в совокупности составляет 477 лет.

Из этого расчета вытекает, что на каждого заключенного приходилось больше трех тысяч в год. Следовательно, узники, просидевшие двадцать лет, обошлись стране каждый в 60.000 р.

При такой ценности добычи, не удивительно, что ее так тщательно охраняли.

Не трудно было бы точно так же высчитать, сколько паразитов кормилось около каждого из нас. Очевидно, им был прямой расчет поддерживать всеми мерами такой строй, который обеспечивал дальнейшее существование Шлиссельбургской тюрьмы. (213)

X.

Список лиц, прошедших сквозь Шлиссельбургскую каторжную тюрьму эпохи 1884—1905 г.г.

Когда арестован	Когда водворен в Шлиссельбург	№№ по порядку	Имена и фамилии	Сколько лет был в заточении	Когда и как умер	Кто освобожден
1873	Август 1884 г.	1	Александр Долгушин	12	1885	Освобожден
1875		2	Ипполит Мышкин	9	Казн. 1885	
1877		3	Владимир Малавский	8	1885	
1879		4	Дмитрий Бущинский	12	1891	
»		5	Людвиг Кобылянский	7	1886	
»		6	Егор Минаков	5	Казн. 1884	
»		7	Михаил Попов	26	1908	
»		8	Мейер Геллис	6	1885	
»		9	Крыжановский	5	1885	
»		10	Игнатий Иванов	7	1886	
1880		11	Федор Юрковский	16	1896	Освобожден
1881		12	Николай Щедрин	15	Сошел с ума	
»		13	Михаил Фроленко	24	—	
»		14	Михаил Тригони	21	1917	
»		15	Айзик Арончик	7	1888	
»		16	Григорий Исаев	5	1886	
»		17	Савелий Златопольский	4	1885	
»		18	Николай Морозов	24	—	

Когда арестован	Когда водворен в Шлиссельбург	№№ по порядку	Имена и фамилии	Сколько лет был в заточении	Когда и как умер	Кто освобожден
1882	Август 1882 г.	19	Михаил Грачевский	5	Покончил с собой 1887	Освобожден
»		20	Юрий Богданович	6	1888	
»		21	Петр Поливанов	20	Покончил с собой 1903	
»		22	Михаил Клименко	2	1884	
»		23	Александр Буцевич	3	1885	
»	Июль 1883 г.	24	Дмитрий Суровцев	14	—	Освобожден
1883		25	Вера Фигнер	21	—	Освобождена
»		26	Людмила Волькенштейн	13	Убита 1905	Освобождена
»		27	Михаил Ашенбреннер	21	—	Освобожден
»		28	Николай Похитонов	13	Сошел с ума 1897	Освобожден
»		29	Иван Ювачев	2	—	
»		30	Александр Тиханович	1	Покончил с собой 1884	Освобожден
»		31	Василий Иванов	21	—	
»		32	Александр Штромберг	—	Казн. 1884	
»		33	Николай Рогачев	—	Казн. 1884	
1884	Декабрь 1884 г.	34	Михаил Шебалин	12	—	Освобожден
»		35	Василий Панкратов	14	—	Освобожден
»		36	Калинник Мартынов	12	Покончил с собой 1900	Освобожден (214)
»		37	Василий Караулов	4	1911	Освобожден
»		38	Иван Манучаров	10	1909	Освобожден
1884	1885	39	Михаил Лаговский	10	1900	Освобожден
1883		40	Людвиг Варьинский	6	1889	Освобожден
1884	1886	41	Людвиг Янович	12	Покончил с собой 1902	
1887	Май 1887 г.	42	Петр Шевырев	—	Казн. 1887	Освобожден
»		43	Александр Ульянов	—	Казнен	
»		44	Василий Генералов	—	Казнен	
»		45	Пахомий Андреевский	—	Казнен	
»		46	Василий Осипанов	—	Казнен	
»		47	Иосиф Лукашевич	18	—	
»		48	Михаил Новорусский	18	—	
1884	Июнь 1887 г.	49	Герман Лопатин	21	1918	Освобожден
»		50	Николай Стародворский	21	—	Освобожден
»		51	Василий Конашевич	12	Сошел с ума	Освобожден
1885		52	Петр Антонов	20	1916	Освобожден
1886		53	Сергей Иванов	19	—	Освобожден
1886	1888	54	Борис Оржих	10	—	Освобожден
1889	1890	55	Софья Гинсбург	1	Покончила с собой 1890	Освобожден
1901	1901	56	Петр Карпович	4	—	
1902	1902	57	Стефан Балмашев	—	Казн. 1902	
»	»	58	Фома Качура	1	Сошел с ума	
»	»	59	Чепегин	1	Сошел с ума	
1903	1903	60	Михаил Мельников	2	—	
»	»	61	Григорий Гершуни	2	1910	

Когда арестован	Когда водворен в Шлиссельбург	№№ по порядку	Имена и фамилии	Сколько лет был в заточении	Когда и как умер	Кто освобожден
1904	1904	62	Егор Сазонов	1	Покончил с собой 1913	Освобожден
»	»	63	М. Сикорский	1	—	Освобожден
1905	1905	64	Иван Каляев	—	Казн. 1905	
»	»	65	Гирш Гершкович	—	Казн. 1905	
»	»	66	Александр Васильев	—	Казн. 1905	

(215)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Выход из Шлиссельбурга на волю.

Товарищ, верь! Взойдет она,
Заря пленительного счастья.

Пушкин.

I.

Меня многие спрашивали, были ли у нас какие-нибудь надежды на освобождение? Или оно стало нас совершенно врасплох, и мы, что называется, очумели от неожиданной радости?

О надеждах и безнадёжности мне уже приходилось говорить в прежних главах и здесь прибавлю немного.

Официально было сделано все, чтобы отнять у нас всякие надежды. Из трех манифестов, изданных в течение двадцати лет и «даровавших милости, не изъемиа и политических преступников», только один применили к Шлиссельбургу, да и то частично: сокращены были сроки только срочным, да тем, у кого судебный приговор поражаа своей чудовищной несправедливостью. Остальные 8 человек, как были бессрочными, так и остались.

После рождения наследника брат Г. А. Лопатина в особом ходатайстве на имя Сената ставил ему на вид необходимость применения к его брату высочайшего манифеста, согласна прямому и буквальному смыслу его. Но тогдашний министр внутренних дел Святотоплк-Мирский ответил, что на применение к Г. Лопатину манифеста нужно особое высочайшее соизволение и за этим соизволением должен обратиться с ходатайством сам заключенный.

Ко всем остальным нам манифест не был применен уже без всякого специального разъяснения, да и Лопатин узнал об этой министерской воле только по выходе из Шлиссельбурга.

Но надежды наши помещались совсем в другом месте. Несмотря на судебную формальность, точнее говоря, несмотря на подделку под суд, который предшествовал нашему заключению, мы находились всецело в области административного произвола (216) и прекрасно это чувствовали и понимали. Над нами, как и над всей Россией, царил не закон, а простое усмотрение лиц, стоявших в данное время у власти. Поэтому, как ни претенциозно покажется это утверждение, — наша судьба была неразрывно связана с судьбой России.

А известно, что еще редакционные комиссии в 1860 году смело высказали истину, что Россия погибнет от произвола чиновников, если административная власть не будет подчинена закону.

У народов, живущих правильно гражданской жизнью, и у лиц, имеющих голову на плечах, это считается такой азбучной истиной, о которой и говорить не стоит. Теперь вот эту азбучную истину вкореняют путем бесчисленных административных репрессий в те головы, в которые еще ни разу в жизни не проникла ни одна политическая мысль.

Понятно, что такой режим, приговор над которым гласно и ясно произнесен еще 50 лет тому назад, продолжаться бесконечно не может. Весь вопрос в том, когда он падет и какие обстоятельства дадут ему последний роковой толчок. Об этом можно было гадать разное. И мы, действительно, гадали на основании исторических, политическо-экономических и вообще социологических данных. Все, что попадало к нам из этой области в печати, особенно же все, что касалось современной жизни России, штуди-

ровалось нами с захватывающим интересом и подвергалось расценке и взвешиванию как в продолжительных одиночных размышлениях, так и в совместных дебатах.

В этом отношении мы всецело были детьми своего времени и шли немного позади, но в ногу со всей передовой русской интеллигенцией. Как эта последняя, пылливо вглядываясь в окружающее, старалась предугадать ближайшее будущее, так взирали на это грядущее и мы. Различие было в том, что всматриваться в окружающее мы могли только чужими глазами. Но зато у нас была такая масса досуга, как нигде, такой *запас проницательности, даже прозорливости*, какой может выработаться только в продолжительном одиночестве, при постоянной вдумчивости и при полном отсутствии всяких развлекающих и расслабляющих ум впечатлений.

Известная ведь истина, что если нечего видеть и нечего слушать, то больше размышляешь. А чем больше и дольше размышляешь, тем больше приобретаешь способность угадывать то, что скрыто от глаз и что недоступно внешним чувствам.

Недаром же отрешившись от мира иноки, как это записано в легендах и в историях, часто поражали воображение отдельных смертных своим умением проникать в чужую душу и читать в книге судеб. (217)

Свободы и революции мы ждали все время. И непрерывно спорили друг с другом о причинах и поводах к ее наступлению.

Я помню, как, рассуждая однажды с Карповичем в 1903 году о близости политического переворота в России, я высказал уверенность, что все дело в том, чтобы потребность в политической свободе назрела в населении. Тогда достаточно будет известия, что шах персидский дал у себя конституцию, как народ потребует того же самого и в Петербурге.

II.

Дело, положим, вышло несколько иначе и началось, как известно, с японской войны. Эта последняя для нас тоже не была неожиданностью. Еще тотчас после победы Японии над Китаем некоторые более проницательные товарищи обратили на Японию сугубое внимание. Еще в 1896 году покойный товарищ Л. Ф. Янович писал у нас реферат о быстром росте Японии, особенно после объявления в ней конституции, и задавался вопросом о возможности столкновения ее с Россией и о шансах на победу с той и с другой стороны. Этот реферат до сих пор у меня хранится в подлиннике.

Не прошло после этого и восьми лет, как эта война действительно вспыхнула. Для нас это было опять самое глухое время, потому что, с воцарением Плеве, периодической печати нас лишили совсем, и никаких новостей ниоткуда к нам не проникало.

Не удивительно поэтому, что свое настроение в эти дни мы выражали иногда в таких стихотворениях, как, например, мое, написанное на Новый год — 1904-й, которое оканчивалось словами:

И в царстве спящего народа
Он не дождется нова года.

Но это писалось как раз накануне того дня, как наступили великие события, которые разбудили спящий народ и пронизали нашу могильную тьму ярким лучом надежды.

В другом месте мне уже приходилось говорить, что узнали мы о войне в феврале же из отрывка газеты, подкинутого доброжелательной рукой. И тогда же мы довольно согласно порешили, что поражение России неизбежно, а за поражением последует ликвидация старого режима, раз он не может гарантировать стране даже внешней безопасности.

Но в течение всего 1904 года мы ровно ничего не знали о ходе войны. Получали мы в это время три строго научных журнала — немецкий, английский и русский, и в них жандармы вырывали даже объявления, в которых, очевидно, упоминалось {218} слово «война». В письмах, которые мы получали от родных, вымарывались целые страницы и так же тщательно искоренялся всякий намек на войну. Так, если товарищу сообщали, что его тетюшка ухаживает за больными и ранеными, то фраза эта сохранялась; но слово «ранеными» вымазывалось чернилами. Это было наивной заплатой. И мне легко удавалось химически восстановить замазанное. Впоследствии в эту нашу химию они как-то проникли и марили потом письма прямо черным лаком.

Уже из этого можно было судить о ходе войны. Известно ведь, что побед не только нигде не скрывают, но трезвонят о них во все колокола. Очевидно было, что наше полицейское начальство прекрасно сознает провиденциальную роль этой войны и прячет ее от нас всеми мерами, чтобы как-нибудь в нашу юдоль скорби не проник оживляющий луч надежды.

Наконец, когда в одном письме (к Вере Николаевне) все-таки нечаянно проскользнула фраза, что ее родственник-доктор поехал на войну, мы обратились к нашей администрации с невинным, но открытым вопросом: с кем это идет война?

Понятно, что жандармские офицеры, со свойственной им правдивостью, уверяли честью, клялись и божились, что никакой войны у нас нет. Точно так же в ноябре того же 1904 года, т. е. почти 4 месяца спустя после смерти Плеве, наш смотритель, жандармский ротмистр, на прямой вопрос о том, кто у нас министр внутренних дел, ответил, не краснея: фон-Плеве.

В конце 1904 года мы получили опять право читать периодические издания за прошлые годы, за исключением газет. Было ли это результатом «веснь» и «доверия», о которых тогда говорили, или результатом манифеста по случаю рождения наследника, мы сами не знали. Конечно, и самую весну и рождение наследника так тщательно скрывали от нас, что даже запретили на крепостной колокольне прозвонить обычный целодневный трезвон. Но все-таки мы пронюхали об этом, и наши остроты шутили, уверяя, что нас нарочно лишили журналов за два года до манифеста, чтобы иметь возможность их даровать вновь по случаю манифеста.

III.

Между тем летом этого года, совершенно независимо от войны, в нашей жизни случилось событие, которое вызвало у нас много толков и еще более догадок. Нас посетили, в начале июля, сначала старушка княжна Дондукова-Корсакова, а через несколько дней после нее петербургский митрополит Антоний. До сих пор мы видели визиты только мундирных персон исключительно из полицейских или жандармских сфер. Для (219) этих сфер Шлиссельбург был настоящей синекурой, и ни один посторонний глаз сюда никогда не допускался.

И вдруг такой необыкновенный визит! Как ни благонамеренны были эти лица сами по себе и как ни хорошо они были известны в министерстве внутренних дел, они все-таки были посторонними лицами, которые от него безусловно не зависели.

«Тут что-нибудь неспроста», — догадывались мы. Очевидно, ужасы Шлиссельбурга получили слишком широкую огласку. И теперь делается попытка открыть в нашем склепе небольшую отдушину, не нарушая по возможности его прежних устоев.

Оба посетителя отнеслись к нам с полной сердечностью и участием. Митрополит был у всех и беседовал с каждым наедине, а княжна впоследствии выхлопотала себе право быть наедине и посещала нас многократно вплоть до самого выхода. Оба они обнаружили потом искреннюю готовность внести серьезные перемены в нашу судьбу, и не их вина, если их благожелательные попытки не привели ни к чему.

Когда я очутился на свободе и был у митрополита запросто, он рассказал мне подробно, какие способы употреблял он в течение февраля, марта, апреля и мая 1905 года, чтобы повлиять сначала на царицу, а потом на царя в целях нашего освобождения.

При личном представлении в мае этого года, царь решительно отказал митрополиту в его ходатайстве. И Антоний, передавая мне об этом, со вздохом закончил:

— После этого ваше положение осталось совершенно безнадежным, если бы не случилось революции.

Как бы то ни было, княжна Дондукова-Корсакова до самого конца разжигала наши надежды, совершенно не отдавая себе в этом отчета. Как оказалось потом, она не имела для этого никаких твердых оснований, кроме своей субъективной уверенности, которая вытекала, в свою очередь, из ее глубокой религиозности. Мы же, у которых головы были настроены иначе, рассуждали, что если религиозно-убежденный человек говорит о нашей свободе, то, значит, в воздухе носят ся такие веяния, которые эту свободу могут продиктовать и осуществить.

IV.

Тем временем, параллельно с ходом событий на Руси, наши офицеры немного развязали свои языки. И одновременно с тем, как мы читали в печати в январе и феврале 1905 года о начале военных действий, они сообщали нам кое-что устно и о ходе их в текущий момент. Оказалось, что шли они как раз так, как мы и (220) предугадывали, и притом с большей выгодой для России, чем рассчитывали мы, ибо мы думали, что Владивосток также взят японцами.

Сообщали нам и об эскадре Рождественского, с большими надеждами на успех ее. Но из того, что нам кратко сообщалось, мы делали свои выводы. Так, из того, что эскадра подвигалась на Восток черепашьим шагом, мы заключали, что эта великая армада, как называли ее «патриоты», заранее обре-

чена на гибель, потому что *будущие победители так не ходят*. А как только мы услышали или прочли, что Рождественский — флигель-адъютант, мы сочли его дело уже окончательно проигранным. В сакский, читавший общую историю, знает, что знаменитая своими поражениями Австрия всегда посылала на поле битвы придворных генералов. И всякий, даже не читавший общей истории, знает, что таланты Суворова не имели ничего общего с талантами придворных.

Из современной периодической печати, кроме тех же научных журналов, нам дали летом 1905 года журнал «Хозяин» за весь 1904 год, где мы прочли немного о «весне» и ее последствиях. Затем стали давать свежие №№ «Известий книжного магазина Вольфа» по мере их выхода. Этот библиографический листок, содержащий в себе почти один перечень книг, был для нас настоящим кладом, откуда мы почерпали все сведения о великой русской революции. Чем меньше там было сказано, тем больше мы разукрашивали сказанное цветами воображения.

Так, в перечне статей, помещенных в журнале «Право», значилась статья Гессена под заглавием: «Юридическая оценка событий 9 января».

Значит, заключали мы, 9 января было что-то очень и очень серьезное. Но что именно было, об этом мы узнали только в Петербурге.

Или, в перечне новых книг, значилось: «Великие акты 18 февраля. Magna Charta».

«Ага, заключали мы, захлопотало парламент, по крайней мере таким, какой англичане до были себе чуть не 700 лет тому назад».

В библиографических известиях был даже напечатан слух, что, в виду имеющихся быть перемен в политическом строе России, «Московские Ведомости», боровшиеся всегда против этих перемен, прекращают свое существование.

Словом, постепенно все лето 1905 года накапливалась у нас масса мелких и отрывочных сведений, которые в наших головах, окрыленных богатой фантазией, слагались в общую картину совершающегося переворота. Так как о позоре при Цусиме (221) мы узнали на другой же день, то уже в мае для всех нас был очевиден дальнейший ход вещей. Всякое честное побитое правительство всегда у всех народов обращается с повинной к народу и приглашает его прийти к нему и помочь ему найти выход из постигших страну бедствий.

Я даже пари держал с одним товарищем, что мир будет заключен в июне, а затем начнется ликвидация старого порядка и самобичевание побитых генералов.

Все разоблачения с хищениями и непорядками, развенчивание «героев», разыскивание «виноватых», раскрытие всех закулисных пружин, раздражение побитых и избитых, словом, все то, что для рядовой русской публики было сущим откровением, все это заранее совершенно ясно предвиделось нами. Мало этого. Мы часто рисовали друг другу эти картины со всеми их деталями, предвосхищали даже и саблю, усыпанную бриллиантами, для Стесселя и последующий неожиданный реприманд.

Времени у нас было много, а настоящее не отвлекало нас от творческого воображения хода грядущих событий. К тому же все это ведь так естественно и человекообразно. Нужно только иметь капелюшку дальновидности. И нужно только официальным релициям не придавать никакого значения.

V.

Но, как ни предвидишь общий ход событий, окончательная их развязка всегда наступает как-то неожиданно.

Кажется, 5 августа начальник нашего управления получил из департамента секретную телеграмму приготовить Н. П. Стародворского к отправке и прислать его в Петербург немедленно. Стародворский снарядил свой багаж, распростился с нами и был увезен. Из всех нас 9-ти стариков он один был срочный, и ему оставалось сидеть всего полтора года. Притом он был большой патриот и готов был защищать границы России собственной грудью, о чем заявил без нашего ведома начальству еще месяцев 8 назад. Поэтому мы не удивились, что его извели из нашей среды для какого-то дальнейшего употребления, тем более, что к его скользкому шагу все относились с порицанием.

Но можете себе представить наше изумление, когда на другой день, в 8 часов утра, выйдя на обычную прогулку, мы увидали Н. П. опять в нашей среде. По его словам, он был в Петербурге и беседовал долго с директором департамента полиции (Гариным). Тот рассказал ему о Думе (Бульгинской), о том, (222) что это *хотя не конституция в европейском смысле слова, но нечто близкое к ней*, о том, что после созыва Думы имеются в виду реформы, и в свою очередь выспросил у Стародворского о его взглядах и намерениях служить на полях Манчжурии. Сообщивши, наконец, что уже идут давно переговоры о мире и со дня на день ожидается телеграмма о его заключении, директор пожал ему руку на прощанье и, возвращая в тот же застенок, будто бы прибавил:

— Потерпите еще немножко, а когда будете на свободе, заходите ко мне на чашку чаю.

При этом между директором департамента полиции и ссыльно-каторжным государственным преступником обнаружилось необыкновенно странное разногласие. Директор ругал наших генералов, начиная с Куропаткина, Стародворский защищал их, так как он был большим поклонником военных талантов Куропаткина и его отступательную тактику считал чуть не гениальной.

Кстати, он привез нам и свежий № газеты, в которую ему завернули напутственный завтрак.

Словом, все шло как по-писанному. И, взвесивши добытые новые сведения, мы порешили довольно согласно, что дело идет, между прочим, к упразднению Шлиссельбурга.

Так как сам директор не считал нужным скрывать от нас факт созыва Думы, то мы обратились с большой настойчивостью к местной администрации и получили тот № «Правительственного Вестника», где было полностью напечатано Положение о Государственной Думе.

Это Положение не возбудило в нас такого резкого недовольства, как на воле, может быть, потому, что лично для нас лучше было хоть что-нибудь, чем ничего. Но мы отлично понимали, что такая Дума теперь не может удовлетворить народ и что дана она слишком поздно.

Будь она учреждена 20 лет тому назад, когда за самую мысль о представительном собрании готовы были всякого согнуть в бараний рог, жизнь могла бы пойти ровно и гладко. Тогда Дума постепенно выросла бы до законодательного собрания, и мы не дожили бы ни до позорных поражений, ни до «неслыханной смуты». Но теперь было уже поздно конопатить образовавшиеся бреши государственного корабля разными суррогатами и подделками под народное правление...

В несколько игривой форме выразил наше отношение к Булыгинской Думе Н. А. Морозов в своем стихотворении, которое напечатано в его сборнике: {223}

Скоро, скоро всю вселенную
Облекут парчой нетленной;
К золотым отрогам месяца
Серьги яркие привесятся.
Скоро, скоро куртку куцую
Перешьют нам в конституцию;
Будет новая заплатушка
На тебе, Россия-матушка.

Как бы то ни было, Дума представлялась нам фактом недалекого будущего, и мы отложили свои упования до 15 января, когда, по нашим расчетам, собравшаяся впервые Дума заговорит, естественно, об амнистии. А потому на остающиеся несколько месяцев мы совершенно успокоились. И я в середине октября приступил к составлению новой коллекции по ботанике, которую рассчитывал кончить в декабре.

VI.

23 октября смотритель и доктор, зайдя по текущим делам к Карповичу, проговорились на счет имеющей быть политической перемены, причем доктор прямо сказал:

— У нас будет *полная* конституция!

Очевидно, они уже прочли Высочайший указ правительствующему сенату от 21 октября «Об облегчении участи лиц, впавших в государственные преступные деяния», но ни словом не обмолвились насчет нашей собственной участи. Даже более: для доктора в это время я делал рамки к картинам. Он в этот же день зашел ко мне предупредить, чтобы я сдал те, которые уже сделаны, и больше не делал. При нашем напряженном состоянии этого было бы вполне достаточно. Мы бы поняли его совершенно правильно. Но он прибавил предательски, что, может быть, скоро поедет в Петербург и привезет еще несколько картин, для которых тоже понадобятся рамки, и тем испортил всю пророческую музыку.

Не знаю, были ли они уверены, что в вышеназванном указе говорится и о *нашем* освобождении. Вернее, не были, потому что все прошлые манифесты столь же явственно говорили об облегчении участи государственных преступников. Но это облегчение всегда даровалось нам только на словах, а не на деле. Не даром же русский народ сложил мудрую пословицу: «жалует царь, да не милует псарь».

И только волна всеобщего возбуждения, поднявшаяся в октябрьские дни, выбросила, наконец, нас со дна нашего омута на твердый и свободный берег. А когда это случилось, департамент полиции, как я скажу ниже, все-таки постарался про-(224)писать нам не свободу, а ссылку в отдаленнейшие места Сибири. И это несмотря на то, что некоторые из нас давно отбыли все сроки, допускаемые русскими законами, так что при нормальном государственном порядке они могли бы предъявить основательную претензию к администрации за незаконное содержание их в тюрьме.

Однако момент объявления амнистии пришел для нас совершенно неожиданно. И тем не менее он не вызвал ни малейшей заметной сенсации.

VII.

Это было 26 октября, в среду утром, около 10 часов.

Мы по обычаю гуляли в своих многочисленных двориках, где мы могли теперь по собственному желанию то оставаться наедине, то сходиться парами. Мы были вдвоем с Морозовым и спокойно обсуждали какой-то теоретический вопрос, не имевший никакого отношения к текущему моменту. Вдруг дежурный отворил дверь и спокойно сказал:

— Пожалуйста в первый огород.

Первый огород у нас был очень большой. Там помещались все наши парники, и по этому случаю там, и только там, нам разрешалось быть вчетвером. В это время мы только что окончили парниковые работы, приготовились к зимовке и очистили парниковые ямы для будущей весенней набивки их навозом.

На Думу-то мы хоть и рассчитывали, а к весеннему посеву все-таки готовились!

Так как в первом огороде, в виду таких его преимуществ, была постоянная сходка в четыре души, то неожиданное приглашение нас туда мы сочли за самое обыденное явление. Нередко и прежде кто-нибудь, очутившись там в одиночестве, звал таким образом через дежурного к себе компаньонов. Поэтому я только переспросил дежурного:

— Обоим идти?

— Да, оба,— отвечал тот.

Мы спокойно вышли на тюремный двор, на который в одну линию выходили все двери из огородов, и тут увидали, что также отворяют и другие двери, и через них тоже кой кто идет по направлению к первому огороду. Через несколько секунд мы вошли туда и увидали полковника Яковлева, нашего коменданта, с бумагой в руках.

«Ага,— как молния, сверкнула мысль:— чем-то пахнет!» И тут же почему-то вспыхнуло мимолетное чувство тревоги.

До такой степени привыкли мы не ожидать из этих рук для себя ничего доброго! (225)

Когда медленно, не торопясь, все 11 человек обитателей новой тюрьмы оказались налицо и комендант убедился в этом, он прочел самую бумагу. В ней говорилось, что по указу его величества, данному правительствующему сенату, предписывается таких-то 8 человек¹ освободить из Шлиссельбурга и отправить их в Петербург; Карповичу сократить срок наполовину, а Мельникову и Гершуни бессрочную каторгу заменить каторгою на 15 лет, «с оставлением их в Шлиссельбургской крепости по 1921 год».

Нечего сказать, точно и прозорливо высчитали!

Первым делом мы спросили коменданта, применяется ли эта бумага, подписанная, как оказалось, Треповым, и к тем, кто сидит в старой тюрьме? Что сидело двое, это мы уже знали. Но что это были Сазонов и Сикорский, об этом мы узнали только в Петербурге.

Отвечает: «Применяется».

Затем мы просили его перевести их немедленно к нам, но получили отказ.

Потом мы начинаем расспрос: почему это так вышло, что указ от 21 октября объявляется нам только 26-го?

— Где вы были пять дней и за что держали нас здесь, не имея на то права?

Полковник Яковлев не смутился и отвечал, что он сам читал в газетах, как его грозят отдать под суд за незаконное содержание нас в тюрьме, но что без специальной бумаги департамента полиции он выпустить нас не имел права. Бумаги же он до сих пор не получал и, недоумевая об этом, отправил вчера нарочного, который вот и привез оттуда эту бумагу.

При этом он благоразумно умолчал, что в департамент он ездил сам 22-го, тотчас по прочтении этого высочайшего указа, и, конечно, получил там определенный ответ, но какой именно, нам в точности неизвестно. Затем эту самую бумагу он получил вчера около 3-х часов вечера и счел для себя дозволенным задержать ее почти на 20 часов: «Хоть день, да мой!».

Как ни характерна эта задержка сама по себе; но, просидевши в тюрьме свыше полутора сот тысяч часов, трудно было претендовать еще на какую-то надбавку в 20 лишних часов.

Тут комендант высказал еще догадку, что повезут нас, вероятно, в Иркутскую губернию, потому что он получил предписание снабдить нас теплой одеждою. (226)

¹ Антонова, С. Иванов, Лопатина, Лукашевича, Морозова, Попова, Фропенко и меня. Девятый, Стародворский, был вытребован в Петербург вторичной телеграммой еще 25 августа.

Моя мимолетная тревога не была напрасной. Предстоявшая нам в перспективе Иркутская губерния не сулила впереди ничего особенно заманчивого. И потому, глядя на зияющие тут рядом парниковые срубы, мне вдруг стало жалко покидать их и менять неведомо на что.

К нашей компании присоединилось еще несколько унтеров, которых, наверное, волновали грустные предчувствия. Затем оба помощника коменданта и доктор. Образовалась довольно живописная сходка, на которую любовался единственный посторонний зритель — часовой, стоявший на стене крепости, как раз над первым огородом.

Разговоры и пререкания с начальством длились не меньше часа. Я долго и внимательно всматривался в лица собравшихся товарищей. Положительно никакого возбуждения на их лицах не замечал. Случилось то, чего давно ждали, то, что было совершенно в порядке вещей и что давно должно было случиться.

Почти у всех на лбу выступила глубокая складка. А напряженное выражение лица выдавало только *смущение* и *беспокойство* перед новой открывающейся неизвестностью, которая сулит всякие неожиданности и которой невольно страшится человек, обессиленный и совершенно отученный от жизни.

И как всегда, чтоб заглушить внутреннюю тревогу, мы обменивались взаимно шутками и островами, в которых выражалось наше обычное легкомысленное отношение к серьезности минуты. Под таким соусом всякий надвигающийся кризис всегда воспринимался и переживался гораздо легче.

Да, наконец, еще будет впереди время, — и очень много времени, — подумать об ожидающих нас передвигах и невзгодах. Теперь же мы живем настоящим, а настоящее это означает *конец застенку*. А эта мысль вполне естественно могла вызывать шутки и совершенно неподдельные.

Общий разговор скоро окончился соглашением. Мы останемся здесь еще два дня, до пятницы, а в пятницу к часу нам доставлены будут два пароходика, на которых мы и поедем по 4 человека под усиленным конвоем.

— Уж извините, — говорит Яковлев, — такое дано из Петербурга предписание!

Эти же дни мы можем посвятить сборам в дорогу, так как оказалось, что всякому разрешается взять с собою свои вещи: тетради и записки, книги и коллекции и разные др. изделия. Решено было также, что все двери внутри тюремной ограды будут открыты в течение этих двух дней и нас не будут стеснять в передвижениях. {227}

VIII.

Я не дослушал до конца всех разговоров и поспешил к себе в камеру, чтобы сообразить, как мне устроиться со своим имуществом.

А имущества у меня было не мало так как накопилось уже до 30 ящичков с разными коллекциями. Последний год я жил в непрерывном, хотя и неопределенном ожидании. Поэтому я не раз уже обдумывал, как мне действовать, когда в один прекрасный день придут, откроют двери настежь и скажут:

— Пожалуйте в дорогу!

Еще летом я сделал небольшой дорожный сундучок. Еще в августе мы с Карповичем сковали четыре толстые скобки к другому большому дорожному сундуку, причем Карпович не мало вышучивал мои преждевременные сборы. У меня в камере стоял собственное изделия шкапик. В решительную минуту я рассчитывал положить его на спину, к голове и к низу привинтить скобки и таким образом получить легко, и быстро приспособленный дорожный сундук. В другой камере был у меня низкий комод с двумя выдвижными ящиками. С ним я хотел проделать такое же превращение, привинтивши и к нему пару скобок.

Все это было давно обдумано. Теперь оставалось только попробовать, что куда уложить, и как уложить именно так, чтобы уместилось все в этих двух посудинах.

Не буду рассказывать, какая кутерьма царила у нас здесь эти два дня. В всякий это легко сообразит, если представит себе, например, гостиницу с 40 номерами, где жильцы безвыездно жили лет 20, накопили тут всякого хлама, и вдруг, по приказу хозяина, все одновременно должны очистить ее в каких-нибудь 24 часа! Прибавить нужно еще к этому, что мы за все это время никуда не ездили и ни малейшей сноровки к путешествию у нас не было. К тому же это путешествие было полно неизвестности, всевозможных препон и, наверное, конфискаций.

Из мастерских выносили гвозди и молотки, доски и пилы. Из города привезли чемоданы. Всюду валялись упаковочные материалы и целые горы бумаг. Эти последние разбирались и раскладывались пачками. Те, которые не хотелось передавать жандармскому осмотру, тотчас относились в кузницу. Там

горел огонь, почти непрерывно гудел мех, непрерывно же бросали в горно пачки бумаг и жгли, жгли и жгли...

Впоследствии мы горько пожалели об этом всеожжении, потому что оказалось, что ни наших вещей, ни наших бумаг никто решительно не задерживал и не осматривал. {228}

IX.

Время от времени, утомленные беспорядочной возней и беготней, мы собирались все 11 человек где-нибудь в укромном уголку, которых так много было у нас. Здесь мы предавались прощальным беседам и излияниям, наказам и обещаниям, а еще больше суждениям и догадкам о том великом перевороте, который переживает родина.

Сколько лет мы его ждали! Сколько бессонных ночей проведено было среди туманных и ярких, живых и смутных картин этого неизбежного переворота!

Сколько длинных-предлинных дней и недель было пережито среди размышлений и горячих дебатов, посвященных диагнозу и прогнозу общего положения России, которое неминуемо вело к этому роковому кризису.

Разве он не был предсказан давным-давно всеми проницательными и непризнанными пророками своего отечества! И сколько же этих пророков было загублено и замучено за то, что они были дальновиднее других и не хотели мириться с теми порядками, которые в настоящую минуту, наконец, признаны официально подлежащими переустройству.

Мы дожили, наконец! Дождались как раз к тому времени, когда у некоторых истощался последний запас героического терпения.

Дождались!.. Едва ли кто-нибудь из читателей сумеет ясно представить себе, что значит *двадцать лет только и делать, что ждать, и наконец — дожидаться!*

При одной мысли об этом дух захватывало и голову кружило.

Но предаваться лирическим излияниям нам было некогда. К тому же везут нас еще не на свободу, а в неведомые края. Значит, пока что мы стоим только у порога событий, которые могут развернуться во всю ширь не сейчас, а впоследствии.

После нас в тюрьме оставалось всего только 5 человек. Из них трое были постоянно с нами, заботливо помогали нам укладываться, снабжали нас инструкциями, поручениями и советами и прощались с нами только на время и только до свидания.

Несмотря на то, что указанный в бумаге год — «с оставлением впредь по 1921 год» — был обозначен точно, никто, конечно, не придавал этому сроку ни малейшего значения. Бумага подписана была Треповым, а Трепов сам временщик. Над его бумагами, как и над ним самим, история скоро произнесет свой неумолимый приговор. Притом, кто же станет ради пяти человек содержать целую крепость, которая, как уже сказал смотритель, теперь же переходит в ведомство министерства юстиции. {229}

Итак, «до свидания», «до общей встречи у работы на ниве народной». В таком роде мы написали остающимся на память, когда они попросили от всех нас дать им автографы и пару слов «в альбом». А потому на наш отъезд они смотрели только как на кратковременную разлуку и, снаряжая нас в дорогу, совместно с нами тоже готовились к отъезду, хотя и попозже нас. Гершуни отломал кусок от известковой плиты из крепостной стены и поручил передать товарищам со словами:

«Этот камень я вынул из крепостной стены Шлиссельбурга. От вас зависит разобрать эти стены до основания».

По мере того, как мы ликвидировали помаленьку свое хозяйство и свое заведение, возбуждение наше возрастало. Свобода, какая бы то ни была свобода, все-таки близилась.

Первая ночь прошла беспокойно, в видениях и в предвкушении наступающей, наконец, воли. Но бессонная ночь не утомила нас, и мы встали еще более бодрыми и оживленными, чем были. В виду открывающейся перед нами жизни, казалось, умирающий мог бы встать и одряхлевший старец стал бы юн и подвижен, как ребенок!

Само наше начальство, должно быть, поддалось общему оживлению. Уже при объявлении нам резолюции наши власти значительно отмякли. Они сбросили обычную суровость и недоступность, сквозь которые явно просвечивало не только желание показать нам ежовые рукавицы, но и досада, что нельзя это сделать в свое полное удовольствие.

Теперь приходили они к нам запросто, как к гражданам реформированного государства, и приносили нам лакомства, усиленно прося не обидеть отказом. Смотритель принес от имени своей жены необыкновенно пышный торт, а доктор — копченых сигов и шоколад.

Такова натура среднего русского человека вообще, а чиновника в частности. Он полон добрых чувств и бескорыстных желаний, но проявлять их может только с разрешения начальства. И да здравствует, значит, тот переворот, который может развязывать немые языки и неподвижные руки на добрые и бескорыстные дела!

Х.

Совершенно незаметно промелькнул второй день, и быстротечно пронеслась последняя ночь в Шлиссельбурге. Последняя ночь под этим гнетущим сводом, в безмолвии этой каменной гробницы. Последняя ночь из почти 7.000 ночей, из которых каждая не сулила тебе радостного пробуждения! (230)

Наутро заколачивались еще кое-где последние гвозди, увязывались последние веревки, делались описи, и наконец к 10 часам все это сдавалось в руки солдат, которые выносили вещи и препровождали прямо на пароход. На двух пароходах мы разместились по четверо. Список тех и других мы дали администрации, на вещах поставили свои инициалы, сдали туда же шубы и, одевшись окончательно налегке, вышли еще раз на общую сходку.

К 12 часам позвали нас на последний обед, который, понятно, не лез в горло. Покончивши с ним, я взглянул в последний раз на покидаемую навеки камеру и вышел из нее с мыслью, что есть такие жилища, которые даже после долголетнего пребывания в них можно покинуть без всякого сожаления! В ней оставался еще большой шкаф и много всякого хлама.

Вышел я, согласно условию, в тот же первый огород, где мы должны были сойтись в последний раз и оставаться до приглашения в путь. Как всегда перед разлукой, царил всеобщая растерянность. В голову и на язык лезли всякие незначущие мелочи, мысли же уносились за пределы этих стен, где было так просторно и так заманчиво, но где нас еще не было.

Наконец появился сам комендант с помощниками.

Гершуни прочел нам напутственное слово, где, между прочим, подсчитал, что мы восьмеро выносим отсюда на своих плечах 200 лет с чем-то тюремного заключения.

Еще последние объятия, и мы направились к выходу из тюремного двора. Здесь на углу наши дороги расходились: молодежь повернула налево к себе в камеры, а мы бросили им вдогонку прощальный взгляд с чувством сердечной скорби и направились направо за ворота. Затем, выйдя на площадь, мы обернулись назад, чтобы окинуть взглядом фасад нашего беспримерного убежища и кстати поклониться в последний раз остающимся товарищам. Им хорошо было видно наше необыкновенное шествие, хотя мы сами видели сквозь двойные рамы только одни смутные фигуры их.

По дороге нас неведомо для чего завели в канцелярию, — вероятно, в знак того, что всякое доброе начало в России должно исходить из недр канцелярии. А так как все важные события сопровождаются речами, то и полковник Яковлев счел нужным сказать нам несколько слов, в которых поздравил нас с освобождением и уверял нас, хотя совершенно напрасно, что он был всегда внимателен к нашим нуждам и старался всякими мерами смягчить суровость режима, установленного высшими властями. Мы вынесли на всей своей нервной системе убеждение, неизгладимо запечатлевшееся в ней, как раз обратное тому, что (231) заявлял он. Тем не менее мы все пожали протянутую им руку, — так рады были мы тому, что наступил последний момент и что через 2—3 минуты мы вырвемся отсюда и не увидим больше никогда ни этого заведения, ни его достойного хранителя.

Из канцелярии оставалось сделать до наружных ворот не более сотни шагов по аллее, густо засаженной деревьями и кустарниками. В эту заднюю часть крепости не проникал наш глаз из окон тюрьмы. Здесь я уже начинал чувствовать растерянность, подобную той, которую испытывает человек, который привык к видам петербургских улиц и очутился вдруг в незнакомом глухом лесу. По бокам дороги стояло все свободное население крепости, с женами и детьми, и более или менее экспансивно приветствовало нас. Для них это было столь же невиданное зрелище, как и для нас, потому что прежние единичные освобождения совершались тайно и даже ночью.

Особенную сердечность обнаружили дамы, жены чинов нашей администрации. Не знаю, была ли эта радость сознательной и совершенно бескорыстной, или они в своей наивности не понимали смысла совершающихся событий. Не понимали, что наше освобождение означает закрытие этого заведения и лишение их мужей насиженного и весьма хлебного места.

Еще два шага — и мы за воротами крепости. Моим глазам открылся простор, невиданный 18 с половиной лет. Сколько раз ранее я живо представлял себе этот момент! Но действительность превзошла все мои ожидания: у меня захватило дух, закружилась голова, я пошатнулся и, кажется, готов был упасть и потерять сознание.

Это длилось одно мгновение. Я тотчас овладел собою и шагал вровень с другими, как ни в чем не бывало. На берегу стояла чуть не вся сотня солдат, которые так бережно и неотступно нас охраняли. К ним присоединились стоявшие внутри крепости женщины и дети, и берег сплошь наполнился народом, среди которого мы спустились на плот. Здесь уже стоял баркас, готовый отвезти нас на пароходы, стоявшие почему-то как раз против нас на середине реки. На веслах сидели тоже солдаты.

На плоту нас разлучили и предложили первой четверке отправляться отдельно на первый пароход. В баркас уселись я, Лукашевич, Лопатин и Морозов. Через минуту мы уже причалили к борту парохода и не успели оглянуться, как, подхваченные под руки, очутились в каюте.

После мы узнали, что, пока нас возили на баркасе, к оставшимся товарищам (здесь были Попов, Фроленко, С. Иванов и Антонов) успели прорваться дамы и, не считаясь с этикетом, (232) горячо позд-

Файл shlis233.jpg

М. В. Новорусский вскоре после выхода на свободу. В этой одежде он ехал в Петербург и ее же носил в последние годы заключения. (233)

раждали их, пожимали руки и открыто выражали свою непритворную радость.

Не просидели мы и пяти минут в каюте, как пароход сделал поворот налево кругом и пошел полным ходом. К нам тотчас же явился смотритель, который составлял нашу свиту вместе с 8-ю вооруженными унтерами, и сказал, что мы можем выйти на палубу. Очевидно, эта ненужная предосторожность была принята, в интересах нашей сохранности, только на то короткое время, пока пароход был неподвижен.

Мы не заставили себя просить, тотчас вылезли на свет божий и здесь впервые огляделись...

XI.

Как жаль, что ни описать это первое впечатление воли и простора, ни передать его другим я решительно не сумею! Наш язык слишком беден и слаб для того, чтобы изобразить такое исключительное положение. Он вырабатывался в течение жизни всего человечества только для того, чтобы передавать впечатления обыденной жизни, только те думы, чувствования и состояния, которые повторяются или могут быть повторены неоднократно. Положения более или менее редкие мы изображаем обыденными словами, которые взяты из житейского обихода и для слушателя достаточно известны. И только таким окольным путем мы можем ввести других в круг наших необыкновенных чувств и наших незаурядных идей.

Но что можно сказать о таком положении, в котором человек оказался единственный раз в жизни? И притом был чуть ли не единственным человеком с более или менее нормальной головой, который пережил такой исключительный перелом?

В самом деле, можно ли рассказать, в каком виде представляется и как действует на человека ширь и простор божьего мира, необъятный горизонт и все, что видим в пределах его, на человека, не видавшего почти 20 лет ничего, кроме глухих серых, мрачных или грязных стен? Если сравню наше состояние с тем редким состоянием, какое переживает слепорожденный, когда он начинает видеть после удачной операции, то это сравнение будет неверным. Ведь слепорожденный ничего ранее не видел и просто учится видеть заново. Мы же не только видали весь этот видимый мир, но и нажили громадный запас впечатлений и неразрывно с ними связанных волнений, но только они от времени ослабели, заглохли и отодвинулись в какую-то душевную глубину, где ничем не проявляли своего присутствия. (234)

И вдруг мы видим вновь: и берега, и воду, и лодки, и город, и деревню, и лес, и поле, и дорогу, и линию телеграфных столбов, и пр. и пр. И все это не только замечаешь и воспринимаешь, но в то же время и *вспоминаешь* с какой-то особенной натугой и с каким-то особенным и непонятным волнением.

Ведь все это когда-то видал. Ведь все это составляло когда-то частицу твоей внутренней жизни, со всеми ее прелестями, чарами, волнениями и надеждами. Ведь ты не только видал прежде лес и поле, но и наслаждался в них кое-какими радостями. И все это вместе со зрительными образами было похоронено в недрах твоей души. И все это, может быть, не воспрянуло бы никогда с такой живостью и с такой раздражающей силой, если бы не удалось тебе вновь увидеть в натуре эти предметы, которые составляли элементы твоей угаснувшей было психической жизни.

У меня сохранилось письмо, в котором я описывал эту поездку тогда же, под свежим впечатлением. Там, между прочим, говорится:

«Берега, обильно покрытые лесом, то плоские, то обрывистые, с особенной силой приковывали к себе взоры, жадные и голодные взоры, уж столько лет не видавшие ничего подобного. И что-то смутное,

далекое, давно погребенное начинало всплывать в памяти,— и в сердце явственно дрожали какие-то новые, неслыханные струны... Вот мелькнул дачный домик, от него дорожка к воде, плот и лодочка. Вот по дороге трусит лошадка с каким-то седоком в тележке. Вот темная зелень сосен прорвалась, далее идет полянка и на ней голая рощица с белеющими стволами, очевидно, берез. И все это,— и домик, и лодочка, и рощица,— как есть живые, настоящие, подлинные, а не те, что ты привык видеть только на картинках, да так привык, что настоящие-то кажутся какими-то странными и немного забавными. Смотришь на все крутом и удивляешься, что видимые предметы имеют близкое сходство с чем-то давно знакомым, но сидевшим только в мозгу. Так смотрит человек, 20 лет страдавший полной слепотой, а потом вдруг чудесно прозревший»...

Так вот, в то время, как все нормальные люди сравнивают видимые предметы с другими виденными ими предметами, у нас невольно являлось сравнение этих предметов с чем-то сидевшим в мозгу!

Другое сравнение было еще курьезнее: мы находили, что видимые предметы не совсем похожи на те, какие изображены на картинках. Ведь мы видали за эти годы всякие виды природы. Но видели только в иллюстрациях. И так привыкли судить о (235) природе и представлять ее по этим картинкам, что настоящая-то природа нам казалась какой-то игрушечной и немного чуждой.

И, например, вода,— первое, что увидели по выходе из ворот крепости,— показалась мне необыкновенно черной. Не потому, конечно, что восприятие было неверное, а потому, что мы привыкли представлять ее по картинкам, где рисуется она чаще при ясном солнечном небе, когда и оттенок она имеет совершенно другой.

Долго спустя уже я передавал это впечатление Вере Николаевне Фигнер. Она вышла годом ранее и уезжала в конце сентября. Она тоже обратила внимание на этот цвет воды и даже подумала: вот если бы зарисовать ее точно в таком виде,— никто бы не поверил, что вода может быть так черна.

Однако в первые минуты, очутившись на палубе, мы устремляли свои взоры не столько на широкое раздолье вольного мира и темную зыбь красавицы Невы, сколько на ту каменную твердыню, где мы оставили лучшую часть своей жизни. И не мудрено. Там, именно там было похоронено нами столько друзей и столько гордых дум, горячих сердечных порывов, бескорыстных стремлений и пережито еще более тяжелых, неизгладимых страданий! Тут только я впервые и вполне мог рассмотреть внешний вид этой могилы, из которой мы каким-то чудом вышли, хотя и мы могли бы, подобно многим и многим товарищам, сложить здесь свои буйные кости!..

Мрачные и угрюмые стены, выходящие почти прямо из воды, производят необыкновенно тяжелое впечатление на человека, отлично знакомого с тем, что именно содержится внутри этой молчаливой и зловещей гробницы. Повернувшись назад, мы долго еще не отрывали глаз от быстро удалявшейся крепости, которая, теряясь вдали, становилась еще более мрачной и еще более угрожающей. Даже уезжая отсюда, нельзя было отделаться от этого впечатления.

Как удав с раскрытой пастью гипнотизирует сидящую на ветке птичку, так гипнотизировало и нас это чудовище и заставляло наши мысли невольно витать в тех камерах, из которых мы так счастливо вырвались и в которых в печальном одиночестве пока еще остались трое наших товарищей.

Наконец, еще несколько мгновений, река сделала крутой изгиб и за поворотом скрыла от нас навсегда этот злополучный остров.

ХП.

Пароходы все бежали и бежали друг за другом. А мы все смотрели, смотрели и смотрели, пожирая глазами с одинаковой жадностью все, что ни встречалось на пути. И все, что ни встре-(236)чалось, одинаково волновало нас и одинаково ударило в голову, как ударяет в голову рюмка вина у непривыкшего к нему.

Когда, продрогшие и утомленные, мы спустились в каюту погреться, там на столе оказались четыре свертка с парой котлет в каждом, с куском пирога и бисквитами. Это предусмотрительный комендант снабдил нас ужином, из опасения, что в Петербурге нас уложат спать голодными. Сказать по правде, мы не были тронуты этой заботливостью: слишком много горя приняли мы из тех же предусмотрительных рук!

Мы братски разделили трапезу с восьмью вооруженными спутниками: недаром же мы с некоторыми из них прожили бок о бок не менее 15 лет. И, что называется, видали всякие виды.

Обогрвшись и подкрепившись, мы снова вышли на палубу и увидели уже бегущий по берегу трамвай, должно быть, близ конечного его пункта по Шлиссельбургскому тракту. Надвигались сумерки. Берег бежал по-прежнему и с утомительным разнообразием развертывал картину за картиной. Едва ли со времен поселения здесь человека плавали по Неве люди, которые смотрели бы на ее унылые и моно-

тонные берега с таким захватывающим интересом, с таким наслаждением и очарованием, с каким смотрели мы тогда.

Да, как прекрасен божий свет, если взглянуть на него девственными глазами в первый день своего второго рождения! Как все в нем прелестно, жизнерадостно и гармонично! И какой восторг и раздолье очутиться снова на лоне этой природы, ее вольным сыном, способным двигаться и двигаться без конца, все видеть, осматривать и располагаться тут и там по собственному произволению. Мы пьянели от одних только видов, потому что под ногами у нас все-таки было еще не лоно природы, а голая и уединенная палуба, и везли нас не на вольный простор, а в приснопамятную Петропавловскую крепость.

Теперь на нас уже надвигается город. И справа и слева, и спереди и сзади, как гигантские указательные пальцы, торчали в небо фабричные трубы. Да и сколько же их здесь! Вот он, капитализм-то, бывший еще под сомнением в те годы, когда мы покидали мир! Вот они, огромные здания с сотнями окон, уже сверкающих то газом, то электричеством. Здесь именно зреют теперь новые думы и организуются стойкие ряды защитников прав нового русского гражданина!

Так мы доехали до Смольного, приветствуя этот огромный город, в котором куются судьбы России, а в том числе и наши личные. Наконец, по настоянию охраны, мы спустились в каюту. Пароход прибавил ходу, мелькнули в стеклянный потолок два (237) ярко освещенных моста, и минут через 10 мы причалили к воротам крепости, где на обширной гранитной площадке снова сошлись все восьмеро со всеми 18-ю стражниками.

Пока шли какие-то формальности, мы долго стояли, любуясь невиданными огнями мостов и набережных. На небе висел диск луны, но такой мутный и бледный в петербургском мгlistом воздухе, что мы не вдруг распознали его и отличили от фонаря, близ которого он стоял.

Наконец, за нами пришла новая стража. Скомандовали идти, и мы сомкнутой колонной, душ в тридцать, двинулись в свою новую печальной памяти квартиру. Известно ведь, что в царство свободы, как в царство небесное, нужно проходить через разные мытарства.

ХІІІ

Здесь мне пришлось провести еще ровно 25 суток. Шестерым товарищам — значительно меньше. Первым долгом мы хлопотали, чтобы нас выпускали на прогулку не в одиночку на четверть часа, как там полагалось, а всех вместе, что в сложности даст 2 часа ($\frac{1}{4}$ ч. \times 8). На другой же день к Лопатину пришли на свидание его брат и сын, и через них мы узнали, первые новости.

Затем свидания установились для нас по 3 раза в неделю, и постепенно родственники наезжали к каждому из нас. Наши друзья успели уже спозаранку послать им извещение. Каждый из этих дней свиданий приносил нам бездну новостей и впечатлений. На прогулке мы все обменивались ими и тем еще более усиливали их возбуждающее действие. Но главную новость принесли нам не родные, а тюремщики, — в виде бумаги, которую мы тщательно скопировали.

Самое интересное в этой бумаге было твердое намерение департамента полиции упечь нас еще в ссылку на 4 года, в том числе, конечно, и наших старцев, которые просидели в заточении неизменно около 25 лет.

На свиданиях нам сказали, чтобы мы на эту бумагу не обращали внимания, ибо наша судьба куется помимо департамента. Дело склоняется к тому, чтобы отправить каждого из нас на родину или к родным временно на поруки, так как, по общему мнению, не сегодня — завтра совершится окончательный поворот в сторону пяти свобод, и все пострадавшие за них, конечно, будут отпущены на все четыре стороны.

Общее согласие на такую поруку, говорят, подписал еще Трепов, в день своей отставки, а затем выправляли бумаги о каждом в отдельности, по мере прибытия и явки родных. Являлись же они, вследствие забастовки железных дорог, с большой медлительностью.

Мой брат, которого известили о моем положении, не имел возможности своевременно приехать в Петербург. А между тем, по словам упомянутой раньше княжны Дондуковой-Корсаковой, которая зашла и здесь ко мне на несколько минут, и митрополит Антоний и архиепископ финляндский Сергей готовы заступить здесь место моих родных. Поэтому я отдал свою судьбу в распоряжение княжны и таким образом очутился в Выборге.

В мае 1906 года, по докладу министра юстиции Щегловитова, моим товарищам разрешено отбывать ссылку в пределах Европейской России, в местностях по усмотрению министра внутренних дел. Но так как я лично жил в пределах Финляндии, где пользовался покровительством ее законов и где нет места никакому «усмотрению», то об этом бюрократическом изобретении меня даже не известили.

XIV.

Но я забежал вперед.

Ужасная Петропавловка, которая теперь вполне демократизировалась, потому что количество побывавших в ней лиц, уже исчисляется не десятками и сотнями, а тысячами и даже многими тысячами, не произвела на нас такого впечатления, как на новичков. В общем она имела тот же удручающий вид, что и 20 лет назад, хотя кое-что было отремонтировано и подкрашено. Но на нас эта внешность уже совсем не действовала. Даже унылый перезвон курантов на колокольне, отбивающий каждую четверть часа похоронный марш всякому новичку, оказавшемуся во власти этой музыки, для нас, по крайней мере для меня лично, звучал игривою мелодиею. И эта мелодия ежечасно внедряла прочную уверенность в торжестве начал свободы и жизни.

Правда, мы тотчас почувствовали массу мелких житейских неудобств, переносить которые мы уже отвыкли. Тут была голая камера, железный стол, кровать и ничего больше. Ни ножей, ни вилок, ни гребенки, ни бумаги, ни чернил, ни стула. Читать и писать, особенно вечером, можно было только сидя на кровати в крайне неудобной позе.

Но что значат все такие пустяки,— будь их целый миллион,— при том самочувствии, которое охватывает человека, когда он стоит у врат свободы!

К тому же со стороны друзей и родных мы встретили такую бездну участия, сердечной приязни, радушия и готовности скрасить нам эти последние переходные дни, что они сделались для (239) нас, действительно, одним сплошным праздником. Мы были, можно сказать, подавлены обилием житейских благ, неожиданно свалившихся на нас. И, наконец, должны были серьезно запротестовать и настоять, чтобы больше нам не приносили ничего. Сказать кстати, казенная пища в крепости в это время была вполне удовлетворительна и неизмеримо лучше той, какую мы покинули в Шлиссельбурге.

Самое забавное, что случилось здесь с нами, это перемена костюма и превращение в общекультурный вид. Мы приехали сюда в арестантской одежде и в ней могли бы выйти на свободу, если бы наши близкие не позаботились перелицевать нас.

Прежде всего они доставили нам метровую ленту, и мы на дворе, при ноябрьской слякоти, раздевали друг друга и снимали размеры всех частей тела. Затем, по данным записям, костюмы доставлялись нам в камеру, где мы их выбирали, примеряли, надевали и, наконец, появлялись на двор друг перед другом в более или менее преображенном виде. За долгое время сожительства вместе мы слишком привыкли к одной и той же внешности друг друга. И теперь эта новая костюмировка, притом у каждого на свой лад, смешила и потешала нас, как настоящий маскарад.

Смотря по настойчивости родных того или другого из нас, бумажные формальности благополучно оканчивались у одних скорее, у других медленнее. С вечера предупреждали то одного, то другого, и каждые два-три дня мы с кем-нибудь прощались, пока я не остался только вдвоем с П. Л. Антоновым.

Его дело было хуже всех, потому что мать его по дряхлости не могла приехать лично, а Дурново, не забывший старых счетов с ним, хотел упечь его на дальний север, вместо желанного им юга.

Наконец, объявили и мне 21 ноября бумагу под расписку. В ней говорилось, что я подлежу ссылке в Сибирь на поселение, «но, в виду невозможности меня отправить в онучую, вследствие заграждения этапных путей», меня отправляют в Выборг к архиепископу Сергию, для каковой цели за мной должен явиться жандармский полковник Гришин. Этот же полковник, как оказалось, развозил до вокзала и всех моих товарищей.

XV.

Я забыл сказать, что два сундука со своими коллекциями я уже давно передал в надежные руки, с тем, чтобы их водворили в будущий народный университет. Заведующий тюрьмой полк. Веревкин, который с нами был чрезвычайно любезен и снисходителен, как и все чины в крепости, предупредил меня накануне, чтобы я уложил свои вещи заранее и утром был в полной готовности.

Последний вечер я провел совершенно незаметно среди гробовой тишины, так как камеры кругом постепенно совсем опустели. Совершенно спокойно провел я и свою последнюю ночь под замком.

Из газет, которые украдкой нам приносили родные, я знал уже часы отхода поездов в Выборг и потому ждал своего спутника к первому утреннему поезду. Но он запоздал на целый час, а потому, сядя с ним в карету, в которой было еще 2 жандарма, я спросил его:

- Кажется, мы уже опоздали к поезду?
- Да мы едем не на вокзал!— отвечал он.
- Куда же мы едем?
- В лавру, к митрополиту.

— А почему же об этом ни слова не сказано в моей бумаге?

— Не знаю. Но я имею на этот счет особое предписание.

Это было для меня неожиданным сюрпризом.

«Ну, иди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь», — подумал я словами Грибоедова.

Предстояло проехать весь город насквозь. И уличное движение и людская сутолока, которые я мог видеть из окна, были для меня неожиданной находкой. Полковник знал, что он везет человека, который не видывал ничего этого с незапамятных дней. Но он все-таки приказал окно завесить черной занавеской.

— Вот если бы они, — показал он на жандармов, — были в штатском платье, тогда можно бы.

Но я все-таки приподнял краешек занавески и впился глазами в мелькавшие передо мной картины столицы.

Какая масса людей! Какие все привлекательные и приятные лица! Как мило они улыбаются, встречаются и здороваются и как радостно почему-то все настроены! И ведь совсем не подозревают, что тут же рядом среди них едет и наблюдает их такой редкий, изголодавшийся зритель, для которого вся эта обыденщина есть сплошное парадное и торжественное зрелище. И как странно, что решительно никто не подозревает здесь моего присутствия. Между тем как через какой-нибудь час, вырвавшись из цепких рук полковника Гришина, я могу появиться среди этой толпы лицом к лицу, стать членом ее и чувствовать, чувствовать без конца одно сплошное наслаждение!

Да, какое, действительно, бесконечное *наслаждение быть в толпе*, видеть ее постоянное движение, ее ежеминутные смены лиц и костюмов, ходить среди них, смотреть и смотреть без {241} отдыха и *чувствовать, что ты находишься среди себе подобных*, а не один, как перст, на необитаемой скале, в безнадежном и роковом одиночестве!

Да, весьма скверно устроен человек! Он имеет крутом себя в обыденных житейских встречах неисчерпаемый источник наслаждения. Но успел с детства привыкнуть ко всему этому и потому остается равнодушен и совершенно не замечает этого! А чтобы понять, как следует, оценить и, главное, *почувствовать*, что такое для нас простая людская толпа и что значит весь окружающий нас мир, мир культурной жизни и дикой природы, для этого нужно лишиться всего этого на продолжительное время.

И как тяжело в свое время было страдание от самого факта лишения всего этого, так в свою очередь полны очарования и неизъяснимой прелести все первые впечатления, которые возникли с прекращением этого лишения, т. е. при новой встрече с людьми и природой и со всем, что так долго и абсолютно было недоступно.

Общезвестная научная истина, что человек есть общественное животное, была познана нами на опыте и прочувствована всеми фибрами души. Но я прибавил бы к этому, что человек есть не только социальное животное, но и *сын или член природы*, вырванный из которой он так же тоскует и страдает, как и в отсутствии себе подобных.

Но из всех уличных встреч мне наиболее памятливы встречи с детьми. Взрослых я все-таки видел, детей же только очень редко и притом издали. А теперь я видел их часто чуть не у самого окна кареты, и они казались мне особенно смешными, как какие-то игрушечные люди.

И как необычайно и забавно было наблюдать великий город и тысячные толпы людей в узкую щель кареты, которая сама тонула в массе экипажей! Где-нибудь на перекрестках движение задерживалось, и кучки лиц стояли всего в двух шагах от меня. Им и в голову не приходило, какое неизъяснимое удовольствие они доставляют своим видом находящемуся рядом с ними выходцу из подземелья, который только что рождается к жизни, но с ярким сознанием всех прелестей этой жизни.

XVI.

У митрополита я прожил двое суток. Был праздник, и я зашел ко всенощной, как раз к тому времени, когда поют «Хвалите имя Господне». Митрополичий хор всегда славился своим искусством. Но я 20 лет не слышал никакого хора. И вот, когда {242} он запел, у меня градом брызнули слезы, и я должен был тотчас же уйти из церкви.

Потом долго таким же образом действовала на меня музыка на рояли, пока я постепенно не привык к ней.

Впечатлительность ко всему, очевидно, была ненормально повышена. Как наши руки становятся нежными и тонкими в отсутствии грубой и черной работы, так точно и наши нервы становятся нежными и слабыми в отсутствии обычных впечатлений, которые придают им некоторую загрубелость.

И много времени еще потом приходилось приучать эту ослабленную нервную организацию к нормальной деятельности.

Если бы в нашем отечестве процветала наука о человеке, все мы, выходцы с того света, были бы редкими и весьма интересными экземплярами для научных наблюдений. Но, увы, не до науки у нас теперь!

Нелегко было перенести весь этот перелом жизни, при котором нервная система, совершенно отвыкшая от деятельности, сразу должна была начать активно реагировать на бесчисленное множество возбуждений, совершенно незаметных для нормального человека, но очень заметных и болезненно заметных для нас.

Лично я перенес этот перелом еще сравнительно легко, может быть, благодаря некоторой флегматичности своего темперамента. Но некоторые из товарищей очень страдали от этого, один сильнее, другие менее. А трое из вышедших ранее нас совсем не вынесли всей тяжести жизни, открывшейся для них, и покончили с собой.

Некоторые жаловались мне, что утратился как-то безо всякой причины самый интерес к жизни, что ко всему окружающему чувствуется какое-то постылое равнодушие, что становится совершенно безразличным — жить или умереть. Еще бы! Мы столько лет непрерывно умирали и столько раз думали о смерти, как единственной избавительнице от наших напастей! Понятно, что смерть перестала казаться нам пугалом, как она кажется для всех смертных, а представляется чем-то в высокой степени близким и привычным.

Затем я долго страдал от чувства неуверенности и растерянности, подобного тому, которое испытывает, например, новичок, попавший в многолюдный балный зал. Он кажется неловким и робким и боится, что все замечают его неловкость и все обращают на него внимание. Я тоже чувствовал такую же неловкость на людных улицах. А на незнакомой дороге или при входе в незнакомую квартиру я терялся, и мне казалось, что я не попаду туда, куда мне нужно. (243)

Самые обычные житейские акты, самые обычные обращения к людям и с людьми мне казались необычайными. Я каждый раз боялся сделать ничтожный шаг и мучился от мысли, как нужно сделать и так ли я делаю. Чувствовалась беспомощность вроде той, которую испытывает ребенок, пока не окрепнет на ногах. И как на ребенка действует ободряюще присутствие няньки, которая может поддержать его в случае падения, так ободряюще действовало на меня присутствие товарища, жителя этого мира, который умеет ходить по улицам и может провести меня и помочь мне исполнить все, что нужно и что всякий взрослый человек исполняет без всяких помощников. Очевидно, мы почти впали в детство.

Далее, память на имена и лица, на места, слова, речи и звуковые мотивы, словом — память зрительная и слуховая была необычайно слаба. В едь нам негде было практиковать ее, и потому она атрофировалась от бездействия. До сих пор (1906 г., октябрь) еще она далеко не вошла в норму, и я забываю лица, с которыми редко встречаюсь, и имена, которые редко употребляю.

Когда мне приходилось бывать даже в небольшом обществе, я чувствовал в нем полную растерянность. Ни следить за разговором, ни говорить для всех разом, ни отзываться на вопросы, ни возражать, особенно сразу нескольким лицам и на несколько мыслей, я совершенно не мог. Пока я вдвоем, втроем, даже вчетвером, я чувствовал себя нормально, — ведь это допускалось в Шлиссельбурге. Но присутствие десятка лиц уже повергало меня в смущение. Я чувствовал какую-то странную стесненность — точно сковали мой язык и мои мысли. Это не была простая конфузливость или застенчивость, свойственная очень юному возрасту и знакомая мне когда-то в юности. А было что-то новое, но о нем можно сказать только, что оно чувствовалось несколько иначе.

Прибавлю еще, что я и до сих пор испытываю огромное *удовольствие при всяком передвижении*. И, например, сидя в вагоне, я наслаждаюсь, если смотрю в окно на мелькающие мимо пейзажи, и даже, не смотря за окно, я чувствую сильное удовольствие от самого процесса езды. Не сказывается ли здесь высокая научная истина, что жизнь вообще, и жизнь человека в частности, состоит в *движении*?

Вероятно, всякое механическое перемещение чувствуется, как яркое проявление жизни, и радует меня, как резкая противоположность тому неподвижному мертвенному застою, в котором были похоронены лучшие, деятельные годы...

Да будут, поэтому, прокляты навсегда и везде такие порядки, которые обрекают на неподвижность и держат в цепях (244) самую великую всемирно-историческую силу, которая называется *человеческой энергией*!

По выходе, на воле мне пришлось однажды услышать вопрос:

— Не жалею ли я теперь о своей загубленной жизни?

— Ни в каком случае! — отвечала тогда и повторяю то же публично.

Политическая свобода есть такое высокое общественное благо, за которое можно и всю жизнь отдать, не только лучшие ее годы. Бесспорно, тяжело умирать в течение целого ряда лет. Но сознание то-

го, *во имя чего умираешь*,— вселяет такую бодрость и спокойствие духа, при котором сожалениям нет места.

А если к тому же при выходе на волю замечаешь, что торжествуют или пробиваются к торжеству самые заветные твои чаяния, то это зрелище доставляет такое нравственное удовлетворение, при котором не чувствуешь понесенных утрат.

Ради того, чтобы получить это нравственное удовлетворение, можно без колебаний принести самую большую личную жертву.

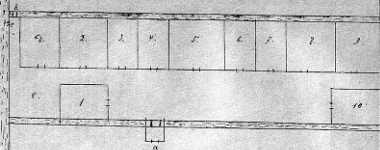
26 октября 1906 года,
Выборг.



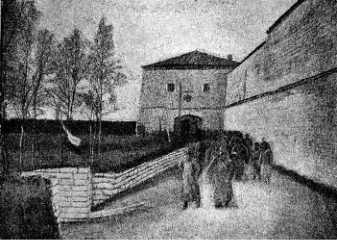
М. П. Покровский вскоре после выхода на свободу. В этот период он жил в Петербурге и в те же годы в последние годы творчества.



Вход на тюремный двор. Слева здание кордегардии, сквозь которое
всегда выходили идущие в тюрьму. В центре часть новой тюрьмы.
Справа часть ограды у братской могилы.



План старой сарай («Сарай») с десятью камерами. 1 — кухня. 2 — ход на задний двор здесь каменки Балхасова и Комисляникова). 3 — ход в камеру Иоанна Анто-
ныча.



Вход в крепость со стороны «Государева башни». Над воротами город, герб и
над шлюзом надпись.

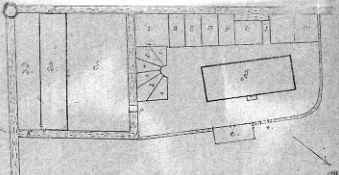
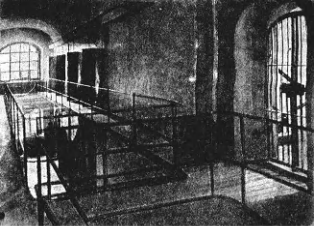
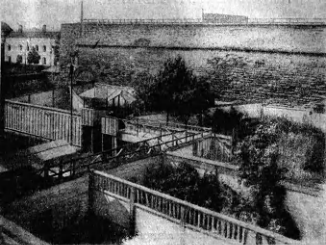


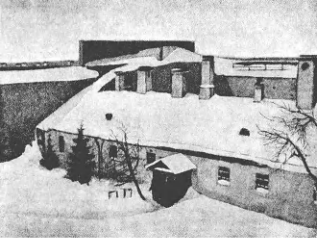
Схема-плановый вид населенной территории. А—мемориальный, Б—старый, В—новый двор, Г—квартал
 Южная Азия. В—большой двор, где была парковка, Д—площадка для танцев, Е—площадка
 для танцев, Ж—площадка для танцев, З—площадка для танцев, И—площадка для танцев, К—площадка для танцев, Л—площадка для танцев, М—площадка для танцев, Н—площадка для танцев, О—площадка для танцев, П—площадка для танцев, Р—площадка для танцев, С—площадка для танцев, Т—площадка для танцев, У—площадка для танцев, Ф—площадка для танцев, Х—площадка для танцев, Ц—площадка для танцев, Ч—площадка для танцев, Ш—площадка для танцев, Щ—площадка для танцев, Ъ—площадка для танцев, Ы—площадка для танцев, Ь—площадка для танцев, Э—площадка для танцев, Ю—площадка для танцев, Я—площадка для танцев.



Верхняя часть коридора нашей тюрьмы (полосатки).



«Квартал» и огороды для прогулок. В центре город М. И. Новорусского.
Над лесом забаром его поставлены тем сиренями.



Старая гора. У левого края две вил. Правая постройка В. Н. Фигнер,
левая — Л. А. Волжеништейн.



«Братская могила». Крутой нее ограды, сделанная руками заключенных по проекту Н. Д. Похитонова и стоявшая еще до их выхода. Сзади корпус, в котором жила унтера.